НЁМАН

7/2018
ИЮЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Редакционная коллегия:

*Вадим Гигин, Наталья Голубева, Алесь Карлюкевич,
Александр Коваленя, Тамара Краснова-Гусаченко,
Владимир Макаров, Владимир Мозго (зам. главного редактора),
Роман Мотульский, Геннадий Пашков, Михаил Поздняков,
Елена Попова, Олег Пушкин (редактор отдела прозы),
Анатолий Сульянов, Николай Чергинец*

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 325-85-25, заместителя главного редактора — 319-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 304-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Павел Яковлевич СУХОРУКОВ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 12.07.2018. Формат 70 ×108 $^1/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 17,62. Тираж 1227. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*

16 +

© Министерство информации Республики Беларусь, 2018
© ОО «Союз писателей Беларуси», 2018
© РИУ «Издательский дом «Звязда», 2018

Владимир САЛАМАХА

Если упадет один...[*]

Повесть

Часть 2

1

Всем троим, Никодиму, Ивану и Василию, как никогда в жизни было страшно. Хотелось кричать: «Мама!..» Но никто из них не мог даже вымолвить слова. Не хватало воздуха, из груди вырывался только стон. Каждому из них казалось, еще шаг — упадешь на землю и уже никогда не поднимешься.

Но они не падали. Держались из последних сил и все дальше бежали по лесу от железной дороги, оттуда, где на рассвете немецкие самолеты разбомбили их эшелон.

Эшелон вез парней, таких же, как и они, новобранцев, подальше от войны, туда, где они должны были чему-то научиться, чтобы стать настоящими бойцами.

Василий, Никодим и Иван не знали, как далеко отбежали от того ужасного места за рекой, где пылал их эшелон. Перед тем как увидели пламя над вагоном, в котором ехали, поезд неожиданно остановила какая-то неимоверная сила. Она подбросила вагон вверх, затем с грохотом опустила на насыпь, с треском вырвала от стены вагона доски, выбросила парней на землю, и они катились по длинному откосу, пока не остановились на ровном месте под кустами.

Как лежали в вагоне рядом на полках, так рядом и катились по земле. А когда остановились, вскочили на ноги, осмотрелись — руки в ссадинах, лица будто не повреждены, глянули на насыпь, а там... А там над тем, что еще недавно было эшелоном, клубами катится пламя, ветер рвет на ошметки черный дым, что-то трещит, слышится скрежет металла, раздаются пулеметные очереди и с оглушительным ревом низко над землей проносятся самолеты.

Казалось, пламя, дым, пулеметные очереди и самолеты через мгновение обрушатся на них, как нечто монолитное и… Но увидев, что все, с кем ехали, бегут в лес, Никодим, Иван и Василий бросились за ними. Бежали, боясь потерять друг друга из виду. Бежали, кто-то обгонял их, кто-то отставал, а сзади еще долго слышались выстрелы, крики, и казалось, пламя обжигает плечи, а дым выедает глаза.

Бежали уже втроем, товарищи по эшелону где-то исчезли. Бежали и еще долго огибали деревья, кусты, пни, перебегали через тропы, поляны, пока не влетели в болото и густой лозняк не преградил им путь.

---

[*] Окончание. Начало в № 6 за 2018 г.

Вскочили по колено в воду, освежающие брызги окропили разгоряченные лица, и только тогда парни спохватились: куда же мы несемся...

Стояли согнувшись и держась руками за животы, тяжело дышали, сердца стучали, пот заливал глаза — долго никто из них не мог вымолвить ни слова.

Если кто-то пережил ужас, когда смерть была рядом, но ускользнул от нее, первое, что приходит в сознание, — живой. И это «выдыхается» тихо, хотя тяжело, долго стучит в висках, взгляд не сразу становится ясным, не сразу возвращаются звуки и не сразу исчезает страх…

Так было с каждым из них. Никодим, Иван и Василий, остановившись, ощутив на лицах освежающие брызги воды, будто пробудились от ужасного сна и с какой-то встревоженной успокоенностью поняли: живые...

Глядя друг на друга, долго молча стояли по колено в воде. Восприятие реальности к каждому возвращалось медленно: вокруг пели птицы, над ивняком высоко в голубом небе стояло слепящее солнце, болотная топь начинала засасывать ноги…

Василий, наконец-то отдышавшись, зачерпнул воды, ополоснул лицо, проговорил:

— Что же мы наделали...

— А что? — спросил Никодим.

— Что, что, самовольно сбежали от эшелона.

— Дезертиры? — смутился Иван.

— Почем я знаю? Может, и так.

Наконец-то поняли, в какую ситуацию попали… С ними ехали командиры, парни должны были во всем им подчиняться и исполнять их команды. В пути были уже двое суток, подчинялись своему командиру, молодому лейтенанту. На станциях из вагона, обычной теплушки, не выходили. По команде получали паек, по команде ложились спать, по команде поднимались, правда, только один раз, вчера. Сегодня же команды «Подъем!» не было, на эшелон налетели немецкие самолеты. Но ведь не было и команды: «Бегом, подальше от эшелона!» И вообще не было никакой команды. И своего командира, когда катились по откосу к кустам, а потом бежали по лесу, не видели. Может, погиб? Или тоже сбежал? Но ведь были и другие командиры, и даже был командир эшелона. А что с ними?.. Но что бы ни было, а надо возвращаться.

Легко сказать возвращаться. А куда идти? В какую сторону?

Никодим и Иван также освежили лица болотной водой, жадно выпили по несколько пригоршней, утоляя жажду: вода была холодная, наверное, рядом бил родник, с трудом вытянули ноги из топи, вышли туда, где было твердо. Там сняли сапоги, вылили воду, выкрутили портянки, и Никодим сказал:

— Конечно, надо скорее возвращаться к своим, иначе нас действительно посчитают за дезертиров. А так — побежали, как и все, а потом опомнились и вернулись. Может быть, командиры даже не будут ругаться.

Но прежде чем возвращаться, надо было определить, где находятся. Известно одно: далеко от эшелона, ведь долго бежали. И еще: он шел на восток, солнце только вставало, лучи наискосок пробивались в вагон. А вот где сейчас железная дорога — на востоке, юге или севере — неизвестно. Только точно определив это, будет понятно, куда идти.

Итак, поезд шел на восток. Значит, в том направлении он и находится, или то, что от него осталось. Там их товарищи и командиры, конечно, если кто остался живой. Туда, должно быть, вернулись и те, кто вместе с ними убегал в лес.

Сейчас солнце (его, когда вышли из болота, не было видно из-за густых высоких елей, под которыми стояли) ощущалось почти прямо перед ними, хотя чуть слева. А мох на деревьях был с противоположной стороны. Между ним и солнцем образовывался большой, почти прямой угол. Север там, где мох. Все просто и понятно, сейчас примерно часов одиннадцать утра, солнце близится к зениту. Получается, если стать спиной на север, то надо двигаться влево, это и будет на восток, где остался эшелон.

Нехитрой наукой, как определить в лесу место своего нахождения, если вдруг заплутаешь, владели все трое. Впрочем, парни также знали, как ориентироваться на любой местности, даже если нет солнца. Правда, днем. Ночью же, даже звездной, — нет.

Они знали, как выжить в лесу, на реке, в поле, если выбился из сил и холодно, идет дождь, метет метель или все вокруг охвачено огнем. И неудивительно: этому деревенские мужики учат своих сыновей с малолетства. И если попадаешь в тяжелую ситуацию, главное — не паниковать, успокоиться, сосредоточиться, выход всегда найдется.

И еще много чему учили их родители и односельчане, а вот тому, что надо делать, когда попадешь под бомбежку, под пулеметный огонь, — никто не учил, хотя некоторые мужики из Забродья и Гуды уже воевали. Кто в империалистическую, как говорили, «с немцем», кто в гражданскую, а кто успел понюхать пороху и на финской.

Не учили, так как никто не думал, что будет эта война. А если и думал, так давно было понятно: мы врага шапками забросаем...

Итак, если ориентироваться по солнцу и представить, сколько пробежали, пока оно взошло, получится километров десять, не меньше.

— Ну и драпанули мы, — с горечью сказал Василий, поглядывая в просвет между вершинами деревьев. — До эшелона километров десять.

«Драпанули» означало испугались и бежали куда глаза глядят. Обычно это слово употребляли в Гуде и Забродье, когда из-за чего-либо между собой бились парни и вдруг кто-то не выдержал, струсил и убежал.

Никодим и Иван согласились с ним: что они могли сказать в свое оправдание. Постепенно само собой получилось так, что Василий Кечик становился как бы главным в их небольшой группе. А если так, то этим самым он брал на себя ответственность за них, парней из соседней деревни, с которыми вместе шел на войну.

Никодим и Иван давно знали Василия. Они еще подростками начали ходить гулять в Забродье. Там были большой клуб, сельсовет, туда из райцентра привозили кинопередвижку. Там Боровцы встречались с Василием, с другими местными парнями, а с ним даже дружили.

Отец Василия, Леонтий Киреевич, и их отец, Ефим Михайлович, знались еще с юности, с тех пор, когда Боровец пришел в Гуду и пристал в примы к местной девушке Марфе. Кечика и Боровца когда-то свел Иосиф Кучинский. Он первый из местных парней подал руку Ефиму, поддержал его, тогда чужого здесь человека, а вскоре на гулянье познакомил и с Кечиком: «Леонтий, мой друг Иосиф, Иосиф, мой друг Леонтий».

Дружили отцы, дружили и сыновья. Правда, Стас Кучинский ни с кем из них не хотел знаться: бывает...

Василия, слывшего добрым человеком, уважали и свои парни, и парни из соседней Гуды. А в последнее время так даже заискивали перед ним. Еще бы! Колхоз направил его на курсы трактористов, единственного из всей округи.

Василий закончил их, вернулся в Забродье с трактором, точнее, приехал на колесном «железном коне»: первый парень на деревне.

Уважали его не только за это. Уважали еще и за то, что он, как и раньше, нос не задирал, со всеми был прост, катал на тракторе парней и девчат, и даже старух и стариков.

Василий часто давал Никодиму и Ивану покрутить руль трактора, научил их не только ездить, но даже пахать. Словом, осчастливил парней. И когда в военкомате спросили, кто умеет ездить на тракторе, назвались Никодим и Иван, хотя документов на это у них не было. Парней поставили в один строй с Василием и другими трактористами, повезли на восток. Говорили, будто подучить на танкистов.

И вот вышло так, что они и в армии, и не в армии, на войне и не на войне.

— А вдруг поезд уже поехал? — сказал Иван, когда обулись и собрались бежать назад. — Что тогда будет?

— Вряд ли он поедет, — ответил Василий. — Его же, наверное, полностью разбило. И железная дорога разрушена. Но что бы ни было, надо, пока не поздно, как можно скорее возвращаться.

Почему «пока не поздно», все понимали. Быстро вернулись, так какие они дезертиры? Просто испугались, как испугались все, кто бросился бежать.

— Вперед! — скомандовал Василий, повернул налево и побежал не на солнце, оно справа заскользило меж вершин деревьев, а туда, где, по их мнению, восток, где остался эшелон.

Неизвестно сколько пробежали парни, когда в небе, на западе, он был позади, послышался тяжелый, приглушенный гул. Он быстро нарастал, приближался. И вот уже, показалось, всколыхнул вершины и ветви деревьев, в которых, словно в сети, затрепетало мохнатое солнце. И хотя раньше парни никогда не слышали такого гула, поняли: самолеты. И летят они, наверное, туда, где находится их эшелон. Хотя, может быть, и к мосту через реку, который переехали незадолго до бомбежки.

И вот уже, едва ли не срезая крыльями верхушки деревьев (у страха глаза велики, и новый прилив страха овладел парнями), самолеты, оглушая их, проскользнули над лесом.

Парни упали на землю, Василий даже не успел дать команду, и пока лежали, самолеты развернулись где-то недалеко и уже высоко летели назад. И вдруг от них начали отделяться какие-то черные точки, над которыми почти сразу же вспыхивали белые купола.

— Парашютисты, — прошептал Василий. — Наверное, хотят захватить мост.

— Эх, подобраться бы туда да рвануть его! — сказал Иван.

— Так уж и рвануть. Чем? — спросил Никодим. — Смотри, можно попасть в лапы врагу. У нас даже нет пистолета, не то что чем рвануть. Что же делать?..

— Надо все-таки идти к эшелону, — настаивал Василий. — Там будет видно. От моста до эшелона километр, не более. Главное, не наткнуться на десант.

— А мы осторожно. Может, наши там уже готовятся к бою. Во всяком случае, у командиров были пистолеты.

Наивный, впрочем, как и Никодим с Иваном. Он видел в кино, как красноармейцы на границе смело обезвреживали врага, как беспощадно били белых в гражданскую войну. Видел, что враг всегда если не совсем глупый, то комический, а красноармейцы смелые и сообразительные. Верил, что так и есть.

И хотя натерпелся страху, убегая от эшелона, когда немецкие самолеты бомбили и обстреливали его, сейчас вдруг осмелел и успокоился, не желая признаться себе в том, что боялся.

— Наши там уже воюют, бьют гадов, — чеканя слова, проговорил Никодим. — Надо идти, нельзя медлить ни минуты.

Никодим, на год старше Ивана, был более решительным. Он всегда быстро высказывал свои суждения, не задумываясь над тем, правильные они или нет.

Не возразили: конечно, бьют...

Парни опять направились на восток. Только сейчас уже не бежали, как раньше, а быстро шли, внимательно поглядывая по сторонам, опасаясь засады.

Одеты они были в форму красноармейцев. Ее им выдали перед тем как посадить в эшелон. Присягу парни еще не успели принять, так что бойцы и не бойцы. Но тем не менее, Никодим, Иван и Василий считали себя красноармейцами с той минуты, когда еще в райцентре надели военную форму. Так что — бойцы, воины!.. И теперь эти «бойцы», «воины» вновь, как и утром, когда убегали от пылающего эшелона, были напуганы и растеряны. Еще бы, без командиров, не подготовленные к войне, вообще к столкновению с врагом, они в любую минуту могли наткнуться на вооруженного и искушенного в военном деле противника. И что тогда? Сдаться в плен? Другого выхода у них нет: иначе застрелят, и никто не будет знать где.

Бравада, мол, было бы у нас оружие, дали бы бой парашютистам, была пустой. Словом, одни и есть одни... Так что — туда, где свои, к эшелону.

И они шли на восток, ориентируясь по солнцу. Оно по-прежнему стояло справа. День был ясный, и солнце не исчезало ни на минуту. Когда шли или бежали по густому лесу, оно ярким расплывчатым пятном скользило в верхушках деревьев. Когда выходили на поляну, слепило так, как и должно слепить в полдень летнее солнце: глянешь на него на мгновение и зажмуришься...

Не известно, сколько они прошли и пробежали, как вдруг впереди услышали сухие громкие выстрелы. Парни как подкошенные упали на землю. Долго лежали, боясь пошевелиться: стреляют по ним?..

Оказалось, что стреляли не по ним, время шло, но никто сюда не приближался, никто не подавал никаких команд.

— Там, кажется, наш поезд, — сказал Василий, осторожно приподнял голову и показал рукой вперед. — Дымом пахнет.

Он потянул носом раз, второй, чтобы убедиться, не ошибся ли. Принюхались и Никодим с Иваном, ветер доносил сюда запах дыма и гари.

Василий осторожно поднялся, стал за деревом, посмотрел вперед, по сторонам, назад.

— Никого нет, — тихо произнес он. — Ну что, пойдем?

Встали и Никодим с Иваном.

— Пойдем, — сказал Иван. — Набегались.

Прошли с полкилометра, вышли из леса в невысокий сосняк, взбегающий на пригорок, остановились. Опять услышали частые, очередями, выстрелы, но уже совсем близко — за пригорком.

Опять упали на землю и затаились. Поняли, что и на этот раз стреляли не по ним.

— Это наши ловят парашютистов! — воскликнул Василий. — И стреляют не иначе как из автоматов.

— Конечно, наши, — сказал Никодим. — Пока немцы спускались на парашютах, наши следили за ними. Немцы — на землю, а наши их тут же, тепленьких: «Руки вверх!»

— А кто не сдался или где дальше приземлился, тех сейчас и ликвидируют, — сказал Иван и добавил: — Надо быть очень внимательными, может, какой немец убежал, так мы его должны скрутить и притащить к нашим.

— Конечно, — согласился с ним Василий. — Если что, не упустим. Главное — напасть на него врасплох, отобрать оружие. И брать только жи...

Вдруг он осекся, словно споткнулся, наверное, хотел отдать команду брать врага живым, и упал в траву. За ним, еще ничего не понимая, упали Ваня и Никодим.

— Немцы, — прошептал Василий, быстро отползая назад.— Там, впереди, около моста. Много...

Кажется, парней не заметили. Затаившись, они какое-то время лежали молча, не зная, что делать. Потом Иван, приложив к губам палец, осторожно пополз вперед, на вершину пригорка. За ним — Никодим и Василий.

Опять было очень страшно. Казалась, что за каждым кустом притаился немец. Еще мгновение, и грянет выстрел. Но парни не останавливались, ползли и ползли, постепенно преодолевали страх, и это теперь для каждого из них было очень важно: они становились бойцами, хотя еще не понимали этого.

Через некоторое время доползли до вершины пригорка, поросшего малинником, притаились. Осторожно раздвинув заросли, посмотрели вперед: перед ними был не эшелон, а мост через Дубосну. Длинный, металлический, на четырех бетонных опорах, он был как на ладони: четыре немца, вооруженные автоматами, ходили по нем.

Немцы также были и на железнодорожной насыпи. Много немцев.

До моста было метров триста, может, чуть более. Попробуй точно определить, если сердце трясется, а дыхание частое-частое и горячее, и какая-то неизвестная сила вдавливает тебя в землю. Да так, что не подняться, не отползти. Опять страшно. Но уже не как раньше.

Постепенно каждый из них, наблюдая за происходящим возле моста, понимал, что недосягаем для врага. И этого было достаточно, чтобы контролировать себя, видеть рядом с собой других, предугадывать то, что они будут делать дальше.

Если ты в таком состоянии, то шанс выжить даже в самой сложной ситуации есть.

Постепенно туман рассеивался (а может, его и не было). И вот уже кроме реки, моста, фигурок немцев на нем, возле него и у железнодорожного полотна парни заметили на лугу за обочиной по ту сторону рельсов большую толпу людей, окруженных автоматчиками.

— Пленные, — прошептал Василий.

— Наши, с эшелона, — тихо уточнил Никодим.

Так и есть: эшелон разбомбили вскоре после того, как переехали мост. Значит, и они, братья Боровцы, и их товарищ Василий Кечик, если бы не убежали так далеко в лес, были бы здесь.

— Наши, — подтвердил Василий и привстал. — Да-а, ну и дела… — Иван также приподнялся, чтобы лучше разглядеть, что делается у моста.

— Эх, было бы чем пальнуть по немцам, — отчаянно проговорил Никодим, приподнимаясь вслед за братом.

Вдруг от охранников отделился автоматчик, через насыпь бросился сюда, к пригорку, пробежал несколько шагов, остановился и выпустил в сторону парней длинную очередь. И сразу же рядом с ними землю взрыли пули.

— Ложись! — закричал Василий и первым упал в траву. Через мгновение он, втягивая голову в плечи, закрывая ее руками, заметив, что Никодим и Иван

также лежат на земле, добавил: — Отползаем! Поднимаемся, бежим в лес в том направлении, откуда прибежали! Бежим и видим друг друга.

Парни торопливо отползли на несколько метров от пригорка, который закрывал их от немцев, поднялись и, пригибаясь, бросились к сосняку, а миновав его, — в чащу леса.

Выстрелы сзади слышались еще долго, и долго по лесу катилось сухое эхо.

2

Через неделю, пройдя берегом реки на запад неизвестно сколько километров, парни поняли, что до родных деревень не так уж и далеко.

А тогда, убегая от немцев, которых так близко видели впервые (парашютисты в небе не в счет: высоко и далеко), понимали, что враг вовсе не такой, каким они его представляли. Нет, он не глупый. Он не будет стоять и ждать, пока его забросают шапками такие, как Василий, Никодим и Иван или их товарищи по эшелону. Он пришел хозяйничать на этой земле и убивать. И может быть, не будет церемониться с теми, кого взял в плен. И то, что парням удалось убежать, у каждого из них вызывало двоякое чувство.

Во-первых — повезло. Во-вторых, что скажем своим, когда придем к ним? Скажем, что сбежали от эшелона, когда его разбомбили немецкие самолеты?.. Сразу же спросят: «Команда убегать была? А где остальные? Не дезертиры ли?» (Вновь все возвращается к одному и тому же.)

Конечно, команды бежать никто не давал. Здесь и врать не надо, никто не поверит, коль только втроем уцелели. Но ведь без команды убегали не одни они, многие бежали куда глаза глядят: только бы не погибнуть…

Многие?.. Паникеры! Из-за вас, из-за вашей трусости столько людей попало в плен. По закону военного времени…

Что может быть с каждым из них, если «по закону военного времени…», парни знали. В первый же день, когда надели военную форму, командир, молоденький лейтенант, построив их около эшелона, объяснил, как надо вести себя в похожих ситуациях. И о панике в бою говорил, и о дезертирстве, а также — об ответственности за все это.

Вот только тогда, когда убегали от охваченного пламенем эшелона, об этом забыли. Вообще тогда ни о чем не думали, кроме одного: как спастись. Хотя, может, и об этом не думали: страх гнал...

Сейчас, когда убегали от стрелявшего по ним немца, бежали уже сознавая, что попали в иную, чем утром, но тоже сложную ситуацию, а еще, что теперь они могут контролировать свои действия. Понимали, что пригорок закроет от пуль, лес спрячет от врага, и тот едва ли осмелится пуститься в погоню.

Также понимали, что надо держаться друг друга, ведь если что с кем из них случится, остальные в беде не оставят.

Через какое-то время остановились в чаще. Выстрелов уже не было слышно. И страха особенного не было. Отдышавшись, решили дождаться темноты, затем пойти к реке. Но не к мосту, а как можно дальше от него. Дойдут до реки, протекающей возле их деревень, и — домой! Иного выхода из той ситуации, в которую они попали, парни не видели.

3

Почти неделю, придерживаясь берега реки, Василий, Никодим и Иван шли домой. Братья — в Гуду, Кечик — в Забродье. Пока им везло, немцев нигде не видели. Река текла среди лесов, на ее пути встречались заболоченные

места, где к ней трудно было подобраться, а также — луга и поля. За лугами и полями иногда были видны деревеньки, но парни обходили их, боялись, а вдруг там немцы. Время от времени откуда-то из-за реки, с того ее берега, слышалось, как по рельсам тяжело стучат колеса эшелонов, конечно же, не наших. Слышали и гул машин, но тоже за рекой. Случалось, высоко в небе с запада на восток летели самолеты, а часа через два возвращались. Словом, было понятно: немцы здесь, а наши где-то далеко.

Дни и ночи стояли теплые, дождей не было. Когда шли по сухим местам, под ногами потрескивали веточки. Места для ночевки выбирали подальше от реки, ночью от воды тянет сыростью, холодом. Искали высокие места, бросали на землю ветки деревьев, чаще всего березы, ложились на них. Накрываться не надо, если снизу не тянет. Костер разводили каждый раз, Василий курил, у него были спички. Последнюю самокрутку выкурил еще в эшелоне вечером перед отбоем. А наутро в вагоне остался его вещмешок с кисетом, спички же были в кармане брюк.

Разводили костер до темноты, чтобы не был заметен в ночи. Перед этим в заводях из нор доставали руками рыбу, жарили на углях. Рыбой и кормились. Ели также землянику и еще не совсем созревшую чернику. Хотелось как можно скорее добраться домой, вволю наесться, хорошо выспаться, отдохнуть, а потом уже думать, что делать дальше.

Действительно, что? Где находятся наши — неизвестно. И где немцы — тоже. Может быть, немцы давно уже в Гуде и в Забродье. Придешь домой, как тогда быть?.. Ответа на этот вопрос ни у кого из них не было. Парни не знали, что ждет их впереди. На шестой день своего похода ближе к вечеру, придерживаясь берега Дубосны, набрели на заросшую травой тропу, выходившую из леса к реке. Берег здесь был низкий, вода заливала небольшую лужайку между рекой и лесом. От лужайки к воде спускался широкий и длинный мостик, к такому хорошо привязывать лодку, с него удобно забрасывать удочку. Недалеко от мостика, у самого леса, там, где было сухо, чернело обнесенное камнем, хорошо выгоревшее, без углей и головешек кострище. Было понятно, что здесь давно никто не разводил костер, хотя над кострищем на толстых железных рогатинах лежал железный прут. А еще дальше, у самого леса — шалаш. Почерневший, осунувшийся, с просевшими боками, человека на четыре.

— Так это же Дорошкевичева Стража, — удивленно сказал Василий, осматривая берег. — Мы с отцом здесь были. Нам нужна была липа. Баню новую ставили. Какая же баня, если полки и скамейки не из липы? В наших лесах липы нет. Иосиф Кучинский, отец Стаса, подсказал моему: Дорошкевича попроси. У него целая роща возле усадьбы. Отец отмахнулся: нет у меня с ним дружбы, нелюдим Дорошкевич, не даст. А тот: «Даст, а что нелюдим — так характер такой». Приплыли мы, дал. Отсюда до Стражи за час дойдешь.

— А в Гуду? — спросил Иван.

— В Гуду? Если по дороге от Стражи или, как сейчас, вдоль реки?— спросил Василий и сам ответил: — А ты вспомни, когда на войну шли, так за полдня добрались до Стражи. А если вдоль реки идти, наверное, день-два. Уж очень она петляет. А вы что, никогда здесь не были?

— Нет, — ответил за себя и за Ивана Никодим. — Нам удобнее было ходить в район той дорогой, что от нас к шоссе. Возле усадьбы были только тогда, когда в район, в военкомат шли. Видели дом, строения, но не очень-то разглядывали усадьбу, сам знаешь, было не до нее.

— Может, переночуем в шалаше? Лапника натаскаем, мха, сухой травы нарвем. Да и костерок, пока не стемнеет, разведем, — сказал Иван.

— Нет, — возразил Василий. — Лучше зайти в усадьбу. Должно быть, дядя Дорошкевич вспомнит меня. Думаю, хозяева покормят. Немного отдохнем и пойдем дальше.

Иван предлагал переночевать здесь не только потому, что очень устали, идти они еще смогли бы час-два. Чем ближе был родной дом, тем больше волновался: что скажет отец? Может, и на порог не пустит: «Люди на войну пошли, а мои сыновья домой прибежали!»

Очень хотелось поскорее прийти домой. И вместе с тем было боязно. Отец, конечно, со временем простит, но что скажут люди? Не будут знать, что ты дома? Так всю жизнь в запечке не просидишь, рано или поздно выйдешь к ним. И до каких пор будешь прятаться? Пока наши придут?.. А тогда что?.. Выбежишь встречать: «Я свой»? Будет тебе свой...

И другое пугало: в деревне могут быть немцы. Пришли домой и сразу в плен?.. Как-то не по-человечески все это. И когда Василий предложил идти на Стражу, Иван обрадовался: «Переночуем, а там будет видно».

Никодим также согласился с Василием. До деревни еще далеко. Устали. Изголодались. Почему бы немного не отдохнуть, а потом и решать, что делать дальше?

— С Дорошкевичем отец даже по рюмке выпили, — говорил Василий. — Вот тебе и странный, как о нем говорили. — Хотя удивляет: отца моего знал, оба лесники, но почему-то обходил его. Но липы дал, не отказал. Помню, когда отец достал бутылку, тот вынул из кармана свою маленькую рюмку, из нее и пил.

— Может, он старой веры придерживался, — предположил Никодим. — Мы же для них язычники. Они с нами из одной посуды не пьют и не едят, вера не позволяет, хотя живут с нами в согласии.

— Какая старая вера? Отец говорил, что Дорошкевич, как и он, партийный. В районе на партсобраниях встречались. Почти земляки, а сидели порознь. Нелюдим!

— Ну, тогда он нас не приветит, — молвил Иван.

— И такое может быть. Но все равно пойдем, — решил Василий и добавил: — Пусть не приветит, но хотя бы скажет, есть ли поблизости немцы. А то идем домой и ничего не знаем.

Солнце клонилось к западу. Казалось, остановилось там над густым и уже темноватым снизу, у земли, лесом. Лучи искоса скользили по верхушкам деревьев, освещали левый берег, где на заросшей и давно нехоженой тропе, уходящей в лес, стояли парни.

Над рекой, усыпанной желтыми блестками, уже начинал подниматься легкий, но еще прозрачный туман. Птицы пели, где-то стучал дятел, возле берега у травы слышались всплески рыбы, на стрежне раза три громко ударил жерех: так, глуша добычу, бьет только он, будто плашмя доской.

— Идем! — словно приказал Василий. Парни вошли в лес, направились к Страже.

Через какое-то время подошли к усадьбе. Сумерки еще не наступили, но вечер уже чувствовался: тени от деревьев, падающие на поляны, когда тропа проходила по ним, стали длинными, на траве выступила роса, веяло прохладой.

Остановились на окраине леса, чтобы убедиться, есть ли кто на подворье. Затаились за придорожным кустарником. До подворья было метров пятьдесят. Оно было обнесено высоким частоколом, со стороны усадьбы к дороге ворота

были широко открыты. Возле них — большая собачья конура, но собаки в ней и около нее не было. Не было ее и нигде во дворе. Василий тихо сказал: «Наверное, хозяин с собакой в лесу, а то пес поднял бы шум на всю округу. И в доме тихо».

Дом был большой, старой постройки, сени выходили на подворье. Двери в сени открыты, но что там — не видно, в проеме темно. Крыльцо невысокое, на нем стоят корзина, огромный чугун, два ведра. Недалеко от крыльца, ближе к дороге — колодец с высоким журавлем, вода глубоко. Напротив крыльца, шагах в десяти от него — длинный, с двумя воротами сарай, крытый тесом. И одни, и другие ворота открыты. Во дворе возле сарая у корыта хрюкают два кабана. Возле них с ведром хлопочет старуха. «Ну что, подойдем?» — спросил Василий.

Никодим и Иван молча кивнули...

Чтобы войти во двор, надо было открыть ворота, с которых и начиналась дорога от усадьбы к реке.

Ворота были из жердей, широкие, через них можно проехать с возом сена. Держались они на двух больших металлических петлях, приделанных к толстому столбу. С другой стороны на жердь и на второй столб было наброшено кольцо из сыромятной кожи. Василий снял его, парни осторожно потянули на себя ворота. Они протяжно заскрипели: удивительно, что у такого хозяина петли не смазаны.

Старуха выпустила из рук ведро, оно звонко стукнулось о землю, повернулась к воротам, приставила козырьком руку ко лбу — вечернее солнце слепило. Парни нерешительно зашли на подворье, сделали несколько шагов, остановились, ожидая, что будет дальше.

— Что же вы стали, детки? — сказала старуха и опустила руку. — Вошли, так проходите и не бойтесь, никого чужого нет. Ни тех, ни этих. (Не сказала кого.) А я смотрю и думаю, может, мои сыночки идут? Но нет, не мои. У меня их тоже трое, потому и подумала, что они. Издалека идете, куда?

— Издалека, мать, — сказал Василий и отчаянно махнул рукой на восток: — Оттуда. — Помолчал, будто раздумывая, говорить ли конкретно, куда идут, показал на запад: — Туда. Говорите, чтобы заходили...

— А почему же нет? — искренне удивилась старуха. — Пожалуй, устали. (Посмотрела на их грязную форму.)

— Маленько есть, — смутился Василий. Смутились и Никодим с Иваном.

Заходите, отдохните. Может, сейчас и мои парни вот так, как вы, к кому-то зашли. Они с начала войны туда пошли. (Показала рукой на восток.) А что теперь с ними — один Бог знает. Туда уже и немец пошел. А вы смелей заходите. И покормлю, есть чем, и воды попейте, да переночуйте, если далеко идти. У меня тут тихо, одна я. А там...

Умолкла, не договорила. Что она имела в виду, сказав о сыновьях, и «а там...», парни не задумались: хотелось есть, отдохнуть. Благо, немцев здесь нет, и если даже вдруг они будут ехать или со стороны Забродья, или из района, так издали услышат шум моторов. Убежать здесь проще простого: кругом лес. Да и стемнеет скоро. Вот и солнца уже не видно, хотя его лучи еще скользят по вершинам деревьев за дорогой.

— Значит, одна вы, — сказал Василий. — А хозяин где?

— Умер. Перед войной. Как умер, так и собака сошла. Потому одна я.

— Простите, — Василию стало неловко, — не хотел.

— Ничего, а вы будьте смелее.

Парни сделали еще несколько шагов по двору. Остановились, подойдя к старухе. Молчали, не зная, как быть дальше. Старуха, наверное, поняла это, сказала:

— Что же вы такие робкие? А еще солдаты.

— Какие мы солдаты? — в отчаянии проговорил Иван, и добавил: — Получилось так, вот и идем...

Он вдруг запнулся, не сказав, куда идут, смолк.

— Солдаты не солдаты, но в форме, — сказала старуха.

— Вы не думайте, мы не дезертиры, — поспешил оправдаться Иван. — Мы...

— Ничего, ничего, — не дослушав, успокоила его старуха. — Все еще наладится. Всякое бывает. Идите за мной в дом. Перекусите, успокоитесь, поспите ночь, а там — как Бог даст.

Это «ничего, ничего» немного успокоило парней. Так всегда говорили женщины в Забродье и в Гуде, если кто обидит их дитя и оно заплачет, прибежит к маме. А мама: «Ничего, ничего...» Дескать, хватит, наплакался. (Здесь утешение и сочувствие.) И сразу же пахнуло родным, и так захотелось домой — хоть сейчас беги, невзирая на надвигающуюся ночь…

После ужина, когда парни, поблагодарив хозяйку, собрались выходить из-за стола, она, глянув на них, сказала:

— Побрились бы. Есть чем, свежее будете, да и форму снимите, уж очень заношена. Заодно и исподнее снимите. Я все постираю. К утру высохнет, ночи теплые, ветерок, а нет — так поутюжу, печь вытоплю, угли в утюг будут. И воды нагрею. А вам дам одежду моих сыночков. И исподнее дам. Оно чистое, их ждало. Вот и пригодилось.

Дома парни уже брились, и в поезде один раз — тоже. У Никодима и Ивана щетина была густая, темная. За то время, что шли, у них появились небольшие бородки. Но все равно глаза и фигуры выдавали — молодые ребята.

У Василия лицо заросло меньше, бородка редкая, светлая. Хотя то, что было на щеках у парней, бородками назвать трудно — всего неделю не бриты. Конечно, побриться не мешало бы — придешь домой, как беглый каторжник. (Бытовала такая фраза у мужиков, если кто-то очень долго был не брит.)

— Как-то неудобно, — пожал плечами Иван. — Да и идти нам уже недалеко.

— А что тут неудобного? — возразила старуха. — Далеко-недалеко, а в чистом лучше. А я своим парням после постираю, как пойдете. Может, пока они придут, так еще не раз их одежда таким, как вы, пригодится. Бог знает, когда война окончится. А когда мои сыночки вернутся, найду во что им переодеться, коль эта сносится. Трое их у меня, и две доченьки. Доченьки старше парней. Доченьки еще до финской войны в город отлетели. Замуж там вышли. А парни тут, при нас с отцом, были. А война началась, пошли на фронт. Может, кто из вас с ними где встречался? Дорошкевичи их фамилия. Сергей, Юрка и Гришка. Высокие такие.

Парни пожали плечами.

— Значит, не встречали, — вздохнула старуха, провожая парней к сараю. — Оно так, мир большой, и повсюду люди. Здесь, считай, рядом с людьми живешь, в каких-то верстах тридцати-сорока от деревень и поселений, а встретишь кого из знакомых, так в кои-то веки, и то — чаще в городе, на базаре. А вы с моими сыновьями незнакомые. Но все равно может случиться, встретите моих сыновей, они сейчас там, где все люди, тогда скажите, что видели их мать. Скажите, что ждет, крепится. Скажите, говорила, что через

ваш двор с начала войны много разных людей прошло и на запад, и на восток. Но все больше туда, где воюют, — махнула рукой на восток. — Скажите, всех привечала: и тех, и этих. Мало что с человеком бывает, если страшно. Но страх и стряхнуть с себя можно, коль голова не потеряна…

Старуха говорила с парнями, наверное, понимая, что идут они и сомневаются, туда ли идут, куда надо. Может быть, лучше бы к фронту? Понимала, что на перепутье они. Говорила с ними вроде странно, но при этом постепенно подводила к тому, что нельзя им домой идти, надо пробиваться туда, «где все люди». А там и ее сыновья…

Парням было неприятно: поучает. Только еще неизвестно, где теперь были бы ее сыновья, если бы попали в такую ситуацию, как они. Может быть, первые побежали бы, в плен сдались, или были бы уже давно дома. Василий, Никодим и Иван перед врагом руки вверх не подняли. А могли бы. Так что, бабушка, говорить можно разное, если ничего не знаешь…

Побрились. Перед небольшим зеркалом, вмурованным в печь около шестка. Посмотрели друг на друга — будто и непривычно уже — опять парни, такие же, как шли в военкомат, побрившись перед дорогой дома. Но шли они на войну в чистой одежде, в штатской, а теперь к телу липнет грязная солдатская форма.

Пока умывались у колодца, раздевшись до пояса, затем переодевались в сарае, старуха принесла и положила около лестницы на сеновал стопку чистой одежды и вышла во двор. Василий сказал, что, пожалуй, переодеться в штатское не помешает. Вдруг приедут немцы, так мы — сыновья старухи.

— Сыновья, сыновья, — передразнил его Никодим. — Они же форму нашу увидят. И вообще, зачем нам переодеваться? Побежим, а они к старухе: «Где красноармейцы?»

— Да не будет тут никаких немцев! — почти закричал Иван. — Один: переодеваться-не переодеваться, а второй… Бабушка хочет как лучше, чтобы в чистом пришли домой…

Сказал и осекся: что это я? Куда иду? Хотя известно куда: домой. А куда же еще? К фронту? А где он? На востоке. Но где конкретно? Сколько до него идти? А дом совсем близко, может, километрах в тридцати-сорока отсюда. За день можно дойти, а вот дойдешь ли до фронта — неизвестно. Убить могут, в плен можно попасть. Да мало ли что может с тобой случиться. А дом и есть дом. Родители поймут, спрячут от немцев, пока наши придут, а потом, и тогда…

Стоп! Пусть и так, но что будет «а потом» и «тогда»?..

В такой ситуации страшно и то, что может быть между этими *словами,* якобы дающими надежду на что-то лучшее. Да и после них…

Если взять Никодима и Ивана, то нечего надеяться, что отец позлится-позлится, да и пожалеет своих сыновей и простит их. Нет, он очень строг в том, что касается совести. А здесь прежде всего затронута совесть: все на фронте, а вы — под мамкино крыло...

Конечно, мать есть мать. Она будет жалеть их, как жалела всегда, заступаясь за них перед отцом.

Помнили парни, как, провожая на войну, отец остановился за деревней на мосту, стал на колени, перекрестил их, затем сказал, что нет им без победы дороги назад...

Помнили, как леденящая душу дрожь пробежала по телу и у одного, и у другого: посмейте только вернуться с позором. Пробежала, и сразу же вспыхнуло ранее неизвестное чувство ответственности за мать, отца, за землю, по

которой шли: не мальчишки, мужчины, на войну идут, только зачем, отец, напоминать об этом? Сомневаешься в нас? Да ты этими своими словами будто ворота на дороге домой перед нами захлопнул!

Жгли сейчас отцовские слова души его сыновей. Еще как жгли: нет, не зря, не просто так он их сказал, отец просто так ничего не говорит.

Многое виделось сыновьям Ефима Михайловича Боровца за этими словами. Хотя, казалась бы, слова и есть слова. Их можно и не услышать. На них можно не обратить внимания. Тогда идите домой, Никодим и Ваня, дома шанс остаться в живых возрастает. Но знайте, многие ваши земляки, с кем вы шли на войну, не вернутся домой, погибнут, и может быть, их будет больше, чем тех, кто вернется. А уж таких, как вы, прибежавших под отцовское крыло, может и вовсе не быть. Встретитесь когда-то с теми, кто после победы придет с фронта, что им скажете?.. И что ваш отец скажет тем, кто воевал?..

Тяжело все это представить, но можно. И представляется. И ужасное, и якобы утешительное. Но почему-то ни на том, ни на этом сосредотачиваться не хочется. И смысл слов отца не в том, что запретил возвращаться без победы, а в том, что на вас, сыновья мои, ответственность за нас с матерью, за всех людей, за свою землю. И вы это должны хорошо помнить и знать.

Как же жаль себя, когда об этом думаешь! Василию жаль себя, Ивану себя, Никодиму себя. И каждому по-своему. Каждый за эти несколько дней войны натерпелся такого страха, что хоть под землю спрячься от всего того, что видел, что пережил. Но от своего страха нигде не спрячешься. Превозмочь бы его. А пока он, страх твой, будто ускользает от тебя, словно ужасы войны, в которые попали твои товарищи по эшелону, — тебя не коснулись. Неправда, коснулись, да еще как! Зацепили, обожгли, да так, что спасения нет даже здесь, недалеко от дома, на этом чердаке, на пыльном прошлогоднем сене, где, кажется, ничто реально тебе не угрожает, а если и будет угрожать, так старуха предупредит. Она не спит, слышно, как плещет в корыте вода, наверное, старуха стирает военную форму парней.

Иногда на подворье становится тихо. Должно быть, хозяйка прислушивается к тому, что делается вокруг усадьбы, ее легкие шаги по твердой земле от сарая к дороге и назад нарушают тишину, потом затихают.

А шаги старухи такие же легкие, как и у матери, когда она ходит по двору, боясь потревожить сон сыновей: спят на чердаке на сене, поздно пришли с гулянья из Забродья. Вот только не слышно громкого голоса отца:

— Мать, женихи уже вернулись?

Эх, отец, никакие они не женихи. Нет у них еще постоянных девчат, пока еще ни к одной сердца по-настоящему не прикипели. Да, парни твои уже осмелели: кавалеры! Они уже не стесняясь танцуют с девчатами, и даже случается, провожают их домой. И только. А ты — женихи! Конечно, и Ване, и Никодиму очень хочется какую-нибудь обнять, прижать к себе, поцеловать: юная кровь кипит. Но ведь не получается, очень непросто сделать это. Может быть, и девушке, которую после танцев провожаешь домой, тоже хочется твоей ласки, но, как говорят, «блюдет» себя для того, кто станет ее мужем...

— Вернулись. Тихо, Ефим, не кричи. Дай им поспать.

— Какое поспать? Косить надо. Пойду подыму!

— Не трогай. Сам же был молодым. Помнишь ли?

Остывал отец:

— Помню. Пусть поспят.

На дворе становилось тихо, только легкие шаги матери еще долго словно плыли в воздухе, такие дорогие сердцу сейчас и незабываемые.

Как они там, мать с отцом?

Непростой была эта ночь для парней.

4

Утром, так и не решив, идти домой или на восток, где должен быть фронт, Василий, Никодим и Иван спустились с сеновала.

Только-только начинало светать. С восточной стороны над лесом в густой синеве слабо высветилась желто-розоватая полоска, заявив о пробуждении природы, а через минуту желтизна залила полнеба, вокруг усадьбы запели птицы, дохнул ветерок, пробежал по вершинам и ветвям деревьев.

Какая война?! Где она? Не приснилось ли парням все то, что было с ними за последнюю неделю? Нет, не приснилось. Вон из сеней со стопкой солдатского обмундирования выходит старуха. Молча подает ее парням: переоденьтесь. Берут чистые и отутюженные брюки и гимнастерки, идут назад в сарай, молча переодеваются. Не дома, на чужой усадьбе, на чужом хуторе, который на ночь дал им приют.

Старуха еще вечером говорила, что ее хутор немцы пока обходят: зачем он им? И дорога эта им вряд ли нужна. Лесная, глухая. Это хорошо, что такая…

Переоделись. Штатское, сыновей хозяйки, положили на сено. Одной стопкой. Услышали с крыльца: «Умойтесь и идите в дом».

Конечно, надо ополоснуть лица… Тяжелая ночь выпала парням. Многое передумано, о многом переговорено. И все сводилось к одному: что делать дальше, как быть… Дом совсем близко. Как же тянет домой!.. Особенно теперь, когда ночевали, будто дома на сеновале, когда вчера поужинали, как ужинали дома, когда одежда (не хочется думать о ней как о форме) чистая, будто мать выстирала.

Опять услышали с крыльца:

— Парни, кто там из вас старший? Кажется, Василий? (Пожалуй, слышала, как Никодим и Иван часто к нему обращались по имени.) Говорю, завтракать идите, а то остынет.

— Спасибо, мамаша, — ответил за всех Василий. — У нас старших нет.

— Как же так? Вы же солдаты, должен быть.

Не ответили. Молча вышли из сарая. Уже хорошо рассвело. День обещал быть солнечным, светлым. Над лесом, над дорогой взошло солнце. Пока еще большое, но уже слепящее.

— Мамаша, — сказал Василий, — мы вашу одежду там оставили.

Василий слышал, как их командир, лейтенант, так на станциях обращался к женщинам, приходившим к эшелону, которые приносили солдатикам хлеб, молоко, а то и сало.

— Пусть там, если она вам не нужна в дорогу. А то...

— Спасибо, не нужно.

— Придете домой, в свое переоденетесь? А то берите, мало ли кто встретится в дороге.

— Не надо, — сказал Никодим. — В форме пойдем.

— Ну и хорошо, если так, — старуха широко раскрыла двери в сени. — Позавтракаете, а тогда и идите куда вам надо.

Она первой направилась в дом.

5

Вчера, пока хозяйка хутора кормила их ужином, пока сидели за столом у окна без занавесок, смотревшего на дорогу, дом казался чужим. Впрочем, это был самый обычный деревенский дом. Не очень большой и не очень малый для семьи, которая когда-то жила здесь: хозяин, хозяйка и пятеро детей.

Был он по местным обычаям без перегородок, но разделен пополам легкими шторами, раздвинутыми к стенам, с печью справа, сразу же, как переступишь порог, с лежаками вдоль стен. А также с вилами, ухватами, горшками, стоящими возле печи на жестянке… С кувшинами, кружками и мисками на полках, приделанных к стене справа у двери из сеней… С запахом хлебной закваски, таким мягким и теплым, — войдешь со двора в дом — нет ничего приятней, чем этот запах… И конечно же, с иконой в углу, обрамленной вышитым полотенцем.

Вчера парней в доме интересовал только стол и что на нем. А на столе, длинном, сколоченном из досок и ничем не покрытом, — нарезанное большими брусками сало, огромная сковорода с глазуньей, кувшин молока и душистое колесо своего хлеба, который у хорошей хозяйки никогда не переводится.

Вчера, изголодавшись, жадно ели, глаз от окна не отводили, ведь рядом с домом дорога из Забродья в район. А теперь, утром, немного освоились, в окно поглядывали реже. Да и старуха говорила, чтобы не боялись, дверь в сени и дверь во двор открыты, а слух у нее еще хороший, посторонний звук за версту слышит.

И вновь каждому из них она чем-то напоминала мать. Василий видел свою. Невысокая, худенькая, с поседевшими, как у этой старухи, волосами. Вот только мать не казалась такой старой. И вообще его мать выглядела намного моложе. И глаза у нее не такие, как у хозяйки хутора. У нее словно выцвели, а у матери — темно-голубые, хотя цвет их менялся в зависимости от настроения. Если радостно — светятся каким-то неземным светом, добротой не только к своим детям, а ко всем людям. Когда мать печалилась, глаза ее тревожно темнели…

Но пока Василий с Никодимом и Иваном сидел за чужим столом в чужом доме, вспоминая свой. Гостеприимный у них дом, отец, как и мать, человека чтит. Лесник, случалось, заставал в лесу за самовольной порубкой и мужиков из своей деревни, и из иных деревень. Спрашивал, какая нужда подтолкнула на такое, как говорил, дело. «Недостаток в семье, детишек много, холодно-голодно?.. Ну что ж, забирай дрова, пни мхом покрой да ступай с Богом. Но в другой раз подойди ко мне, спроси, укажу, где и что можно срезать»... «А ты балуешь, продаешь?.. Нет, брат, так не годится. На первый раз отпускаю, а там — смотри мне!»

Действовало. И нет ничего странного, что до начальства такая отцовская вольность, как лесника, не доходила. Впрочем, люди не глупы, они хорошо понимают и чувствуют человека, от которого кое-что в их жизни зависит, и как говорят, за здорово живешь не будут пилить сук, на котором сидят.

Мед соседям отец раздавал: «Ты вот что, соседушка, гостинец лесной детишкам возьми. Весенний, первый. Да не прячь в чулан, пусть сейчас едят, к зиме еще будет».

Вспоминалась ему и сестра Верка. Вечно неугомонная, на два года моложе его, а о брате заботилась, как старшая...

Сначала вспоминалась совсем маленькой. Соседские мальчишки, которые были постарше, прогоняли ее: «Малая, брысь!..» Обычное это дело в мире

детей, но она с ревом бежала домой: «Братик!..» Утешал, успокаивал, играл с ней, мальчишкам грозил: «Я вам покажу, как меньших обижать!» Они Ваську побаивались, убегали, сестричка успокаивалась, видя, какой у нее защитник. А Васька только грозился, ни разу никому по шее не дал.

Вспоминалась уже сложившейся девушкой. Все о брате заботилась: «За тобой глаз да глаз нужен! Снимай одежду!» Васька молча подчинялся, Верка мамке руки заменяет, всю работу по хозяйству на себя берет, мамка часто хворает, молодец, сестренка! Васька в городе на тракториста учится, ему надо в чистом ходить! Прокипятила в чугуне в печи, а теперь прополоскать надо, да потом высушить, отутюжить. Полощет Верка его одежду и возмущается, переживает, что вдруг какая-нибудь городская краля захомутает братика, и он хлебнет с ней горя. Эти городские своего не упустят, если парень такой видный и трудолюбивый, как Василий. Слышала, так говорят девчата, которые устроились в городе. Пусть только какая посмеет завлечь ее братика, она, Верка, ей покажет!..

Виделась уже и невестой. К ней перед войной подступался Стас, Васькин одногодок, сын Иосифа Кучинского из Гуды. Казалось, парень как парень, ходил с ребятами из своей деревни на танцы в Забродье, от Верки глаз не отводил. Василий видел это. Стас ему почему-то не нравился. И Верка его сторонилась. А однажды Василий Стасу за нее нос расквасил… Проводив Нюрку с танцев в конец деревни, где она жила, пришел Василий домой. Забрался в сарае на сеновал, лежал, смотрел через щели в крыше на звездное небо и вдруг услышал тревожное:

— Братик! Васька!.. Ой, ой, пусти!..

Бросился Васька на улицу. Подбежал к старой березе возле палисадника, в лунном свете увидел под ней на земле белое Веркино платье и черную кучу на нем.

— Братик, — уже слабо, сдавленно, зажатым ртом звала Василия сестра.

Ястребом налетел он на Стаса, оторвал от Верки, бросил на забор, да так, что жерди затрещали. Потом приподнял негодяя, хотел еще дать, но тот вывернулся и, держась руками за нос, побежал к реке. Василий — за ним. Не догнал, столкнул Стас с берега лодку, потом еще долго было слышно, как весла, поблескивая в лунном свете, часто-часто шлепают по воде.

Хотел Василий столкнуть с берега свою лодку, догнать Стаса, но сестричка повисла у него на шее. Потом, когда остыл, когда Верка привела его к дому, призналась: боялась, что братик убьет Стаса.

Спас Василий сестричку от позора, не позволил посрамить, испоганить ее честь, не дал разрушить целомудренную нежность, которая, знал, наполняла ее душу: ведь Верка стихи писала, чистые, возвышенные — о любви...

И потом, пока Василий не пошел на войну, глаз с сестрички не спускал, оберегал ее. Основания были, какими-то грубыми становились парни, особенно чужие, те, которые вели из города в деревню электропровода да квартировали в ней.

Что теперь с его сестричкой? На войну провожала его с матерью и отцом. Держалась, слезы не уронила, но лицо было белое, и губы тряслись, когда говорила: «Воюй, за нас не бойся, если что — мы здесь себя в обиду не дадим».

Какая отчаянная!.. Если немец здесь, так ее сейчас надо защищать. И кто защитит? Кто сейчас оберегает Верку от врага? Отец?..

И отца видел… Видел, как на войну провожал. Все молчал, растерянный был, будто и не мужчина. А у него за плечами — гражданская война. На ней

не берегся, пуля насквозь грудь пробила, еле выжил. И после ему всего хватало. Было, как только начал служить лесником, постреливали в него бандиты, тогда они шлялись по окрестным лесам. Никого и ничего отец не боялся, а как провожал сына на войну, был сам не свой. За один день усох, осунулся. Говорил, словно сам себе: «Эх, дети-дети, как же вы воевать будете, такие молодые и неопытные?»

Сосед, дед Гордей, который воевал еще с германцем в 1914 году и который тогда где-то под Сморгонью, как говорил, глотнул немецкого отравляющего газа, но выжил, хотя очень сильно кашлял, также провожая Василия на войну — своих детей у старика с его Полиной не было, прокашлявшись, сказал тогда:

— Куда им воевать? Мальчишки. Лучше бы нас взяли, мы знаем, что почем. Но кто нас возьмет? — И обращаясь к Василию, грубо, по-мужски обнимая, продолжал: — Там главное головой думать. Все будет: и страх, и паника, и отчаяние. Помни, нельзя сломя голову из окопа вперед бросаться — сразу ее и положишь. Прежде чем на бруствер выскочить, внимательно посмотри, на кого идешь, запомни, где какой бугорок, куст, дерево... Я знаю. И ты должен знать, Василий. И товарищам, которые там у тебя будут, это скажи. Да друг друга во всем поддерживайте. А если кто побежит назад, врага испугается — загубит себя ни за понюх табаку, свои порешат.

— Что ты ребенку вздор несешь? Что ты его стращаешь? — набросилась тогда на старика бабушка Полина. — Не на пирушку идет, а ты его вон как!

— Не стращаю, а правду говорю! Знаю, куда идет. И никакой он не ребенок, воин!

Кто знает, сколько слез в тот день было пролито и в Забродье, и в Гуде. Кто знает, сколько еще будет пролито за войну и после нее. И как сейчас Василию возвращаться туда, откуда пошел защищать мать, отца, сестричку, соседей, односельчан? Не один пошел, а вместе с местными и чужими парнями и мужчинами, кто сейчас там, на фронте. И вместе — с Никодимом и Иваном, с которыми уже успел и страху натерпеться, и осмелеть.

В который раз думалось одно и то же: домой придешь, там и останешься. А если не домой, к фронту, то куда, где он?.. Куда бы ни идти, а жить хочется. Когда немцы бомбили эшелон, не одну чужую смерть видел, слышал крики товарищей, стоны... Душа разрывалась, от страха словно очумелый по лесу метался, смерти чудом избежал, а она, может быть, все равно где-то рядом ходит. А дом есть дом, дойдешь до него, спрячешься. Конечно, был бы мальчиком, так и надо было бы сделать. Спрятала бы мать под свое крыло, собой от беды сыночка закрыла. Но ведь взрослый, мужчина. Ее от беды закрыть надо, а он раскис...

И эта старая женщина, мимо дома которой он раньше много раз ходил в город и назад, а неделю тому шел на войну, все более и больше напоминала ему мать, которую любил, как каждый из нас любит свою, и за которую теперь боялся: что с ней, как она там? А что с отцом, с сестричкой? А с Нюркой что?..

Кажется, и любил ее, и не любил. Ему нравилось быть рядом с ней, все парни, его сверстники, ходили с девушками. Может, и женился бы на ней, но пока учился на тракториста, свел Нюрку чужой парень. Жорик. Его бригада тянула электрические провода в Забродье, а потом и в другие деревни.

Однажды пришел Василий из города, начал собираться на танцы, а сестричка:

— Не ходи! Нюрка с Жориком любится.

Не помнил Василий, чаще ли застучало тогда его сердце, или нет. Но както обидно стало: ходили же вместе с полгода. И даже за руки держались, и ночи напролет у какого-то дерева простаивали. Как так?

— Почему не ходи? — удивилась тогда мать. — Разве ему девчат не будет? Пожалуй, ходить ходили, а не любились. Нюрка не его, и Василий не ее. Что тут такого? Доченька, еще будет ему его девушка, как и тебе твой парень. А что Нюрка своего нашла, а Жорик свою, так добра им!

Пошел тогда Василий на танцы. Нюрку не встретил, наверное, дома была. Жорика встретил, тот сам к нему подошел. Руку подал. Поздоровались. Отвел Василия Жорик в сторону, сказал:

— Спасибо тебе, Василий.

— За что?

— Не тронул ты Нюру. Хорошо о тебе говорит. Ходили вы.

— Ходили.

— Мы с ней живем. У ее родителей. У меня своего дома нет, сирота я, детдомовец. Она мне люба, я ей.

— Живите. Что я тебе скажу?

— Зато я тебе скажу: хороший ты парень, коли все так. Осенью свадьбу играть будем. Придешь? Мы с Нюрой уже все оговорили. Как брат рядом со мной сядешь?

— Сяду.

Согласился, хотя тогда почувствовал, где у него сердце: кольнуло, застучало, словно завелось… Еще бы, вроде гуляли. А как только ушел учиться, Нюрка другого выбрала… Да кто он ей, Василий!? Он с Нюркой даже ни разу не поцеловался. А очень хотелось. Хотелось ощутить, что это такое — целоваться с девушкой… Он и до сих пор не знает «вкуса» поцелуя. Интересно, а Иван и Никодим уже целовались?.. Глупости, нашел о чем сейчас думать. А на свадьбе у Нюрки и Жорика не гулял и за брата у него не был: по деревенскому обычаю осенью свадьбу справлять собирались.

Что сейчас с Нюркой? В деревне она, у родителей. А с родителями ее что? А что с его соседями, односельчанами? В деревне из мужчин, пожалуй, остались только старые, мальчишки да подростки. Все взрослые пошли на фронт. Знать бы, вернулся ли кто из них домой? Может быть, некоторые, как и он с Никодимом и Иваном, сейчас пробираются к родным.

Не до завтрака было Василию. Не хотелось есть и парням. И они думали о матери и об отце, о доме своем, где всегда, сколько себя помнили, им было хорошо и беззаботно.

И они видели образы матери и отца. В мыслях говорили с ними, каждый по-своему. Жалела мать своих сыновей, обнимала, прижимала к груди, не отпускала от себя.

И видели отца Никодим и Иван. Очень суровый он был. Поглядывал на них из-подо лба, тяжело молчал, а в висках стучало одно и то же: «И нет вам дороги назад без победы».

Кое-как перекусили, поблагодарили старуху. А она все это время печальная сидела на скамейке возле печи, смотрела на парней, время от времени будто невзначай поднося к глазам уголок платка, покрывающего седую голову, и не произнесла ни слова. А когда встали из-за стола и направились в сени, тоже поднялась, подалась вслед за ними. В сенях подошла к лаве, на которой стояло ведро с водой и большая кружка, накрытая дощечкой, да возвышался чем-то набитый серый холщовый мешок, вроде рюкзака, сказала:

— Сыночки, погодите маленько.

Остановились парни: что еще?

— Возьмите в дорогу, пригодится.

Взяла мешок, подала им. Но никто не протянул за ним руку. Смутилась, словно не то делает. Держа в одной руке мешок, повернулась к лаве, сняла с кружки дощечку:

— Из этой кружки мои дети пили. А когда Сергей, Юрка и Гришка шли на войну, я им из нее воды дала. Может, и вы, если не брезгуете, глотните. По три глотка. Заговорила я ее, чтобы вам в пути хорошо было. Вода из нашего колодца, знать, и ваша вода. Говорили же, не издалека сами. Чистая…

Парни смутились: заговорила... Да, есть такой обычай в деревнях, заговаривают воду старушки на все случаи жизни. Суеверие, должно быть. Матери им воду не заговаривали, хотя, отправляя в дорогу, крестили сыновей да творили молитвы.

Старуха, заметив, что парни растерялись, сказала:

— Как умела, так и заговорила, греха в том нет. — И посмотрев на них, продолжала: — Будто своих сыновей в дорогу отправляю. Мне легче будет вас проводить, если хоть чуть-чуть пригубите.

Никодим решительно взял кружку. Сделал три глотка. За ним — Иван и Василий, опорожнив ее. Не хотели обижать старушку.

Василий подал ей кружку. Не взяла, сказала:

— А кружку положите в мешок. Там и ложки, как же без нее в дороге? Может, дорога будет длинной, пить захочется, а под рукой нет никакой посуды. Вот и будет чем воды зачерпнуть. Колодец в пути встретится, речка, родничок… Не тяжелая кружка, из этой, как ее, из той, что от снаряда.

— Из гильзы, — сказал Василий, глядя на позеленевшую медь.

— Из нее. Как-то сыночки, когда еще маленькими были, нашли в кустах при дороге снаряд. Здесь в гражданскую обозы проходили. Прибежали к отцу: «Папа, папа, игрушка какая-то тяжелая, принеси!»

Пошел мой человек посмотреть на ту игрушку. А как глянул, так детей от себя подальше отослал: «Снаряд!»

Пулю ту большую выкрутил, порох высыпал, кружку сделал. Говорил, металл хороший, износа ему нет. Берите, пригодится в дороге…

Взял Иван. Сначала взял у старухи мешок, положил в него кружку, набросил лямки на плечи. Повернулся, через раскрытую из сеней дверь долгим взглядом окинул дом… Как он похож на их дом! Такой же большой, без перегородок, со шторой, разделяющей его надвое, сейчас раздвинутой к стене. И побелена печь. И такие же длинные лежаки-полати, приделанные к стене. И пол такой же чистый, как у них дома. Наверное, старуха, как и мать, каждую субботу мыла и натирала половицы. Так же, как и у них в доме, — в уголке икона с вышитым полотенцем вокруг оклада.

Долго смотрел на нее, старуха заметила, сказала:

— Богородица. Давно она у меня. С тех пор, как еще девушкой была и замуж за своего человека собиралась, мать дала. Мой сначала не хотел икону видеть. С молодости уж очень партийный был. В армии еще царской служил в самой столице. Не верил, а я верила. Икону от него прятала, сыновей, таясь, крестила. Крестик нательный носила, не сорвал. А после того, как дети снаряд нашли, сам полочку для иконы смастерил. Вот как.

Он вредным не был, как о нем говорили. Сторонился людей, что правда, то правда. Так как же иначе? Легкие у него болели, не хотел, чтобы другим болезнь передалась. Еще как из армии пришел, болел. Мы с ним из одной деревни. Далеко она отсюда, за городом. С молодости он за мной ходил.

Я его из армии дождалась. За него и пошла. Он упрямился, говорил: зачем я тебе такой. А я была бойкой девкой: «Какой есть, такой и нужен. Мой! Бери, говорю тебе!» Взял. Посоветовали ему в лесу жить, чтобы воздух был целительный. Должность дали: лесник. Это место подсказали. Понравилось оно нам. Дорога рядом, река недалеко. Липняк цвел, уж больно сладкий запах стоял. Потом он липняк здесь рассаживал, борти устанавливал, теперь их нет, в финскую, в морозы, вымерзли пчелы. Ну и жили мы. Дом поставили. Детей родили, ничего, все здоровые, слава Богу. А сыновья наши, как и вы, — на войне. Может, где увидитесь. Говорила и еще раз скажу: Дорошкевичи они, Сергей, Юрка и Гришка. Если встретите, так скажите, что мама жива и здорова. Кружку покажите, коль не потеряется, в дороге все может быть, они знают ее. Я ее хотела дать им в дорогу, не взяли. Сказали, пусть дома будет, скоро вернемся, врага разобьем. Только думаю, не скоро это будет, а там сами, коль встретите их, решите, как с ней быть…

— Встретим — обязательно скажем и отдадим, — пообещал старухе Василий. — Может, еще вместе воевать придется, всякое бывает. А вам, мамаша, за все большое спасибо.

Поблагодарив старушку, парни покинули чужой дом. Через раскрытые ворота вышли со двора на дорогу. Остановились, долго молча стояли на ней. Утренний ветерок поднимал с дороги горькую пыль. Шелестела листва деревьев, над колодцем сухо поскрипывал журавль, на котором покачивалось тяжелое деревянное ведро. Где-то за домом в лесу кричал ворон.

Иван посмотрел на небо, но хищника нигде не было видно. Потоптался на месте, тихо произнес:

— Пойдем.

Он повернулся направо и решительно зашагал на восток, в противоположную сторону от Гуды и Забродья. Когда отошел шагов на пять, с места тронулись и Никодим с Василием, и догоняя его, ускорили шаг.

«Господи! Сохрани и помилуй рабов твоих воинов. Прости грешную, не знаю имен всех. Одного знаю: Василий…»

Парни шли, а женщина, осеняя их вслед крестом, еще долго стояла на дороге и шептала пересохшими губами: «Сохрани и помилуй». Затем, когда они скрылись за поворотом, начала читать другую молитву. Ту, что зимой сорок третьего года Иосиф Кучинский слышал в городе на вокзале, когда был свидетелем встречи двух братьев-воинов: один, изуродованный возвращался с войны домой, а другой, молодой и здоровый, ехал на фронт. В молитве старухи за солдатика, который ехал на фронт, вместе с иными словами, с которыми она обращалась ко Всевышнему, чтобы сберег воина, были и такие слова: «Дай ему оружие и святой крест». Теперь молилась за всех троих, и вместо слова «ему» из ее уст звучало «им». Там, на вокзале, никто не знал ее имени, и Иосиф Кучинский — тоже. И парни не знали, как ее зовут. Одно: мать.

Никодим, Иван и Василий второй раз за несколько дней шли по этой дороге на войну и не знали, что их ждет впереди. Разница была только в том, что тогда шли из родного дома вместе с односельчанами, теперь — втроем из чужого дома. Тогда их провожали родители, сейчас — чужая женщина.

6

...Река все дальше и дальше несла лодку, в которой сидели Ефим и Валик. Деревня уже давно исчезла за поворотом, за лесом — он начинался сразу за дамбой. Давно уже скрылось из виду и Забродье, расположенное на левом

берегу Дубосны. Уже давно за лесом с той стороны спрятались луга, а с ними и дорога, соединяющая деревни с райцентром.

Ефим, когда проплывали мимо Забродья, показав рукой на дорогу, уходящую в луга, сказал:

— Валентин, видишь дорогу? Уж очень она старая. Люду по ней прошло — не счесть. И чужого, и нашего. И доброго, и всякого. Кто из дома шел, кто домой. Я по ней когда-то в Гуду пришел. До того много побродил по земле, много дорог изведал. Если бы они могли говорить, поведали бы столько такого, что ни в каких книгах не вычитаешь, ни из каких уст не услышишь. И о горе людском многое узнали бы, и о радостях.

Дорога эта меня к моей семье привела, к здешним людям, с которыми жил и живу. К тетке Кате с Петриком, к твоим родителям, к тебе со Светкой — вы же мне все родные. Своих родителей, и вообще родных, я не знал, не было у меня своего дома, не было ни братьев, ни сестер. А если когда-то и были, так не помню их и не знаю, что с ними случилось… Тебе это известно, сказывал.

— Сказывал, — подтвердил Валик.

— Вот-вот, — словно согласился Ефим и продолжал: — По этой дороге наши мужики на войну шли. Впрочем, среди них больше парней было, ребята чуть старше тебя. Мои сыновья шли. Твой отец шел. Катин Петро шел. Много кто пошел воевать, вот только мало кто вернулся. А кого нет, на того бумага: «Погиб...» да «…пропал...». Дай Бог, чтобы вернулись и те, и эти. Бумага и ошибочная может быть. Но столько времени прошло, а их нет и нет. Знать, не все вернутся: война, брат, не игрище. И моих парней пока нет. Пусть бы мне кто точную весточку о них принес, сказал бы, что живы, что люди их видели, знают где, тогда можно и помирать.

Ефим умолк, задумался. Валик не знал, что сказать ему на это, хотя понимал, что старик не требовал ответа, говорил будто сам себе, но все равно его слова тяжело ложились на душу: он все сказанное Ефимом воспринимал с болью. Представлял, как тяжело старику. Но молчал Валик недолго:

— Деда, придут дядя Никодим и дядя Иван. Много кто вернется, о ком точных сведений нет. Вот увидишь!

— На то и дорога, чтобы люди по ней шли и возвращались, — ответил Ефим. Потом перевел на иное: — Должно быть, к закату у Стражи будем. Недалеко она от реки. До войны я пару раз бывал там. Липа мне нужна была. Подсказал Леонтий Киреевич Кечик: «На Стражу, к Дорошкевичу плыви, даст. Всем дает, кому надо».

Дал, копейки не взял: «Бери, моя личная, не бойся». А говорили — нелюдим, строг! И потом, когда я спилил, он вместе со своими парнями помог погрузить на телегу. Крепкие парни, вроде моих. Хотя и взрослые уже были, но при отце с матерью жили. А вот хозяйку его не видел. Говорили люди, приветливая женщина.

В Гуду липу вез на телеге. Путь длинный, лошадь еле за день осилила. Если бы река не от нас, а к нам текла, горя не знал бы. Плот связал бы, погнал.

Но о другом я. Савелий говорил, будто на Страже в начале войны какие-то солдатики ночевали. Трое. Вроде из окружения шли. Будто родом были из наших мест. Говорит, так ему хозяйка сказывала. Может, это были мои парни и Василий, сын Леонтия Киреевича Кечика. А может, и не они. Вот и думай как хочешь.

— Так давай причалим к берегу, зайдем. С хозяйкой поговоришь.

— Нет, потом. Как назад будем плыть. Вместе с Иосифом сходим. Как-то боязно. Хотя… Нет, давай с ним. Мои ребята, когда малые были, любили его. И он их любил. А когда подросли и не поладили с его Стасом, так редко забегали к Иосифу. Сейчас зайти на Стражу и назад? Надо там хоть пару дней побыть. Нет, Валик, пойдем туда, когда назад будем плыть. Походим, посмотрим, с хозяйкой поговорю, что-то она вспомнит, а что-то я. Сразу можно и не определить, наши там были или не наши. Надо, чтобы она вспомнила, как те парни ходили, что говорили. Может, лица опишет. А то Савелий: будто двое темных, как я, а один светлый, как Леонтий Киреевич. Да мало ли темноволосых людей? И мало ли светлых, как он? И ты с нами пойдешь, лодку на берег вытянем, никто ее не возьмет.

— Конечно пойду. Помню я и Никодима, и Ивана. Малый был, а помню, как они меня подбрасывали, а я смеялся. А вот лиц не помню.

Валик умолк. Старик опять задумался, мешать ему не надо. Парень хорошо знал его. Еще бы, считай, все свободное время рядом с ним. С малолетства, с послевоенной поры, пока не пришел отец с войны, — постоянно с дедом Ефимом. Если бы Валик не помнил своего родного деда Никифора, считал бы родным Ефима. Дед Никифор и бабушка Настя погибли в войну вместе с теми гуднянцами, кого немцы закрыли в клубе... Мамины родители. Папа не отсюда, из далекой лесной деревни Черничка, той, которая за Демками. Папины отец и мать тоже войну не пережили, немцы расстреляли их за связь с партизанами. Деда звали Нупрей, а бабу Женя... И кто знает, что было бы с Валиком и со Светкой, с мамой, с тетей Катей, если бы тогда на рассвете дед Ефим не повел их в лес собирать малину. Хотя, известно что: обелиск среди деревни подсказывает. Много фамилий односельчан выбито на нем, немало разных, есть одни и те же. Исчезали целые семьи. Помнит Валик все, что тогда случилось, столько времени прошло, вырос, а ночами снятся ужасы: проснется, горит весь, будто только что через пламя пробежал...

Вот только не знает Валик, что скажет деду Иосифу, когда приплывут к нему. Не помнит его лица. Помнит только какой-то образ: старый, растерянный человек, грустные глаза... В него, в этого старика, когда-то он, мальчишка, бросал ледышки. Представлял, что расстреливает отца полицая... Кажется, ледышки те и сейчас прожигают ладони. Кажется, с ладони на снег капает не вода, а расплавленный свинец. Кажется, слышит Валик, как тетя Катя кричит на него, мальчишку: «Что-о же ты-ы делаешь!? И кто же тебя этому научил?!»

Если бы на теперешний ум, нашелся бы, что ответить Кате. Сказал бы: «Научило меня этому то, что пережил в войну. «Научило» или подтолкнуло то, что увидел на месте нашей деревни, когда мы со Светкой, с мамой, с тобой и дедом Ефимом увидели, вернувшись из леса… «Научило» то, что мальчишкой пережил в войну, что и сегодня не дает покоя». Возразишь, что дед Иосиф тут ни при чем, что он за сына не в ответе, так теперь мне это понятно. И не только потому, что так официально считается, а потому, что знаю: ни в чем в том, что было со всеми нами в войну, дед Иосиф не виноват, что лично он никому ничего плохого не сделал. Но, как говорят, все же… Вот только тяжело соотнести официальное с тем, что не стирается из памяти, что камнем лежит на сердце, а надо соотнести. Лично мне надо, ведь ты поняла, мама моя поняла, отец, люди, Светка поняли трагедию этого старого человека, а я, когда так думаю, получается — не до конца понял. Но хочу и смогу. Хотя, может быть, уже смог: вместе с дедом Ефимом к деду Иосифу плыву».

Но, наверное, не поплыл, если бы все былое касалось только его, Валика. Скорее всего, не поплыл бы. Зачем? Кто ему старик Кучинский? Ну было,

обидел. И что? Мало ли кто кого обижал. Забыл давно, хотя иногда вспоминается, как лед обжигал руку, как от злобы клокотало в груди, когда увидел деда Иосифа с ведром воды — шел от колодца к своему дому. Отец полицая!.. Эх!..

Бросил. Один раз. Не попал. О дверь на мелкие осколки разбились ледышки. Злоба на старика еще больше вскипела. Размахнулся второй раз: рука тетки Кати мою руку перехватила.

Хорошо, что так получилось.

Сестричка Светка поодаль стояла. Затаилась, ждала, что будет. Не остановила братика. Хотя видел, что против была. Глазки сожмурила, ушки ручками закрыла, наверное, ждала, что кто-то из них закричит. Может, думала, что старик набросится на Валика. Она также считала Кучинского врагом, боялась его, но пошла с братиком подкараулить деда Иосифа, это и сейчас трудно объяснить…

Сейчас Валику, считай, уже взрослому, тяжело вернуться в то детское, полное ненависти к Иосифу Кучинскому состояние души, чтобы самого себя понять. И, пожалуй, жизнь проживешь, а не поймешь. И кто знает, что сейчас было бы с ним, если бы тетка Катя не остановила, а наоборот, подтолкнула: «Бей его, Валичек, бей!..» Каким бы вырос?

Не ему судить других. Вот помнит он случай, когда парни, правда, тогда уже почти сегодняшние его ровесники, набросились на такого же старика, как Иосиф...

В Дубосне это случилось. Отсидел тот старик свое, вернулся в деревню. Люди говорили, что мало ему присудили. В Гуде не уточняли, действительно ли полицаем был (хотя вряд ли, пожилой), то ли просто помогал им. Во всяком случае, человек нехороший, если судили.

Вернулся. На людей волком смотрел. Жена его сразу после войны ушла из деревни. Привел с собой какую-то горемычную одинокую женщину. Бил ее, в синяках ходила. Пил и бил. Однажды так издевался над ней, что соседские подростки, они на улице были, услышав, как она кричит, забежали во двор, оттянули его от женщины да чем-то стукнули по голове…

Голосили матери, руки заламывали, но ничего не могли сделать: забрала милиция ребят. Женщина кричала: «Детки-детки!.. Зачем же вы так сделали?.. Пусть бы он лучше меня убил, а вы его двор миновали...» Люди шептались, кровь у него на руках еще с войны не высохла. Он и этих детей тогда ни за что ни про что бил. Вот и получил свое… Но как быть родителям тех ребят, что убили Семена? (Так того звали.).

«Не детям надо было его судить, — говорил дед Ефим. — А если так получилось, то теперь надо судить тех, которые Семена ненадолго за решетку отправили. И если у них есть совесть, так пусть сами себя и судят, а не детей».

Мудрено сказал, сразу не поймешь, Савелий даже пальцем старику погрозил да шепнул: «Молчи, Ефим Михайлович, кому кого судить — не наше дело. Судят по закону, и не всегда по совести».

И еще помнится, через некоторое время спросил старик у Савелия, знает ли тот, что с парнями из Дубосны, которые прибили полицая. Сморщился Савелий, резко махнул рукой: «И не спрашивай!..»

Вспомнилось сейчас это Валику, встревожило. Иосифа с Семеном он не сравнивал. Кучинский никому зла не чинил, но как тогда понять, почему люди так долго считали его плохим человеком? За сына мстили: ты его на свет пустил, ты... Савелий говорил, власть считает старика ни в чем не виноватым

перед ней. Так то власть, а люди есть люди. Вот где открывается сказанное дедом Иосифом и сказанное ему в ответ Савелием. Оказывается, «судят по закону, и не всегда по совести». Получается, если есть срок действия закона, а он есть, так и есть срок действия совести. Действительно мудрено. Валик вчера наконец-то понял, что простили односельчане Кучинского, понял, когда дед Ефим сказал, что поплывет к Иосифу.

Иногда Валику очень хочется разобраться во всех тонкостях человеческих отношений, во всем, что слышит и видит вокруг себя. Особенно в том, что касается деда Ефима и деда Иосифа. Многое непонятно в судьбах этих людей, которые когда-то в молодости дружили, а потом, еще до войны, разошлись. Должна же быть какая-то причина. Почему врагами стали после войны — так это понятно. Но вот что важно: чтобы ни было между ними, кто бы из них ни был виноват в том, что стали врагами, дед Ефим, услышав, что тому очень плохо, отбросил все и поспешил на помощь.

И вот плывут на неизвестный Валику хутор Кошара, чтобы забрать оттуда Кучинского. И как понимает Валик, тот сам в Гуду не вернется, хотя и немощен, и живет в одиночестве. Торопятся. А коль плывут спасать того, кого еще недавно считали врагом, значит, знает дед Ефим, знают люди о нем нечто такое, что вызывает к нему не просто сочувствие, а желание помочь, забыв все распри. Но в сочувствии нуждается и сам дед Ефим: столько лет ждет сыновей с войны, а их все нет и нет. И пусть жестоко так думать, но придут ли? И не важно, что сочувствие здесь иное, важно, что и то, и другое требует участия других в этих разных человеческих судьбах.

Сочувствуют Кучинскому: «Плывите!..» Сочувствуют Ефиму: «Придут…» А верят ли искренне, что придут?..

Конечно, всем хочется, чтобы пришли, и Валику — тоже. Как же хочется, чтобы старик дождался своих сыновей!.. И никто не знает, что на душе у деда Ефима все эти семь лет, как закончилась война. И неизвестно, что сейчас у него на душе, когда подплывают к Страже, где, как считает участковый Савелий Косманович, в начале войны могли быть сыновья Ефима Михайловича Боровца.

Вон на левом берегу уже видна лужайка, о которой говорил старик. Видны остатки мостика, а также — что-то почерневшее, похожее то ли на шалаш, то ли на груду валежника, и чуть дальше от него угадывается уходящая в лес заросшая молодняком тропинка.

— Деда, — Валик глянул на старика, тихо сидевшего на носу лодки, — кажется, дорожка на Стражу.

— Туда, Валик, туда, — тяжело вздохнул старик. — Но видишь, как заросла. А была же хорошая дорога, телеге места хватало. Хаживал я по ней, было. Она за Стражей сливается с нашей дорогой в райцентр. Могло быть, что мои парни и по этой тропке шли, и по той дороге.

— Это как? — удивился Валик.

Старик неопределенно пожал плечами. А Валик подумал, могло и так быть. Говорил же Савелий, что однажды в начале войны какие-то солдаты, трое их было, ночевали на хуторе. И якобы были они откуда-то из этих мест. Знали солдаты дороги, знали, что ведут они к Страже...

...Нет, не ошибся старик, не ошибся и Валик. Именно по этой дороге Никодим, Иван и Василий шли на хутор. А по той, проходящей возле него, переночевав в доме лесника на хуторе, двинулись на восток. Шли к фронту, не зная, где он, кроме одного: где-то на востоке. Шли второй раз за последнее

время, а если конкретно, за неделю или чуть более, — счет дням уже терялся. Первый раз шли с большой толпой мужчин и парней из двух соседних, родных деревень, расположенных по разным берегам реки Дубосны. Шли, вроде особенно и не боясь того, что могло ожидать их на войне, так как не представляли ее такой, какой увидели, когда на эшелон налетели немецкие самолеты. Сейчас же шли, преодолевая страх, зная, может случиться так, что домой им уже никогда не вернуться. Но шли...

И была сейчас эта дорога таинственная и непредсказуемая, особенно когда за поворотом скрылась Стража, когда вошли в густой лес, который жил своей привычной жизнью. Кажется, в нем так же, как и в их лесах, поют птицы. Кажется, так же ветер шумит в деревьях. И солнце, кажется, светит так же, как над их лесами. Но вот только пыль дорожная какая-то горькая, и воздух уж очень горячий, хотя еще до полудня далеко.

Было видно, что по этой дороге в последнее время никто не ходил и не ездил. Следы тех, кто шел здесь на войну чуть более недели назад, затянулись песком, а трава вдоль дороги, изрядно примятая тогда, сейчас выпрямилась. И там, где колея спускалась в лужи, тоже не было никакого свежего следа. Они встречались часто, были потянуты темной пыльцой, падающей с деревьев, а кое-где — и зеленой ряской.

Неживой казалась эта дорога. Когда парни шли на войну — шумной: толпа была большая. Шли мужики и парни, и даже шутили, известно, в большой компании всегда найдется тот, кто будет поднимать настроение и себе, и другим.

Тогда таким шутником был Игнатий Соперский, мужчина несколько старше парней, женат, отец двоих детей, мальчика и девочки, близнецов, родившихся года за три-четыре до войны.

И когда старшие мужчины, которые уже давно отслужили свое, как говорят, повидали и людей, и мир, были угрюмы и задумчивы, а девятнадцати-двадцатилетние — настороженные и напуганные (война, убить могут), так он говорил: «Не дрейфь! Да мы с немцем в два счета разберемся!»

Игнатий успел уже отслужить в мирное время. Удивительный он был человек — всегда веселый, никогда ни на что не жаловался, в меру снисходительный к тем, кто был моложе его. И когда бывалые отгоняли его от себя: «Отойди, не юродствуй, не мальчишка!» — парни были рады, с ним веселее.

Подошел он тогда к Василию и Никодиму с Иваном, парни шли последними в большой толпе, дернул Ивана за рукав:

— Что, соседи, портки мокрые?

И захохотал как-то нервно, наигранно. Посмотрели на него парни: губы у Игнатия искривлены, щеки дергаются, глаза стеклянные.

— Ты чего к ним цепляешься? — сказал кто-то из мужчин. — Небось, у самого портки к заднице прилипли, вот и кидаешься от страха туда-сюда.

Остыл Игнатий, будто студеной водой его окатили, не нашелся что ответить.

— А кто же не боится? — заметил Федор Жевлак, бригадир из Забродья. (Знали, Федор, как и несколько других мужчин, успел повоевать на финской. Так что ему война — не в новинку.) — И я боюсь. Только дурак не боится. А глупость до добра не доведет.

Зашумела толпа. Каждого будто по живому полоснули слова Федора. А он, уже обращаясь и к Василию, и к Ивану с Никодимом, и к Игнатию, и, пожалуй, ко всем, кто еще не знал, что такое война, и не изведал настоящего страха, сказал:

— Лучше теперь побояться, чем когда врага увидишь. Ты сейчас побойся, побойся, страх выдави из себя: пусть враг на твоей земле тебя боится. Пусть знает, что она под его ногами будет гореть, а не под твоими. Тогда и о страхе своем забудешь. Тогда и сила у тебя появится, и рассудительность, а без них никак нельзя. Тогда поймешь самое простое, но такое нужное: если не ты убьешь врага, то он убьет тебя. Так когда-то нас учили наши родители, они прошли еще ту германскую. А наших родителей этому учили их родители. Впрочем, это передается из поколения в поколение неизвестно с каких времен: сколько живут на земле люди, столько и бьются между собой, будто нет им другого занятия. — И уже обращаясь к Соперскому: — У тебя, Игнатий, как помню, двое малышей?

— Двое.

— Так сейчас побойся, чтобы там от страха не обезуметь и голову не потерять, чтобы домой прийти. Лучше теперь сам себе, чтобы никто не слышал, «мама» прокричать, чем тогда, когда надо будет из окопа выскочить.

Остановились мужчины, слушая бывалого. Не было здесь такого человека, кто не боялся бы. Боялись Никодим и Иван. Василий боялся. Наверное, боялся и Стас Кучинский, он тоже в район шел, но держался особняком, в стороне, вернее, позади всех, угрюм был, молчалив. Никодим и Иван это видели, к Стасу не подходили, хоть и из одной деревни, а дружбы с ним не водили, тот всегда в уединении, в стороне. И Василий его видел, но делал вид, что не замечает: к сестре его, Верке, приставал, да еще как!..

— Тьфу! — вздрогнул Игнатий и сплюнул. — По-твоему, я такой трус, что обязательно мать вспомню, когда немца увижу? И я, чтобы ты знал, в армии уже служил.

— Знаю. Почему только ты должен мать вспомнить? — словно удивлялся Жевлак. — Все вспомнят. Все будут «мама» кричать. Вот только не все вслух, и не каждый сможет выдавить из себя страх. А надо. Не выдавишь — побежишь. А побежишь, все, нет тебя. Вот что самое страшное на войне.

— А ты не закричишь?

— Кричал уже, и не раз. Но так, чтобы никто не слышал. И мать звал. И крестился-молился, рука не отсохла. И не отсохнет, если перекрестишься. И было такое отчаяние и злоба, что мог, ни о чем не думая, броситься под пули. Но какой-то проблеск все же вспыхивал: не делай глупостей, а думай и бей его, бей!

— Что это за проблеск такой? — спросил кто-то осторожно.

— Как тебе сказать? Ну, это такое мгновение, когда в душе все сжато в комок. И так она болит, кажется, нет мочи терпеть. И тогда ты мать и отца вспомнишь, сестренок и братиков, людей, среди которых жил. Вспомнишь дом свой и речку, и вот эту дорогу, по которой сейчас идем, и в душе вспыхнет какой-то свет, и вся твоя жизнь будто озарится. И тебе легче станет, поймешь, что нельзя ее вот так бессмысленно терять, что ради нее, да и всех, с кем жил, ты должен врага бить, а не он тебя. А ты, Игнатий, конечно же, в первую очередь вспомнишь детей и жену. Вот тебе и проблеск: ты же за них любому врагу глотку перегрызешь, если вдруг оружия в руках не будет. Перегрызешь?

— Ну ты даешь! — сказал Игнатий. — Да я за них, да я!.. — Он схватился руками за ворот сорочки, казалось, разорвет ее.

— А это лишнее. Говорю, остынь. Вот так ни за что и сгореть можно. А как ты говоришь, «даешь», не то говорю, так что здесь «давать»? Все мы одинаковы, перед страхом смерти. И такие, как я, боязливые, и такие, как ты, смелые.

Федор умолк и только сейчас заметил, что толпа остановилась, окружила его. А увидев ближе всех к себе Василия, Ивана и Никодима, добавил неопределенное:

— Ну что, парни?..

Они ничего не ответили. И неизвестно, спрашивал или просто так сказал, к слову.

Не представляли тогда парни, что такое мгновение, о котором говорил Федор, мгновение с проблеском в душе, может быть у каждого из них.

7

Почти целый день Василий, Никодим и Иван шли не останавливаясь. Спешили. Василий хорошо знал эту дорогу. Много раз пешком ходил и ездил по ней. Сначала подростком, затем юношей. Когда мальчишкой был, так с отцом. Когда вырос и учился в городе на тракториста — сам. За день успевал только в один конец: в город или из города. Он знал здесь каждый поворот, каждую лужу. Иногда ему казалось, что мог с завязанными глазами вести по ней парней, как вел сейчас, внимательно поглядывая по сторонам.

Сначала шли осторожно. Потом, когда дорога глубже зашла в лес, осмелев: какие немцы полезут сюда? Зачем им эта глушь?

Шли, все еще размышляя, правильно ли делают, направляясь к фронту, и каждого тревожила мысль: дойдем ли к своим. А если и дойдем, так что скажем, и что с нами будет, если припишут дезертирство?

Хотя, если поразмышлять, они же сами на фронт сами, сами в армию вернулись, какое тут дезертирство?

Вот только дойти бы, ведь где сейчас наши, никто не знал. Не знали и где сейчас немцы. Вокруг лес, поют птицы, человеческих голосов не слышно, не слышно выстрелов, шума моторов. И если еще вчера такой порой видели в небе немецкие самолеты, летевшие на восток и обратно, то сейчас не видели ни одного. Ни нашего, ни чужого. Хотя наших самолетов они вообще не видели: узнали бы по красным звездам на крыльях, а то все кресты да кресты.

Уже ближе к вечеру, когда, как сказал Василий, до шоссе, где есть указатель на Москву (оттуда к столице чуть более семисот километров), оставалось идти около часа, решили перекусить. Свернули в лес, углубились. Нашли солнечную полянку, сели посреди нее кругом.

Василий положил на траву мешочек, который дала им старуха, развязал, достал хлеб, сало, лук, вареные яйца. Начали есть.

Вдруг Иван и Никодим, они сидели спинами к лесу, лицом к дороге, увидели, как Василий, сидевший напротив них, поперхнулся и вздрогнул. Его лицо мгновенно покраснело, затем побелело. Не выпуская из рук хлеб и сало, он стал потихоньку поднимать их.

— Хенде хох! — тихо и требовательно прозвучало за спинами Никодима и Ивана.

— Хенде хох! — прозвучало уже громче.

Иван кое-как поднял омертвевшие руки. Никодим не смог. Да и не успел: чем-то тяжелым стукнули его по затылку, и он потерял сознание.

Когда Никодим очнулся, то не сразу понял, что с ним случилось. Понял только, что Василий и Иван куда-то тянут его, держа под руки. Заметил, что впереди идет мужчина в такой же форме, в какой парни видели около моста немцев. Обернулся — и сзади увидел немца. Понял, что попали в плен.

Это было страшно. Как так могло случиться? «Все», — мелькнула мысль.

Очень болел затылок. Посмотрел на парней — они угрюмо молчали. Молчали и немцы.

Попробовал идти сам, но ноги подкосились. Чуть не упал, потянув за собой Ивана и Василия. Тяжело сопя, они приостановились, чтобы поддержать его.

— Шнель, шнель! — озлобился немец, который шел сзади.

Было понятно, требовал, чтобы шли быстрее, немецкий язык парни учили в школе, эти слова знали.

Никодим опять хотел спросить, что случилось, будто не понимал, но немец, который шел впереди, повернулся и потряс автоматом.

Увидели вблизи его лицо: небритый, щетина редкая, рыжая, глаза так и обжигают ненавистью.

— Шнель, шнель!.. Ферштейн? — немец вновь потряс автоматом. Оружие короткое, ровный рожок для патронов. Выражение лица — может не задумываясь выстрелить, и конец тебе.

— Ком, ком! — просипел тот, который шел сзади, и, обращаясь к шедшему впереди, сказал: — Видишь, Петро, а форма-то у них чистенькая. Десант! Пришить бы на месте, и никаких забот.

— Нельзя, Гаврила, — сказал второй. — Командир говорил, что только в крайнем случае. Тем более, десант. Сколько их? Командир допросит, тогда и решит, что с ними делать. А лишний шум нам не нужен. Ты, кажется, немного по-немецки шпрехаешь. Спроси, где остальные. А то еще на тех наткнемся.

— Ну, ты даешь, — сказал Петро, — так уж и шпрехаю! Говорю, что со школы помню. Хотя, если десант, то они по-русски не хуже нас с тобой шпрехают. Их же, наверное, учат. Шпионы. Слышал о таких?

— Слышал, слышал, — ответил Гаврила и уставился на парней спросил: — Шпрехен русский, немчура?

В иной ситуации, до войны, если бы кто такое спросил у парней на какой гулянке, смеялись бы: ну дает!.. Но попробуй сейчас рассмеяться, еще неизвестно, что потом будет. Да и не до смеха. И кто это? Вишь, немчура.

— Русские мы, — проговорил Иван. — Белорусы. Местные.

— Ишь, местные. Знаем мы вас, таких местных. А ну говорите, откуда конкретно? — Петро еще ближе подошел к парням, посмотрел в лица, добавил: — Чистенькие, выбритые, знаю, слышал, немцы порядок любят.

— Мы не немцы, — сказал Василий. — Я из Забродья, это там (махнул головой на запад), километров сорок отсюда. А они — из Гуды, на другом берегу реки, соседняя деревня.

Петро и Гаврила переглянулись.

— Есть такие деревни в моем районе, — вдруг сказал Петро. — Я из райцентра. Слышал о таких, хотя и не был там. Хорошо же вас «подковывают» перед тем, как забросить в тыл. Ладно, кому надо, разберется. Пойдем, давай, давай!

Гаврила больно ткнул автоматом Никодима в спину. Парни последовали за Петром. Появилась надежда, что там, куда их приведут, кто-то действительно разберется, поймет, что они свои. И никакие они не дезертиры. Кажется, даже Петро сомневается в том, что они враги. А что попали к своим, было понятно. Парней вели не к дороге, а подальше от нее, в чащу.

8

Пройдет еще немало дней и ночей, и эти пятеро молодых парней, одетых в форму красноармейцев, но уже в заношенную, и еще восемь таких же, как они, бойцов под командованием того, кто должен был «разобраться» с Василием, Никодимом и Иваном, попадут, в ситуацию, которая никому из них не могла даже присниться в самом страшном сне.

А тогда эти двое вооруженных, да еще и в немецкой форме, вскоре привели Никодима, Ивана и Василия к поляне, где их уже ждала группа красноармейцев, вооруженных немецкими и советским автоматами и винтовками. Среди них был мужчина лет под тридцать, одетый в офицерскую форму, с петлицами младшего политрука. Фамилия его была Груздев. Он был из когорты тех великих, не по званию, а по душевным качествам советских офицеров, для которых солдаты — не безликая масса, а люди, за судьбы которых несешь ответственность перед их родителями, женами, детьми, в конце концов, перед своей совестью.

На первом и последнем допросе младший политрук Груздев понял, кого к нему привели. Глянув на Никодима, Ивана и Василия, увидев растерянные лица, понял, что это обычные деревенские парни. Спросил документы.

Документов у них не было. Сказали, что остались у командира. Рассказали все, что с ними стряслось с того момента, когда немцы разбомбили эшелон, и до того, как Петро и Гаврила взяли их в плен.

Груздева не очень интересовал десант, выброшенный с самолетов, — это было далеко отсюда. Его интересовало, видели ли они колонну немцев, переправляющуюся через реку на эту сторону километрах в десяти от хутора. Переправлялась-то колонна в той стороне, откуда шли парни. Ответили, что не видели, но слышали, что где-то далеко за рекой идут поезда и, кажется, время от времени слышен гул моторов.

Груздев спросил, почему не пошли домой, если были так близко от своих деревень.

Понимая, что находятся среди красноармейцев, Иван в запале выкрикнул:

— Мы же красноармейцы!

— Присягу принимали? — спросил младший политрук.

— Не успели.

По тому, что назвались красноармейцами, хотя не успели принять присягу, Груздев понял, что эти парни, как и те, которых он вел к фронту, могут стать настоящими бойцами. Ведь не каждый, попав в такую ситуацию, как они, находясь рядом с домом, сможет повернуть в другую сторону, пойти к фронту, даже не зная точно, где он.

Петро тоже не пошел домой, хотя был ближе к нему, чем Василий, Никодим и Иван. (У него дома остались мать, жена и четырехлетняя дочь. Его мать летом сорок третьего немцы сожгут живой на глазах жены и дочери, а потом будут издеваться над женой и малышкой. Враги будут заставлять жену отравить больную девочку. Они дадут женщине таблетки, но она проглотит их сама, и только после этого немцы с хохотом отпустят ее, так и не сказав, что проверяли, какая она мать: таблетки не были отравой.)

— Обмундирование хозяйка хутора постирала? — выслушав парней, почему-то спросил Груздев.

— Она, — кивнул головой Василий.

Груздев долго молчал. Молчали и его бойцы, а Василий, Иван и Никодим ждали, что будет дальше. Теплилась надежда, что им поверят, возьмут к себе. И вместе с тем было очень страшно, казалось, люди, которые окружают младшего политрука, только и ждут приговора, чтобы немедленно исполнить его, а командир медлит. Тем временем младший политрук, уже все зная об этих парнях, поглядывая на белого как полотно Ивана, на вид самого младшего из пленников (он и был на год младше Василия и Никодима), худого, изнуренного подростка, спросил:

— Убежали от эшелона, потому что страшно было?

— Да, — кивнул тот головой.

— А как же вы воевать собираетесь, когда там испугались?

— Все воюют, — с отчаянием проговорил Василий, — и мы сможем.

Младший политрук понимал, что воевать они смогут, но их надо этому научить. Понимал, что парни превозмогли себя. Понимал, что перебороли свой страх перед всеми уже известными и неизвестными им ужасами войны и, идя домой, чтобы спрятаться от нее, вдруг повернули туда, где, как сказал один из них, «все воюют».

Младший политрук внимательно посмотрел на него, на Никодима и Ивана и приказал:

— Стать в строй!

По многим дорогам под командованием младшего политрука Груздева пройдут Василий Кечик, Никодим и Иван Боровцы, красноармейцы, не успевшие принять присягу.

На этих дорогах к фронту, вроде бы и далеких от войны (врагов группа обходила), они найдут новых друзей-товарищей, сблизятся с ними, особенно с Петром и Гаврилой, которые взяли их в плен, и будут им благодарны за это.

По этим дорогам раньше них на восток, туда, где фронт, большими механизированными колоннами и малыми группами пройдут немецкие танки и автомашины. Эти дороги будет беспощадно топтать сапог иноземца. На этих дорогах многие бойцы, попавшие в окружение, так же, как и бойцы Груздева, вступят в бой с врагом, кто в свой последний, а кто в очередной. На этих дорогах погибнут воины, принявшие присягу и не успевшие принять ее, и не всех смогут похоронить их боевые товарищи... На этих дорогах и сегодня еще немало безымянных могил, с бугорками и без них, о которых мы не знаем и не догадываемся о них.

На этих дорогах, где полегли воины, уже много лет дети, внуки и правнуки, и не только родные, будут отыскивать их могилы, чтобы навечно сохранить память о героях… На этих дорогах уже много лет другие дети, внуки и правнуки будут раскапывать могилы с иной целью… Люди назовут их «черными копателями»…

Много раз красноармейцы под командованием младшего политрука Груздева будут попадать в тыл врага — военные дороги не имеют точных границ: здесь мы — там враг, не вступая в бой, будут наблюдать за ним, изучая его поведение и привычки.

На этих дорогах, на местах недавних боев они будут находить и наше, и немецкое оружие. На этих дорогах не раз и не два они будут предавать земле останки павших бойцов, своих ровесников, не зная, что после войны их родители, жены и дети получат горькие документы: «Без вести пропал».

На этих дорогах постепенно не только красноармейцы Груздева, а и тысячи таких же других, попавших в окружение, по сути, вчерашних мальчишек, превратятся в настоящих воинов.

Младший политрук Груздев, наблюдая за подчиненными, видел, как происходит становление каждого из них. Он уже был опытным командиром, и ту правду войны, которую знает каждый, кто воевал: если ты не убьешь врага, то враг убьет тебя, — хорошо знал еще с финской, и сейчас, так сказать, расширил ее содержание и для себя, и для своих солдат. А именно: враг, если ты не уничтожишь его, убьет не только тебя, он убьет твоих родителей, родных и близких, соседей, знакомых и незнакомых людей, в конце концов, уничтожит твой народ, Отчизну. И здесь «ты» Груздев понимал, как все мы, а «тебя» — как всех нас. Понимал, что один ты можешь погибнуть, убив или не убив врага, вот только ради чего, с какой целью, и будет ли оправдана твоя смерть, если она бессмысленна. Так что среди многих правд войны есть и такая: «Погибать просто так, ни за что, нельзя».

Война застала Груздева недалеко от границы. В первый же день часть, в которой он служил, попала под бомбежку и была разбита. Уцелели немногие. И вот уже много дней Груздев с двумя бойцами из роты, в которой он служил (остались живыми, не сбежали, не попали в плен), и с теми, кого подобрал по дороге, двигался на восток.

Поход их был тяжелым и опасным. Рискуя, солдатам Груздева приходилось заходить в деревни, просить еду, расспрашивать про дорогу. Люди давали что могли. Подсказывали, куда идти. Опасность подстерегала на каждом шагу, но им пока везло. Шли лесами и перелесками. Перед каждым привалом выставляли часовых, вперед высылали разведку. Чаще всего в разведку ходили Петро и Гаврила. Груздев очень хорошо их знал, они служили с ним уже второй год.

Петро и Гаврила, отправляясь в разведку, надевали немецкую форму. Они раздобыли ее еще в начале своего похода к линии фронта, «сняв» ночью двух часовых немецкого обоза около какой-то сожженной дотла деревеньки.

Петро, как и его друг Гаврила, до армии был шофером. Сообразительный, если надо, напористый, горячий, но мог сдерживать себя, когда надо было действовать рассудительно. Товарищей всегда поддерживал, казалось, ничего не боялся.

Груздев знал, что такие никогда не подводят, первыми бросаются туда, где страшно. Чужая беда для таких — своя. Этому научиться тяжело. С этим надо родиться.

Гаврила по характеру был мягче Петра. Но такой же общительный. Если надо, последнее отдаст товарищу. Груздев еще до войны замечал это за ним, ценил, особенно сейчас, когда всем тяжело. Видел, как тот на привалах незаметно пододвигал свою картофелину, ломтик хлеба или еще что-нибудь из съестного Ивану, Никодиму или Василию: новичкам непросто привыкать к такой жизни, которой жила группа.

Гаврила был весельчак. Это всем нравилось. Говорил, что до войны, выучившись на шофера, в своем поселке возил невест, а их было не счесть. Когда спрашивали куда, отвечал: «Куда, куда, к их женихам! Не к себе же в дом! — И смеялся: — А вы, собаки, думали куда?»

«Собака» было его любимое словечко. Когда был в настроении, наделял им каждого, конечно, кроме командира. Вкладывал в слово особенный смысл: легкая ирония, похвала и даже возмущение. Никто на него не обижался, слово это он всегда произносил с какой-то особой интонацией, с легким юмором. В армии сослуживцы его так и звали: Гаврила-собака.

На Петра и Гаврилу Груздев возлагал особые надежды: кремень! Иногда, смотря на них, вспоминал, как за Бобруйском, по дороге на Довск

(а там шоссе на Москву, это каждый офицер и без карты знает), около деревни Пересека увидели в кювете оставленную машину. Полуторку. Петро и Гаврила завели ее, парни вытолкали на шоссе: теперь поедем!.. Груздев хотел было дать команду: «В машину!», как заметили сзади, может, за километр, немецкую колонну.

И откуда она появилась!.. Шли вдоль дороги, придерживаясь леса, никого на ней не видели. И тут...

Груздев приказал отходить. Лес недалеко, через лужайку. Застонал, как дитя, Гаврила: «Товарищ младший политрук! Вы отходите, а я машину поведу. Где-нибудь дорогу к лесу найду, там и встретимся».

Петро поддержал Гаврилу:

— Разрешите и мне.

— Назад! За мной! — приказал Груздев.

Подчинились. Вместе со всеми бросились к лесу. Чуть отбежали — свист в воздухе. И сразу же горячая волна обожгла парней, оглушил взрыв. А машина — вдребезги!.. Рядом с ними падало то, что от нее осталось.

Когда добежали до опушки, Груздев, заметив, что все здесь, сказал:

— Ну что, Гаврила? Видел?

— Товарищ командир, да мы с Петром спасли бы машину.

— Как?

— Я — за рулем, ехал бы зигзагами: попробуй попади. А Петро с подножки кричал бы мне: «Снаряд слева!.. Снаряд справа!..»

— А потом ты с Петром — вверх! — сказал кто-то.

— Было бы вам снаряд слева, снаряд справа. Это тебе не чужих невест возить.

— Тише! — поднял руку Гаврила. — Собака!.. Жизни не видел. А я, а мы... — запнулся, умолк.

Немецкая колонна проехала по шоссе, не остановилась у разбитой машины, погони не было.

Углубились в лес. Груздев выставил дозор, двух бойцов направил к лугу. Приказал отдохнуть, поглядывая на Гаврилу, который, наверное, и не понял, что могло бы случиться с ним и Петром, если бы они сели в машину.

— Гаврила, не побежали бы вы с Петром, кто бы после войны в твоем поселке невест возил? — сказал Груздев, но не как командир, а как товарищ.

…Случаются такие моменты на войне, когда командиру надо быть товарищем своим бойцам…

— И в самом деле, кто? — сняв пилотку будто сам у себя спросил Гаврила. — В поселке, да и на всю округу таких, как я, шоферов нет. Есть, правда, шоферы, но ведь не такие. Я же могу ехать, стоя одной ногой на подножке. Собака!

— Кто это собака? — спросили парни.

— Кто, кто. Я!

— Ты хоть себе невесту привез?

— Нет. Откуда? Малая еще была моя невеста. Соседка Зинка. Вот такая (провел рукой около груди). Все о ней думаю. Как она там. Может, немцы наш поселок уже заняли.

— Как и все, — сказал кто-то. — Даже если и заняли.

Груздев обнадежил:

— Не думаю, что до Смоленска дойдет фронт. А Зинку свою, если любишь, после войны непременно к себе привезешь, — сказал и улыбнулся,

представив Гаврилу женихом: на голове вместо заношенной пилотки — кепка с цветком.

— Теперь моей Зинке семнадцать, — продолжал Гаврила. — Вернусь и привезу! А что?

— Конечно привезешь, — опять обнадежил его Груздев. — И всех нас на свадьбу пригласишь.

— Товарищ младший политрук, — пошутил кто-то. — Он же не пригласит, пожадничает, это сколько на всех вина надо! Только если вас.

— Я?! — возмутился Гаврила. — Да я с Зинкой за вами на машине приеду! Всех у себя соберу.

— По всему Союзу проедешь?

— А что? Я — смоленский. Мы такие.

Все рассмеялись.

Много раз после войны, пройдя немецкий плен, а затем отбыв срок в лагере на своей земле, Гаврила захочет проехать по всему Союзу, чтобы найти боевых друзей. Но «по всему Союзу» не получится. Приедет он со своей Зинкой только в Беларусь. Заедет в одну лесную деревню, но ее уже нет, сожжена фашистами и после войны уже не возродится… Приедет в Гуду и Забродье на берегу Дубосны, но не застанет в живых отцов своих друзей Никодима и Ивана Боровцов, и Василия Кечика… С Петром встретится много позже. Тот долго после войны будет жить в иных краях, и уже выйдя на пенсию, Петр сам отыщет своего боевого товарища на его родине, на Смоленщине…

Груздев смотрел на парней. Настроение у них было такое, словно и нет войны. Подумал: эх, ребята, когда еще война закончится? Через год, два, три?..

Груздев хорошо знал, что почем на войне. В финской кампании участвовал не как гость. Мерз в окопах вместе с бойцами и другими командирами. Первым поднимался в атаку, между прочим, как настоящий политрук. Многих своих сослуживцев похоронил. Но помнил всех. И тех, кто остался живым. Знал, что все эти парни, доверившие ему свои солдатские и человеческие судьбы, холостяки. Впрочем, как и он сам. Знал, что женат только один — Петро. Понимал Груздев и то, что если ему придется лечь в землю, на этом все личностное его и окончится, а проще — род Груздевых прекратит существование. Вот и такая правда войны…

Отдыхали. Дорога к фронту неизвестная, тяжелая. И кто скажет, где сейчас фронт? Одно известно: немецкие колонны идут на восток.

9

И еще несколько дней и ночей младший политрук Груздев вел своих бойцов на восток. Возле Довска повернул налево, на Москву. А до Москвы, если фронт там, еще идти и идти.

Иногда думалось, что фронт должен быть ближе. Думал, что бы ни было, а наши до Москвы отступать не будут. Костьми лягут, а врага к ней не допустят. Может быть, фронт возле Смоленска, но ни в коем случае не дальше. А может быть, и ближе, на границе России с Беларусью. Хотя пока не слышно, что он где-то близко. И в деревнях, куда направлялась разведка, о фронте ничего не слышно. Одно ясно — на востоке.

То, что шли по Беларуси, и без карты было понятно. Разведка время от времени заходила в деревни, парни разговаривали с местными жителями, речь

белорусская, но в нее вплеталась русские слова, и чем дальше, тем больше. Значит, все ближе и ближе к России.

И вот уже она, Россия. А узнали об этом, встретив в лесу старика, который неожиданно вышел из чащи на поляну, на которой бойцы остановились на привал: кто сидел, прильнув к дереву, кто лежал в тени. Груздев даже не выставил дозор, посчитав, что в такой глуши им ничто не угрожает.

Заметили старика только тогда, когда он словно вырос из-под земли, явившись перед ними. Седобородый, в латаной свитке и лаптях, с топором за поясом. Сначала кивнул головой, потом сказал:

— Ну что, сыновья, здорово?!. — И не дожидаясь ответа, добавил: — Дозор-то, командир, выставить надобно. Немец и здесь хаживает. И колоннами, и так. Вчера даже постреливал с воздуха.

Вскочили парни, смотрят на Груздева. Кто-то даже щелкнул затвором.

— Не дури, парень, еще настреляешься! — прикрикнул на него старик. — И не пугай! Не из пугливых. Я этой дряни (показал на винтовку) еще в империалистическую навидался.

— Здорово, отец, — подошел к нему Груздев. — За совет спасибо. Выставлю.

— Откуда путь держите?

— Издалека.

— Издалека, говоришь, — старик тяжело вздохнул. — Теперь все издалека идут, а то и бегут. Должно быть, уже время остановится. А они все идут и бегут, по одному, группами, сегодня одни, завтра другие. Случается, одни других боятся. А надо было бы, чтобы вместе. Как у нас говорят, сообща и отца легче бить. И откуда, коли не секрет, идете?

— Почти от самой границы, — сказал Груздев.

— Ого!

— А почему, батя, так смело ходишь, когда немец рядом? Да еще один. А сейчас — прямо на нас вышел. А вдруг мы немцы.

— Немцы меня на моей земле, да еще в моем лесу, не заметят. Сам же я к ним, как к вам вышел, не выйду. Немцы они... Какие вы немцы? Говор выдает: наши парни, русские, белорусы, кажется, и другие нации есть. Слыхал. Да и видел, как идете. Устали, растоптанной обувкой по земле шаркаете. Голодные, ягоду на ходу хватаете.

— Есть маленько, отец, устали, голодные... — сказал Груздев и добавил: — Говоришь, надо бы вместе. Вот и идем к своим, чтобы быть вместе. Ты лучше скажи, отец, где мы? Фронт далеко, не слыхал?

Старик не спешил с ответом. Внимательно посмотрел на парней, будто считал, а может, и считал. С Груздевым их было четырнадцать. Посмотрел, чем вооружены: автоматы немецкие, несколько винтовок, у некоторых гранаты за поясом. Наши и немецкие с длинными ручками. А у Груздева, как и подобает, на боку кобура.

— Спрашиваешь, фронт где. Как тебе ответить, командир? Оружие в бою взяли?

— Не совсем. Боев у нас не было. По дороге подобрали.

— Говоришь, не было. Вот вы все к Москве идете, спрашиваете, где фронт. Знать, под ее, Москвы-то, крылышко спрятаться норовите. А что будет, если все побегут? Да все под крылышко?

Груздев молчал.

— Фронт… А кто знает, где сейчас фронт? — уже более спокойно продолжал старик. — Хотя слух о нем далеко разносится, а попробуй точно опреде-

лить, где он. Наша земля под чужим сапогом стонет, так мы видим и слышим. А фронт... Слыхали о таком городе — Кричеве?

— А как же? Позавчера обошли его. Немцы там.

— А как им не быть, если все, как и вы, мимо него идут?.. Шоссе недалеко от города есть: Москва—Варшава. Я по этому шоссе на империалистическую в четырнадцатом шел. И назад тоже.

— Так мы правильно на Москву идем? Не на Варшаву?

— Погодь. Сказывают, там солдатик, вроде твоих, тоже совсем мальчишка, вражескую колонну расколошматил. Много машин и танков подбил и немало немца положил[1].

— Неужели один?

— Сказывают, один. С пушечкой маленькой. Долго бой держал и сам лег. Немцы его, врага своего, потом с почестями похоронили. Даже местный люд согнали, мол, смотрите, воин какой. Вот и решай, где для него фронт был.

Старик умолк. Положил руку на сердце, будто прислушиваясь, как оно бьется, потом резко опустил, махнул. Груздеву показалось, что при этом старик пренебрежительно посмотрел на него.

— Да-а, — снял фуражку Груздев. Глядя на младшего политрука, сняли пилотки и его солдаты. — Ты вот что, батя, не суди меня уж очень строго. Так получилось. Если бы я был один, может, как тот воин, уже давно где-нибудь лег. А повоевать я успел. Не на этой, на другой войне, на финской. За спины бойцов не прятался. Если бы прятался, сам знаешь, свои шлепнули бы.

— Ведаю, не крыўдуй, — старик неожиданно перешел на белорусский язык.

— Есть среди них, — Груздев кивнул на парней, — и те, кто служил. Правда, только двое. Остальных по дороге встретил. Мальчишками были, даже присягу не успели принять. А сейчас — воины. А тот, о котором говоришь, пожалуй, неплохо обучен был, коли с пушкой.

— Мабыць, так.

— К своим придем, и — в бой! А надо будет — и раньше. Кажется, пока надобности такой не было.

— Дай бог, если так, — старик перешел на русский язык. — Что ж, тогда ты правильно делаешь, командир. Береги их. А к фронту, если не за день-два, все равно дойдете. А пока выдели мне пару-тройку парней. Со мной пойдут. По дороге растолкую им, как вам дальше идти. В деревне еду дадим. Что старуха моя соберет, что люди. Деревенька наша небольшая, она отсюда недалеко, в лесу. Я почему за вами шел. Кто знает, какой сейчас люд по лесам ходит. Мы вас еще издали заметили. К деревне вы шли. Я направился навстречу, чтобы вас отвести от нее, а вы сами свернули в сторону. Дорогу к деревне мы лаўжамі завалили, мол, дальше хода нет. Дальше — глушь.

— Чем, чем? — спросил Груздев.

— Валежником, говорю. Жена моя — белоруска, это ее слово. Я — русский. Кучи хвороста, лаўжы, по-русски — валежник.

— Вот оно что, — сказал Груздев, — видели кучи хвороста. К ним и за ними на дороге есть следы от машины. Надо бы замести, если такая маскировка.

---

[1] Подвиг старшего сержанта-артиллериста Николая Сиротинина, который 17 июля 1941 года, прикрывая отход товарищей около д. Сокольничий под г. Кричевом, один вступил в бой с вражеской колонной. По официальным сведениям, в этом бою он уничтожил 11 танков, 7 бронемашин, большое количество живой силы противника. Похоронен там же, врагом, с воинскими почестями.

— Ишь ты, заметил. Заметем. Есть еще кому, хотя из мужиков одни старики остались в деревне, а крепимся. Все наши парни и мужчины сразу пошли в район, как только узнали, что война. Прибежала моя внучка из района, она там десятилетку закончила, кричит: «Война!» А коли так, то воевать пойдем все, кто может. А мне куда? Лета мои уже не те. Так что мой фронт теперь там, где я. Это не я придумал, так люди говорят, те, что поднялись против врага не на фронте, а в тылу. У нас так всегда говорили те, кто не мог на фронте с врагом воевать, это я хорошо помню, пожил на свете немало, всякое видел и слышал. Думаю, что еще и я пригожусь. Может быть, вам, а может, другим, если они наши. А может, и враг еще узнает меня. Не первых вас таких встречаю и не последних. И военные идут, и гражданские. И молодые, и старики. Но вот что нас тревожит: вчера детишки с учительницей на машине приехали. Детдомовцы. Мы хотели, чтобы они остались. Накормили, как могли утешили, а учительница говорит: «Дальше пойдем». Правда, внучка моя, Олька, пошла с ними. Как же учительнице одной? Вдвоем смелей. Олька путь к шоссе знает и дороги по лесам — тоже. Деревня там одна есть большая, я родом оттуда. Хотя бы туда им дойти — все-таки ближе к фронту. Надеюсь, найдутся там люди, помогут если не фронт перейти, так едой, согреют, а может, и по домам разберут детишек-то.

— А машина что?

— Машина на ходу, хотя побита пулями. С шофером плохо. Детей он вез. Поле там длинное, дорога между лесом и полем, выйдете отсюда, луг увидите. Самолет налетел, ну и давай стрелять. Шофер детей высыпал из кузова: «В лес!» Побежали они в чащу. А ему куда? В лес дороги нет. Ну и погнал по краю поля. Пока дорогу нашел, пуля и попала в плечо. Насквозь. А затем, пока самолет разворачивался, шофер дорогу в нашу деревню нашел, смог в лес заехать. А здесь я и мой сосед Трофим на дороге, как раз собирались ее завалить валежником. Трофим с шофером в деревню поехал, его перевязать надо было. А детей я пособирал. Всех. Только перепуганные. Шофера женщины перевязали. Детей накормили, успокоили. А дальше что? Самолет над деревней пролетел, правда, даже не стрельнул. Мы, если что, своих в лес отведем, спрячем в болоте, наши привычные. А эти городские, их же комары съедят, они же там исплачутся. Да и не сможем мы их досмотреть, в деревне одни старики и дети. Кто знает, когда война закончится. А все равно хотели оставить у себя малышей, но учительница говорит: «Нет, спасибо. Доведу». Ну и пошли на восток по этой дороге, по которой вы шли. К шоссе направляются, знать, где-то впереди вас. Я чего: по дороге за ними идти будете. Догоните, доведите их, сынок, доведите. Боюсь, сами не дойдут. Если б мог, сам с вами пошел бы. А теперь парней давай. Время бежит.

— Товарищ младший политрук! — Гаврила подбежал к Груздеву. — Машина ведь на ходу! Догоним! Вы нас на дороге ждите, чтобы не разминуться.

— Гаврила, Петро, Василий, идите с батей, — приказал Груздев. — Машину сюда!

Старик вопросительно посмотрел на него.

— Батя, слышишь, что парни говорят? — сказал Груздев. — Обязательно довезем!

Старик молча пожал ему руку, повернулся и направился в чащу леса. За ним — Гаврила, Петро и Василий. Остальные стояли молча. Слышали, что говорил старик. И о том, что бегут, и о детях. Чувствовали себя посрамленными: бойцы!..

Парни вернулись часа через два. По лесной дороге на полуторке приехали. Гаврила был за рулем, Петро и Василий сидели в кузове. Привезли сало, хлеб, даже отваренную картошку и две большие бутыли молока. Было чем сейчас перекусить и что оставить на потом, на ужин и завтрак.

Груздев и бойцы, ожидавшие Гаврилу, Петра и Василия, подошли к машине. Осмотрели ее. В нескольких местах пулями пробиты кузов, кабина и капот. Удивились, как она еще могла ехать.

— Как?! Это же полуторка! — сказал Гаврила. — Она все могёт. Ты мне оставь раму, колеса, руль, мотор — больше ничего не надо: поеду на ней. На учениях ездил. Конечно, горючка нужна. А она есть. Старики запасливые. У друга деда литров двадцать нашлось. Говорит, когда-то военные недалеко лагерем стояли, выменял на самогон.

— А вам водки дали? — спросили парни.

— Никодим, Ваня, где ваша кружка? Доставайте, Гаврила плеснет.

Бойцы рассмеялись.

— Брось, кружка! — не понял шутки Никодим. — Вижу, понравилась. Ты мне ее не оскверняй! Одна женщина дала в дорогу, мать троих солдат. Может, где-нибудь встретим их, отдадим. Ее из гильзы сделал отец этих ребят. А ты…

— Вы что? — настороженно посматривая на Груздева, сказал Гаврила. — Какая водка? Предлагали на лекарство, но мы отказались. Воды взяли. Бидон. В кузове.

— Воды... Воды мы и без кружки попьем. Пригоршнями.

— Не дури, Гаврила, — сказал Груздев. — Дали так дали. По глазам вижу. Держи. Потом, как выйдем из окружения, разберемся, что за лекарство. Ты лучше скажи, как дальше ехать. Растолковал батя?

— Да, — ответил Петро вместо Гаврилы, который сделал обиженный вид. — Верст через пять выедем на луг. Через него дорога в другой лес. Затем лесом, километров через десять — шоссе. По нему влево — на Москву. Говорил, чтобы на шоссе не выезжали. Сказал, что на внучку надеется, она у него сообразительная, доведет малышей до деревни, из которой он родом. А там, говорил, его, Матвея Суровцева, все знают. И внучку его знают, так что надо надеяться на лучшее.

— Ну что, перекусывать не будем? — спросил Груздев.

— Какой перекус, товарищ младший политрук! — возмутился Гаврила. — Детей догонять надо.

— В машину! — приказал Груздев.

10

Машина шла по узкой лесной дороге. Шла тяжело, потихоньку, цепляя кабиной и бортами ветви деревьев, иногда буксуя в лужах. Тогда парни спрыгивали с кузова, толкали ее вперед.

Груздев, когда буксовали, соскакивал с подножки, на которой стоял рядом с водителем, помогал парням, затем возвращался назад.

Простые парни, еще ничего особенного не видевшие в жизни, кроме того, что делалось в их деревнях, поселках, городах. Без особого образования, книг читали мало, культурный уровень — несколько кинофильмов и, пожалуй, все. Но как замечал Груздев, каждый был с внутренним стержнем, который под

воздействием непредвиденной ситуации сжимается, а потом выпрямляется, словно выстреливает: не сломать!

Груздев давно изучил каждого и был уверен, что никто из них не подведет его. Но очень тревожило: как встретят наши? Время военное, действуют жестокие законы, что будет с парнями?.. Конечно, сразу начнутся допросы. Без этого нельзя. Но какие? Кто будет допрашивать: выскочки, службисты, трусы, которые в каждом видят врага, или настоящие люди, для которых каждый из его тринадцати красноармейцев — прежде всего человек.

Если первые, а таких он повидал немало, те, конечно же, будут выбивать из парней показания против него: младший политрук — трус, оставил роту, побежал. Проще говоря, дезертир, а может, и враг…

Многому за время похода научил своих подчиненных Груздев. Научил пользоваться оружием, нашим и немецким. Учил преодолевать страх. Учил не пьянеть от успеха — последнее дело. Учил всегда быть людьми. И не предавать себя и товарищей.

Немало рассказывал им о боях на так называемой финской войне, о своих боевых друзьях. И всякий раз сосредоточивался на том, что самое сложное на войне — оставаться человеком, чтобы с тобой ни случилось. Может быть плен... Может случиться, что тебе свои не поверят... Может случиться, что будут требовать подтвердить клевету на товарища… Многое может случиться с тобой на войне, когда вопреки всему должен остаться человеком. А вот сможешь ли, зависит только от тебя. И это, наверное, самое сложное для каждого.

Размышляя так, Груздев понимал, что прежде всего будут допрашивать его: оставил роту, а если и не оставил, тогда почему так бездарно воевал, что оказался здесь, не вступив ни разу в бой с врагом. Понимал, что и у него могут «выбивать» признание в измене, и был готов к этому: выдержу — разберутся, отправят на передовую. А не выдержу — расстреляют.

Был уверен, что выстоят все до одного — тринадцать его солдат. Потом их проверят, направят на фронт, где они будут сражаться, как и подобает настоящим воинам. Даже представлял, как они будут вести себя в бою: никто не струсит…

За это время он сумел объединить своих подчиненных, не потерял ни одного, и иногда на привале думал о том, что не все они доживут до победы: и это еще одна суровая правда войны. Груздев знал, что часто для воина первый бой становится последним, и это тоже правда войны, как и та, главная: если ты не убьешь врага, то враг убьет тебя. Ты боец и должен это помнить…

Младший политрук Груздев был единственным сыном учителей — еще тех, дореволюционных времен, перед которыми люди снимали шапки.

Родители его жили в Бобруйске в своем домике на окраине города около реки. Он любил свой город, тесноватый, шумный, многоголосый, в котором на базаре можно было услышать белорусскую, русскую, еврейскую, цыганскую, польскую и еще неизвестно какую речь.

Он жил там, пока не призвали в армию. Уже во время службы его направили на учебу, стал кадровым военным. (Тогда считалось очень почетным звание офицера.) В армии его фамилию Груздик изменили на Груздев. Наверное, командиры посчитали, что этим самым превращают его из маленького человека в большого. (Тогда же поменяли фамилии и его товарищам: Дятлика на Дятлов, Кирильчика на Кириллов, Иванчика на Иванов.) Но став офицером,

приезжая на побывку в свой город, встречаясь со школьными друзьями, он не назывался Груздевым: новая фамилия его тяготила.

Бобруйск ему всегда нравился. В армии он грустил по своим друзьям, парням и девчатам, которых звали Пети и Коли, Сары и Сайры, Янки и Янкели, Яковы и Язепы.

Он любил реку, луга и леса за городом. Любил крепость. Знал, что в свое время в ней служили декабристы, которые хотели арестовать царя Александра I, приехавшего туда, и потерпели поражение, читал: «…среди них не было единства».

С детства он хорошо усвоил, что «единство» помогает выжить. (Примеры были: когда на их улице у кого-то что-то случалось, на помощь приходили соседи, родители его друзей и его отца.) И сейчас, когда младший политрук Груздев вел красноармейцев к линии фронта, глядя на них, молча радовался, ощущая, что они едины: одно целое.

Да, он был военным, получил соответствующее образование, мечтал служить в Бобруйской крепости, но военнослужащий должен служить там, где приказано.

По натуре же Груздев военным не был. Так случилось. Подростком и юношей он писал стихи и прозу. Читал русскую и белорусскую литературу, мечтал, что когда-нибудь что-то напечатает. А пока никуда ничего не посылал, никому ничего не показывал: недостижимыми, великими казались ему те, кого печатали, а он — такой маленький со своими стишками и рассказами, подписанными фамилией Груздик.

Восхищался Горьким. Чувствовал, как писатель в каждом из своих «босяков» стремится увидеть человека.

Восхищался Купалой и Коласом: те, о ком они писали, казалось, жили рядом с ним, «босяки» — где-то далеко. Но и здесь, и там видел живых людей, таких, как сам.

Семьей он не обзавелся, как-то так получилось, что любимую девушку пока не встретил. Конечно, ему, как и каждому юноше, нравились девчата. Какое-то время заглядывался на Катю, сверстницу, дочку учителей, коллег родителей. Но та не обращала на него внимания.

Потом нравилась Рива, дочь сапожника Янкеля Морона. И ей он почему-то не нравился. Зато он нравился однокласснице Дануте, но она не нравилась ему.

Став военнослужащим, Груздев, занятый делами, о девушках будто забыл: занятия, учения, походы. А потом — боевые действия на финской.

Раньше, да и позже, он видел, и не однажды, как некоторые люди, казалось бы, даже в самых простых жизненных ситуациях теряли в себе человеческое. Они любыми путями рвались к должностям: наговаривали на сослуживцев начальству, присваивали чужое, и вообще, делали много чего плохого другим, чтобы только себе было хорошо.

Видел и удивлялся: как же так? Почему?.. Но пренебрежительно относясь к таким людям, открыто против них не выступал: армия, в ней свои законы. Видел и другое на финской войне: за такими в бой не идут, хотя бы по той простой причине, что такие никогда первыми не выскакивают из окопов.

Груздев все эти дни, сколько вел на восток солдат, готовил их к настоящим боям с врагом. А что такие бои будут, он не сомневался. Но может случиться, что воевать ему не придется, если свои не поверят, если решат, что нарушил присягу.

Почему тогда шел? Была же возможность, когда обходили Бобруйск, вернуться домой и затаиться там до лучших времен. Не пошел, хотя знал, что

немало тех, кто попал в окружение, пойдут домой. Знал, многие создадут партизанские отряды, подпольные группы. Не сомневался, что и в партизанских отрядах, и в подпольных группах встретятся трусы и предатели. Знал, что некоторые, кто будет прятаться дома, станут служить врагу: так было всегда. Получается, действительно все зависит от того, кем хочет быть сам человек.

11

В тот же день, ближе к вечеру, выехали из леса и, как и говорил старик[1] парням, увидели широкий нескошенный луг.

Он лежал перед ними — километра на два-три вправо и столько же влево, и шириной километр-полтора, со всех сторон окаймленный лесом. От леса, из которого выехали, к тому, который был виден впереди за лугом, — километра полтора-два, не больше. Через луг шла дорога, петляла. Была она широкая, колея посередине поросла высокой травой.

Вправо круто отходила более узкая дорога, почти тропа, и, огибая луг, шла к какой-то деревеньке с десятком хат, еле заметных вдалеке.

Ее они миновали еще вчера. Им показалось подозрительным — деревня как вымершая: не слышно никаких звуков. Обойдя ее, Груздев и его бойцы зашли в лес, где за ними и следил старик из соседней лесной деревни, в которой, как потом он говорил, были дети с учительницей. Петро рассказал Груздеву, что деревню на днях навестили немцы. И об этом поведал старик. А еще он сказал, что собирался сходить туда, посмотреть, но увидев Груздева и его бойцов, пошел следом за ними. Старик полагает, что жители, заметив немцев, могли уйти в лес за реку и там спрятаться. Но могло быть и иначе, о чем не хотелось думать: людей или уничтожили, или куда-то согнали.

Груздев и его подчиненные, стоя на опушке, долго осматривали окрестность, прислушивались, не слышно ли где подозрительных звуков. Звуки были, но привычные: в траве стрекотали кузнечики, в небе пели жаворонки, какая-то птица просила пить, рассыпая вокруг свое «пить-пороть, пить-пороть». (Кто-то предположил, что это перепел.) Ветерок своевольничал в луговом разнотравье, перекатывая по нему зеленые, желтые, розовые, белые, синие волны. Небо — чистое, без единого облачка. И солнце стояло еще высоко, хотя была вторая половина дня.

Он построил бойцов. Сам провел перекличку, хотя уже давно назначил своим заместителем Петра. Тот обычно строил отделение: так Груздев называл группу, и докладывал младшему политруку, что «все люди налицо».

Груздев внимательно осмотрел каждого: выправка что надо, все подтянутые, хотя форма заношена, а у кого-то и совсем грязная. Все при оружии.

Прохаживаясь перед строем, раздумывал, ехать сейчас к тому лесу или дождаться темноты. Если ждать, потеряешь время и, может быть, детей они уже не догонят. Ко всему, может случиться, что дети наткнутся на немцев. Значит, надо рискнуть. Расстояние небольшое, вокруг ничего подозрительного не видно и не слышно. И все же рисковать не хотелось. На всякий случай приказал Петру и Василию Кечику углубиться в луг, оттуда осмотреть местность.

Парни, пригибаясь, прошли по дороге метров двести и вдруг замерли, исчезли в траве. Груздев, вынимая из кобуры пистолет, отдал команду: «В ружье!»

---

[1] История боевых друзей моего отца Петра Максимовича, фронтового шофера.

Бойцы, выполнив команду, в ожидании, что будет дальше, затаились за деревьями у опушки леса. Но по-прежнему вокруг было тихо, только в небе пели жаворонки и какая-то птица все просила и просила пить.

Вскоре парни вернулись назад.

— Товарищ младший политрук, — сказал Петро, — на дороге детские следы, еще свежие, пылью не затянуло. Вокруг тихо, ничего подозрительного не видно.

Решение Груздев принял сразу: под прикрытием леса — вперед! А Петру и Гавриле приказал ждать темноты, затем, не включая фар, ехать через луг к лесу, где их и будут ждать…

Но Петро и Гаврила не выполнят его приказания. Темноты они не дождутся. Пройдет не более получаса после того, как Груздев с их товарищами, обойдя луг, войдут в лес, но вдруг сзади, там, где была деревня старика, Петро и Гаврила услышат выстрелы. Стрелять будут из автоматов, очередями, иногда одиночными. Стрельба продлится несколько минут, затем наступит тишина, но тоже ненадолго, а потом сюда, где они стояли возле машины, дожидаясь темноты, поползет тяжелый глухой гул.

— Гаврила, танки! — крикнул Петро. — Что делать?

— Да, танки! — словно подтвердил Гаврила, прислушиваясь к гулу, доносящемуся из леса, и добавил: — Что делать?.. Наших догонять. Вперед!.. Я — за руль.

Пока Гаврила по ухабистой лесной дороге гнал машину, догоняя Груздева и своих товарищей, те уже настигли детишек… Что дети недалеко, бойцам было понятно сразу же, как только вошли в лес. В песчаной колее они увидели много следов от ботиночек, босых ног и ножек, следы взрослых.

— Товарищ младший политрук, — осмотрев колею, сказал Дима Моруденко, до войны заядлый рыболов и охотник. — Недавно прошли, скоро догоним, не напугать бы. Заметят, подумают, что немцы, разбегутся, до ночи не соберем.

— И догоняй, Дмитрий, — сказал Груздев. — А мы будем идти следом за тобой. Свистни, когда догонишь.

Вскоре они услышали свист, бросились вперед и, миновав несколько изгибов дороги, заметили большую группу детей, среди них двух девушек и Дмитрия.

Дети были обессиленные, искусанные комарами, голодные. Маленькие плакали. Большие вытирали им слезы, держали за ручки, а совсем маленьких — на руках.

— Мы свои! — издали крикнул Груздев, не подумав, что Моруденко предупредил девушек и детей, подготовил их к встрече. — Не бойтесь!

…А тем временем Гаврила и Петро проехали луг. Гаврила вел машину, Петро сидел в кузове, с тревогой поглядывал назад, немцев не было видно, но был слышен далекий тяжелый, приглушенный гул, надвигающийся сюда.

Когда въехали в лес, Петро перегнулся через левый борт, прокричал, что немцев не видно, но гул не затихает: надо гнать!

Они проехали еще несколько километров по лесу, Гаврила остановил машину, заглушил мотор, прислушались — гул постепенно нарастал.

— Гони! — крикнул Петро.

…Когда догнали своих, Петро соскочил с кузова, подбежал к Груздеву — тот, отойдя от детишек, глянул на него и тревожно спросил:

— Что?..

— Танки, товарищ политрук! Детишек бы…

— Далеко?

— Не очень, где-то, наверное, на лугу. Успеем.

— Детей в машину! — прокричал Груздев.

Бойцы быстро разместили детей в кузове, четырех самых маленьких — в кабине. Кое-как успокоив детей, учительница и внучка старика тоже разместились в кузове. Учительница возле кабины, Оля — у заднего борта. Бойцы стояли возле машины, тревожно поглядывая назад на дорогу, откуда нарастал гул.

Надо было не мешкая ехать. Петро и Гаврила, ожидая команды Груздева, решали, кто поведет машину. Петро хотел, чтобы за руль сел Гаврила, сам он намеревался остаться здесь с товарищами. Но тот заупрямился, сказал, что останется он.

Груздев, обойдя машину, осматривая ее, глянул на бойцов, ожидающих его команды. Наверное, сначала он должен был отправить машину, а уже потом скомандовать: «Занять оборону!» или: «К бою!» Но Груздев спокойно и твердо сказал: «К бою!» И это был первый и последний его боевой приказ на этой войне…

Отдавая его, он не колебался и не сомневался, что иной команды и не должно быть. Хотя могла быть и такая: «С детьми всем — в лес!» И если первые две команды никому из его бойцов, да и самому Груздеву, не оставляли никакого шанса выжить, третья такой шанс оставила бы хоть кому из его солдат, но, наверное, не всем детям…

Бойцы, получив команду, отбежали от машины в направлении луга метров десять и быстро заняли оборону по обе стороны дороги, как раз в том месте, где был узкий длинный поворот.

Груздев подошел к Петру и Гавриле, все еще выясняющим, кто должен вести детей, и словно попросил:

— Парни, довезите детей.

— Товарищ младший политрук! — почти закричал Гаврила. — Я здесь! С вами. Пусть Петро едет. Ну дайте ему кого.

— Почему я? Давай ты, а я здесь!

— Кончайте, — устало сказал Груздев. — В помощь даю… — Он запнулся. Дать кого-то в помощь двум водителям, конечно, надо. Но кого... Братья Боровцы… Пусть хоть один останется: двое их у родителей.

— Никодим, Ваня, ко мне! — крикнул Груздев.

Подбежали братья. У обоих винтовки. По две немецкие гранаты за поясом.

— Никодим, Ваня, одного из вас надо в машину. Кто?

Оба отрицательно покачали головами: нет. Понял их: «Нам надо быть вместе».

Груздев крикнул:

— Моруденко! С оружием — к машине! Гаврила — за рулем! Петро старший. Выполнять!

Никодим и Иван, услышав это, бросились назад, туда, где раньше лежали в траве у дороги.

Уже лежа на земле, поглядывая через прицел винтовки на дорогу, на которой еще ничего и никого не было, но которая уже дрожала под чем-то тяжелым, Никодим с досадой сказал:

— Эх, кружку не отдал… Да ладно, Гаврила с Петром найдут из чего напоить ребятишек…

— Найдут, — согласился Иван, стараясь унять дрожь, внезапно охватившую его, и тоже глядя через прицел на дорогу, никого и ничего пока там не видя…

Машина тронулась с места. Груздев достал из кобуры пистолет. Затем быстро прошел несколько шагов по дороге вперед, туда, откуда приближался тяжелый гул. С минуту постоял, прислушался, потом лег на траву между колеями и сразу же почувствовал, как под ним дрожит земля и как эта дрожь передается всему телу…

Солнце еще не зашло, его лучи пробивались сквозь ветви деревьев, падали на траву, на спины, головы, руки бойцов, лежащих на земле и притаившихся за деревьями, на Груздева…

Через минуту он, кажется, уже привык к тому, что под ним дрожит земля, почувствовал, как дрожь уходит из тела, такая чужая и ненужная ему, почувствовал невероятное спокойствие, словно нет войны, будто просто прилег на землю отдохнуть после утомительного похода на учениях… И в то же мгновение ощутил, как она пахнет, нагретая за день, пахнет чем-то живым, нежным, манящим, притягивает к себе.

Хотелось закрыть глаза, долго, бесконечно долго и беззаботно лежать на ней, словно младенец на руках у матери. Лежать, забыв, что война, которую он так долго обходил со своими бойцами и которая все это время казалась где-то далеко-далеко, уже рядом с ним, с ними. Не хотелось ни о чем думать, не хотелось ничего слышать и видеть, кроме предвечернего леса, еще щедро освещенного солнцем, кроме птичьего пения, голосов парней, лежавших на земле, стоявших за деревьями, поглядывая то вперед, откуда все нарастал и нарастал гул, то назад, где, покачиваясь, исчезла за поворотом машина с детьми, с двумя девчатами, с Петром, Гаврилой и Димой.

Груздев понял, что расслабляется, а этого на войне никак нельзя. Он приподнялся, посмотрел вперед, прислушался: гул был уже совсем близко, а земля под ногами все дрожала и дрожала…

Груздев посмотрел по сторонам: бойцы застыли в ожидании, кто лежал за деревом, кто в траве. К нему подбежал Никодим Боровец, прокричал:

— Товарищ командир! Гранату возьмите, гранату! У меня их две!

Груздев взял правой рукой гранату, пистолет переложил в левую, крикнул:

— Головной танк беру я! Остальные — каждый по одному!..

Из-за поворота показался первый танк…

12

…Через полчаса на этом месте, где Никодим Боровец подбил первый и последний танк в своей жизни, а минутой позже его брат Иван, где неподвижно лежали они, их боевые товарищи и младший политрук Груздев, ходили немцы.

Еще не стемнело.

Немецкий офицер, обходя место боя, приказал своим солдатам осмотреть карманы убитых красноармейцев (документов ни у кого из них не было), удивлялся: что за воины... Затем он с недоумением взял из рук своего солдата какую-то удивительную вещь, сделанную из снарядной гильзы.

Если перевести с немецкого языка, он сказал: «Такого трофея у меня еще не было. Ну что ж, заберу. После того, как мы уничтожим этих варваров, буду у себя в Баварии пить пиво и рассказывать детям и внукам, как мы воевали». (Детей и внуков у него не будет. На нем и закончится его род, хотя доживет он до глубокой старости.)

А через четыре года после того боя он, пленный, работая на стройке в Минске, обрежет немецкую снарядную гильзу, которую найдет на площадке. Получится нечто похожее на тот трофей-кружку, которую он потерял в лесу почти год тому, когда его вместе с такими же, как он, отступающими офицерами и солдатами фюрера партизаны взяли в плен… И когда он, пленный, пил из нее воду, вспоминал, как горстка красноармейцев в лесу под Смоленском остановила колонну танков, подорвав сначала один, потом два, потом еще и еще...

Вспоминал, какая была паника среди его солдат, а затем, когда затих бой, недоумение: зачем им, этим красноармейцам, нужен был такой неравный бой?.. Ведь они могли убежать, спрятаться в чаще леса, а потом идти своей дорогой...

Кружка, которую он сделал из обрезанной гильзы, нравилась ему. Одно было плохо: когда наливали кипяток — обжигала. Кружка была без ручки, ее нечем было припаять.

И еще не понимал, почему местные женщины подходят к пленным немцам и дают им хлеб...

13

…Через трое суток Ефим и Валик приплыли к Кошаре. Впрочем, перед тем как отправиться в дорогу, парень так и рассчитывал. Ефим говорил, будто туда можно доплыть за день, но это были слова, не более. Может, раньше, в его молодые годы, как он говорил, когда река бежала быстрее, справились бы и за сутки, но не сейчас.

Обмелела за последние годы Дубосна, бежала не так быстро, как когда-то, а местами, казалось, совсем останавливалась.

Ефим удивлялся: как же так?..

Валик слушал старика и удивлялся другому: какая же она красивая, особенно в лесах, в высоких берегах, поросших величавой сосной. Так далеко по реке он выбрался впервые, раньше не представлял, что она такая разная в лугах и в лесу. Удивлялся, что на всем пути им не попадались деревни, хотя иногда чувствовалось, что где-то не так и далеко от Дубосны они есть: местами через лес к реке спускались дороги, тропы, на берегах были видны шалаши, старые и с еще не пожухлой листвой, недавно поставленные. Конечно же, сюда приходят рыбаки, но сейчас их не видно. Это понятно: стоит почти осенняя пора, у людей иные заботы — поля, урожай.

Миновали и Дубосну, деревню с таким же названием, как река. Деревня стояла на левом берегу за лесом, недалеко от реки: на воде покачивалось с десяток челнов и лодок, привязанных к вбитым в землю кольям.

Когда подплывали к этому месту, Валик заметил, что старику не сидится. Он приподнимался с сиденья, молча поглядывал то на реку, то на берег, то на Валика. И только когда миновали песчаный берег, сказал:

— Дубосна. Церковь там. Как-нибудь свозишь меня. Можно, конечно, на попутной машине по дороге подъехать, ближе и намного быстрее, но не хочу дорогой.

— Почему? — спросил Валик.

— Не люблю ее. Та дорога когда-то нас с Иосифом развела в разные стороны. Еще когда мы молодыми были. Ты уже взрослый, поэтому скажу тебе, чтобы знал, чтобы не повторил ошибок моей молодости. То, что я тогда сделал, и сегодня не дает мне покоя. Вот послушай.

У Иосифа девушка была. Из Демков. Текля. Любились они. И однажды ее обесчестил один плохой, богатый, наглый парень. Бабы это видели, долго сплетничали, мол, Текля до того догулялась, что среди бела дня с Авдеем (так звали того парня) голая в снопах валяется.

Иосиф места себе не находил. Как так?.. Отвернулся от нее, а я, дурак, на все со стороны смотрю, будто меня не касается, будто никто он мне.

Текля красавица была, работящая. Так вот, обесчестил ее Авдей, а через какое-то время разузнал Иосиф, что тот повезет Теклю в Дубосну венчаться. Пришел ко мне, мол, пойду на дорогу, перегорожу. Смотрит на меня, а я молчу. И пошел. А я не пошел с ним. Девку Иосиф не вернул, а Авдеевы дружки едва его не убили. Мне надо было тогда с ним пойти, Валик, надо было, а я...

— Он же не звал.

— А на такое дело не зовут, если друг, сам должен пойти.

— Наверное, друзьями не были.

— Были, Валик, были.

— Тогда я не знаю, дед, ничего не понимаю.

— Здесь понимание одно: жизнь у него и у нее сломана. А пошел бы я с ним — вдвоем отбили бы Теклю.

— Потому и в церковь тебе надо? Ты же, дед, кажется, не очень веришь.

— Нет. Церкви это не касается. Просто хочу зайти, постоять, посмотреть. Хочу увидеть, как люди верят. Старый уже. Много грязи за жизнь на душе накопилось, церковь грязь не смоет, если сам не смоешь. И люди не смоют.

— Какие люди, деда? Тебя уважают. Чуть что — Ефим Михайлович сказал, Ефим Михайлович знает, Ефим Михайлович посоветовал.

— Ну, это те, кто знает, какой я сейчас. Но и другие люди есть. Тот же Иосиф, Текля, если жива: сослали ее с мужиком неизвестно куда, раскулачили его.

— С Авдеем?

— С ним. А куда же ей было деться? В то время, если кто выжжет на девке клеймо блудницы, так до гроба. А девку можно и обманом обесчестить. Позже я узнал, что Авдей опоил Теклюшку какой-то гадостью и обесчестил.

Умолк старик. Молчал и Валик. Долго молчали. Не думал парень, что столько лет деда Ефима может тревожить то, что когда-то было в его молодости: не поддержал друга в беде. Хотя, трудно представить — что беда? Ну вышла девка за другого, и если бы не хотела, так разве поехала бы с ним венчаться? И зачем надо было Иосифу вмешиваться в судьбу уже чужой ему девушки? Но если послушать деда Ефима, получается, что не так все просто: Иосиф и Текля любили друг друга. Но случилось ужасное: не разобрались в своих отношениях, расстались. А он, Ефим, оказывается, мог бы помочь им, но не захотел. Почему?.. Вот в чем вопрос.

На следующий день (ночевали на берегу у костра), когда собирались плыть дальше, Валик спросил старика, почему он тогда не пошел с Иосифом.

— Я, как и все, сплетням поверил, — сказал Ефим. — Не хотел, чтобы Иосиф с ней был, раз она такая. А правда в том, что смалодушничал я, мне это позже открылось, и уже ничего нельзя было изменить.

К Кошаре подплывали в полдень. Что до хутора недалеко, Валик понял по тому, как Ефим начал внимательно всматриваться в левый берег, поросший деревьями. Смотрел, будто боялся не узнать место, где надо пристать: а вдруг они его уже миновали.

— Валик, табань! — крикнул старик, да так громко, что тот от неожиданности вздрогнул. — Говорю, греби назад. Проскочили протоку. Видишь? Поворачивай, давай кормой в траву. И осторожно, следа в траве от лодки не видно, сильно не мни траву. Не надо, чтобы кто-нибудь посторонний знал об этом месте.

А через какое-то временя, спрятав в заводи в тростнике лодку, даже не взяв с собой рюкзаки с едой и теплой верхней одеждой, Ефим и Валик по припрятанным в топи плахам шли через болото к хутору.

Плахи Ефим отыскал быстро, нащупав длинной палкой твердое в топи, затем на шаг сбоку — вторую, третью. Так плахи могли положить только три человека: хозяин хутора Антон, он, Ефим, который когда-то работал у него и знал секрет пути, и Иосиф. Иосифу о том, как пройти через болото, рассказал Ефим, вернувшись с хутора, когда ходил сюда, чтобы забрать к себе детишек. (А надо ли было? Ведь детишек от родителей оторвал бы. А тогда думал, что надо.) О том, что дорогу сюда знают дети и внуки Антона, Ефим не думал.

14

Они долго стояли на пригорке, за которым лежала усадьба. Стояли там, где когда-то начиналась тропка через поле к дому. По той тропке, когда был молодым, ходил и Ефим. Но теперь она была еле заметна, заросла травой. Справа, шагах в пяти от нее, струился родничок. Из него вытекал ручеек, бежал вниз к речке.

Родничок был обложен камнями, этакой подковой, что удивило Ефима: при Антоне здесь был сруб в два веночка, а под ним — желобок. Помнил, что уже в тридцать седьмом, когда приходил сюда за детишками, сруб вокруг родничка был подгнивший, рядом лежали свежие плахи. Наверное, Антон собирался его заменить, но не успел. Антон любил все делать из дерева, говорил: «Дерево дышит».

Ефим посмотрел вокруг, плашек не было, не иначе, весною по склону снесла талая вода. Конечно, камни не Антоновы, и обложен родничок после того, как Ефим приходил сюда. Может, Иосиф обложил?

Помнил, что Иосиф, когда ставили дома, советовал хозяевам делать каменные фундаменты вместо деревянных, как тогда было принято в Гуде и окружающих деревнях, мол, камень вечный. Так ставят дома в городе, где как-то был на заработках.

— Иосифа работа, — кивнул Ефим на родничок, — наверное, век доживать здесь собрался. У Антона в сарае дерева хватало, он хозяйственный был, все у него было приготовлено заранее.

Валик не ответил. Он смотрел на хутор и не понимал, как здесь можно жить одному. Вокруг лес, болото — жутко. И разве здесь кто живет? Все заросло травой, нигде не видно даже лоскутка обработанной земли. Вон длинный дом, крыша седловиной, просела, того и гляди обвалится. Прогнувшимися были крыши и еще двух строений, чернеющих вдали от дома, ближе к лесу.

— Деда, — наконец сказал Валик. — Нежилое. И никого здесь нет.

Ефим долго молча смотрел на хутор. Он хорошо помнил его. Помнил кошару, сарай, когда-то он помогал Антону их ставить. Помнил дом, который тот построил еще до него, кажется, помогали родственники. Помнил просторные сени. Широкое крыльцо. Помнил здесь все до мелочей — и теперь узнавал и не узнавал. Да, нежилое. Вот только, кажется, к сеням приделано новое крыльцо, дерево, столбики еще желтые, и площадка, доски — тоже. И на окнах нет досок. А были заколочены, когда Ефим в последний раз навещал хутор. Значит, здесь кто-то жил или живет.

Ефим перевел взгляд вправо от крыльца, увидел недалеко от него две большие березы. Их он тоже помнил. Помнил еще совсем маленькими, помнил уже и деревьями. Дорожил ими Антон. Ефим когда-то сказал хозяину, что можно было бы выкорчевать, мешают косить, а тот ответил:

— Пусть растут. Жалко.

Теперь березы были большие, в деревне сказали бы, зрелые. Береза за каких-то лет пятьдесят — крепкое дерево. Кроны их широкие, желтые косы опущены почти до земли, колышутся на ветру, кажется, что-то закрывают.

Взгляд скользнул вниз, под косы берез. Под ними — узкий, длинный желтый бугорок, а над ним — свежий, дерево еще желтое, крест с трепещущим на нем белым полотенцем. Ветер колыхал ветви, открывая его, такой большой для могилы. Подумал, что такие кресты раньше обычно ставили у входа в деревни. Были мужики, которые умели их делать особенно добротно. И десятилетиями стояли они в начале деревни, как считалось, оберегая людей от нечисти. Женщины украшали их полотенцами — святость излучали такие кресты. В новые времена, принесшие повсеместное безбожие, отрицающие добро, сталкивающие брата с братом якобы во имя какого-то светлого будущего, проливающие невинные людские слезы и кровь, — таких крестов уже не ставили. А старые эти обереги выворачивали, уничтожали — находились среди людей и такие, которые почитали кощунство за честь, впрочем, не зная смысла самого этого понятия, как и понятия совести, без чего существу, именуемому человек, нечего делать среди людей…

Ефим и Иосиф слыли хорошими и плотниками, и столярами. Когда были моложе и дружили, домов окрест поставили немало, в том числе и в новых поселениях, а вот мастерить такие обереги не брались, мол, для этого мастера есть постарше… Правда, однажды они крест все же сделали. Помнится, умерла одинокая старушка Просковея. На отшибе жила в хатке-развалюхе. Убогая и не убогая, вроде странная и не странная, но всякого привечала — и странника, и местный люд. Детишек заговоренной водой лечила. Помогало, многие болезни как рукой снимало... Умерла, бабы к Ефиму с Иосифом: «Старики домовину ладят, помогите им с крестом. Крест ей большой надо, потому как страдалица большая…»

Помогли, сделали такой же большой, как этот, — старикам не поднять…

Сказывал шофер Кате и Наде, что у Антона, который живет на этом хуторе и которого он время от времени подвозил в город и из города, хозяйка была. Конечно же, Иосиф Антоном представлялся, наверное, хотел затеряться среди людей. Говорил, хозяйка его умерла. Умерла. Неужели?.. Так ведь ее сослали. Вернулась? А если и вернулась, как могли встретиться? Как все понимать?..

Вздрогнул Ефим, прочь хотелось гнать эту мысль: нет, не она. Поморщился от боли, сердце в груди словно кто-то сжал в кулак — не продохнуть, ноги подкосились, едва не упал, но удержался: нельзя, парня испугаю.

Кое-как успокоился, еле поднимая ноги, медленно направился к березам. Каждый шаг давался с трудом. Не дойдя нескольких шагов до берез, не сводя

потянутых легким туманом глаз с бугорка, желтевшего под ним, остановился, прошептал: «Опоздал. И кто же тебя похоронил?.. И кто ты? Иосиф, Антон? Мне бы самому поговорить с тем шофером, который тебя подвозил, я бы точно определил кто. А то женщины как-то неопределенно: Иосиф — не Иосиф».

Валик стоял позади, слов старика не разобрал, но понял, тот что-то говорил сам себе. Знал, в последнее время у деда Ефима бывают такие минуты, когда он так разговаривает. А тем временем старик начал медленно опускаться на землю, на колени. Валик подхватил его сзади под руки, поддержал, пока старик опустится, и, глядя, как тот дрожащей непослушной рукой стягивает с головы фуражку, пожалел, что приехали сюда. Нельзя было это делать, нельзя! У старика болит сердце, какие его годы... Вдруг с ним что случится, где и у кого тогда искать помощи?

— Деда, деда, — присев возле него, встревожился Валик. — Тебе плохо?

Ефим молчал. Валик опустил руку в карман брюк, нащупал там таблетки от сердца, которые ему перед дорогой сунула тетка Катя, достал, подал старику.

— Не надо, внучек, — проговорил тот, отклоняя руку Валика. — Лекарства душу не лечат. Само пройдет. Не обращай внимания, бывает.

Ефим не торопясь поднялся, пошатываясь, сделал шаг к бугорку, остановился: песок свежий, желтый.

Он, конечно, не знал, что сегодня утром песок на бугорок насыпал Иосиф, чтобы подновить могилку, осевшую за лето. Не знал Ефим, что эти три дня, пока он с Валиком плыл сюда, бывший его друг и односельчанин Иосиф Кучинский подолгу сидел возле могилы. В мыслях разговаривал с Теклей, чтобы подсказала, что делать дальше, ведь очень тяжело ему здесь жить одному. Хотя знал Иосиф, что ему надо делать, Текля много раз говорила: «Когда вдруг упаду, так в Гуду иди». Но легко сказать иди, а как оставить ее здесь одну…

Текля для Иосифа была будто живая. Он чувствовал ее рядом с собой, где бы ни был, что бы ни делал. В мыслях всегда разговаривал с ней, когда надо было — советовался. Он видел ее облик, видел ее глаза, легкую, печальную улыбку. Он, кажется, жил под ее властью, такой доброй и нежной, такой необходимой ему, что и не высказать.

Знал Иосиф, если она вдруг когда-то оставит его, закончится и его жизнь — вообще не будет никакого смысла жить ему дальше на земле, и думал об этом с холодным спокойствием.

Да, Текля просила его, чтобы шел в Гуду. Знала, что там его спасение. Но ему хотелось только сходить туда, посмотреть, что там и как, и вернуться к ней. Спасение ему уже было не нужно: свыше отпущенный срок доживет здесь. После того как она умерла, Иосиф подготовился к своему последнему часу на земле, о котором не однажды думал: где-нибудь подальше от людей лечь в «то», во что кладут тех, кто ушел из жизни, и ждать.

Есть у него *то*, во что лечь. И место есть — рядом с ней, Теклей. Почувствует, что близок его последний час, притянет «то». И еще: могилу он успеет выкопать, сходит в деревню или не сходит. В Гуду ему надо только чтобы опять увидеть Катю, ее сыночка, Надю, ее детей. Увидеть, что все у них хорошо, что не надо за них опасаться, как опасался в городе.

И мужчин ему надо увидеть: Ефима, Михея, Николая и всех тех, кто вернулся. Не обязательно признаваться им, что это он, Иосиф Кучинский. Ему просто пройтись бы по деревне, прикинувшись старцем, чтобы не узнали, посмотреть, как они… Ему бы деревню увидеть, какая она сейчас. Так хочется вдохнуть тот воздух, которым дышал всю жизнь, пока не очутился тут.

Но он боялся идти в деревню, хотя и очень хотелось. Боялся, может, и дойдет, а вот вернется ли сюда, к своей Теклюшке, неизвестно. Пойти туда ему надо совсем по иной причине, нежели она наказывала. Текля считала, что только там его спасение, а оно ему не нужно. Ему нужно иное — людей увидеть и запомнить такими, какие они сейчас. А потом — назад, к ней. А спасение от самого себя, заплутавшего в жизни, освежив душу, очистив ее от всего наносного, налепившегося на нее за долгие-долгие годы, он найдет, вернее, нашел еще тогда, когда с Теклюшкой встретился. Но понял это только сейчас, увидев свою жизнь не издалека, а, как говорится, изнутри самого себя …

Иосифу хотелось и не ослушаться Теклю, и сделать по-своему. Так сказать, соединить в одно два желания: ее и его. Только все это очень и очень непросто.

Иосиф страдал, не зная, можно ли их соединить...

В то время, когда Ефим и Валик были возле могилы, Иосиф, еще ничего определенного не решив, собирал в сенях мешочек, складывал в него то, что могло бы пригодиться в долгой дороге: спички, банку консервов из старых запасов, брусочек сала, сухари. А собрав, думал, как уже делал три дня подряд, выйти из сеней, направиться к березкам, подойти к бугорку, остановиться и в который раз спросить у Теклюшки, что ему делать.

Знал, что и сегодня она не даст ответа. Тогда он, как и раньше, наверное, вернется в сени, распакует мешочек, останется здесь, размышляя, как все же быть...

Ладно, уйдет он, но как она здесь будет одна?.. Уйдет и тем самым в очередной раз предаст ее, самого дорогого ему человека, самое дорогое, что было у него за всю долгую и такую горькую жизнь…

Иосиф, собрав мешок, развязал его, высыпал содержимое на лежак, повернулся, взял в углу самодельный костыль, ткнул его под мышку и решительно направился к двери.

А Ефим по-прежнему стоял на коленях возле могильного бугорка под двумя березами. Березы шелестели желтыми листьями, ветер трепал белое полотенце на кресте, легкий туман, еще недавно застилавший глаза, рассеивался.

Валик внимательно следил за стариком, готовый, если потребуется, в любое мгновение подхватить его, поддержать. Он даже сделал шаг, чтобы быть ближе к нему, и вдруг застыл на месте: сзади заскрипела дверь. И сразу же послышались шаги, сначала звучные, по доскам, потом глухие, по земле.

Валик резко повернулся к дому и на мгновение словно окаменел: к ним, шаркая сапогами по земле, приближался старик. Сгорбленный, без шапки, с самодельным костылем под мышкой. Он спешил, казалось, еще мгновение и старик подойдет, набросится на них: «Что вам здесь надо? Кто вы такие?»

Но старик, сделав несколько шагов, тяжело выпрямился, поднял голову, посмотрел на Валика и Ефима. Что-то полузабыто-знакомое увидел парень в облике старика. И сразу же внутри все сжалось, потом вспыхнуло: он!.. Валик двинулся с места, медленно подался навстречу, вглядываясь в лицо: седая бородка, редкие седые волосы и глаза, кажется, знакомые глаза. А когда между парнем и стариком оставалось шага три-четыре, Валик рассмотрел их: выцветшие, но не пустые, грустные, исстрадавшиеся, в них застыли боль и страх — такими они были зимой сорок пятого, когда он бросал лед в лицо деду Иосифу Кучинскому.

Старик, вглядываясь в него, в Ефима, который уже поднимался с колен, остановился, в его глазах появилось что-то похожее на слабый огонек, прохрипел:

— Валик?.. Ефим?..

— Деда Иосиф! — парень бросился к старику, но подбежав к нему, остановился растерянный, опустил глаза.

— Узнал ты меня, Валичек, узнал. Дай я тебя обниму.

Старик выронил костыль, сперва осторожно обнял парня, а потом решительно прижал к себе.

— Осип? — послышалось глухо от бугорка. — Ты? Боже, живой.

— Я, я, Ефим...

...На третий день на рассвете Валик отплывал из Кошары. В лодке он был один. Он хотел возвращаться в Гуду в челне, но старики сказали, что им он сподручней, что на челне они могут хоть всю реку пройти от начала до конца. Конечно, в этом нет надобности, но обязательно сплавают на нем куда надо.

Когда Валик поинтересовался, куда именно, Иосиф сказал, что прежде всего на Стражу, благо дни стоят еще теплые. А потом поплывут в город, у них там тоже есть дело, или еще куда. Под словами «...еще куда» Валик понимал — в Гуду. Он надеялся, что это будет скоро: побудут день-два на Страже, расспросят у хозяйки о солдатах, ночевавших там, и поплывут в свою деревню, ведь не так уж и далеко она оттуда. А насовсем приплывут или только перезимовать, будет видно...

Прежде чем проводить Валика к лодке, старики наказали ему, чтобы запомнил путь через болото.

Конечно, будь у стариков сила, надо было бы положить новые плашки, и не по две в ширину, а по четыре, а то и по пять, и не прятать их в топи, а поверху. Пусть бы люди ходили, кому надо, — вон охотники зимой постреливали... Может, ягодники прибьются или еще кто. А если вдруг заявятся Антон с женой, его дети или внуки, так Ефим все возьмет на себя, скажет, почему они с Осипом здесь. А там будет видно. Может, хозяевам хутора нужна будет помощь, так пожалуйста: в Гуде пустует дом, который мужчины построили Ефиму.

Когда Валик собирался назад, Иосиф дал ему весомый мешочек с орехами, сказал, чтобы передал Кате, она всех угостит. Просил всем, кто еще помнит Иосифа Кучинского, передать поклон. А потом сказал:

— Я, Валентин Игнатьевич, вот о чем тебя попрошу: если у нас растет трава молодила, отыщи ее мне. Мы с Теклюшкой хотели ее здесь найти, но не знали, растет ли она у нас, да и как она выглядит, трава эта. Одно знаю, что целительная. Теклюшка говорила, что мазь из этой травы, когда она из ссылки шла, где-то в России, кажется, ближе к нашим землям, ей одна старуха дала. У Теклюшки ноги были в язвах, мазала, помогало. Хотя, может, и не растет она у нас.

— Растет, — сказал Валик, — по ботанике читал. У нас много чего растет, а мы и не знаем, как называется. Отыщу. Да, лечебная она.

— Вот, вот, Теклюшке посажу. По весне как-нибудь заберу, под солнце и посажу.

Прощались старики с Валиком по-мужски, без лишних эмоций. Пожали ему руку, мол, в добрый путь. А когда оттолкнули лодку от берега, не сговариваясь, перекрестили.

И он прощался с ними так, как прощаются ненадолго. Даже не обнял, сдержался, только пожал руки, сказал: «Ну, держитесь», — и больше ничего.

Валик верил и не верил, что старики вскоре появятся в Гуде. Думал об ином: когда он приплывет в деревню и расскажет обо всем, что здесь произо-

шло, Савелий сразу же направится в Кошару. Он это так не оставит, насильно, данной ему властью заставит стариков вернуться в деревню. Ишь, что надумали: остаемся.

Конечно, без Валика ему туда не добраться. И, выплывая из заводи, не обращая внимания на то, что за лодкой в траве остается след, Валик старался запомнить этот поворот реки, ее левый и правый берег. С левого берега, по течению, метров за двести перед заводью к самой воде свисают старые ветви ив. Этакая плотная гряда. Местами через нее в реку упали деревья, толстые и очень старые. Лежат давно, может, десятилетия, стволы постепенно исчезают под водой, над которой возвышаются толстые почерневшие ветви. Наверное, деревья подрезали бобры, иначе нельзя представить, как они, такие сильные, упали.

Гряда ивняка заканчивается около полосы травы, уходящей влево к лесу на возвышенность, за которой, как Валик уже знает, начинается болото. Правый берег высокий, обрывистый, весной вода его сильно подмывает, в реке тоже лежат поваленные деревья.

Валик выплыл на середину Дубосны, взялся за весла, знал, что ивняк вскоре закончится и дальше река пойдет прямее, поворотов мало, и он направит лодку ближе к берегу, так плыть легче и быстрее.

Так и было. Плыл он быстро, хотя и против течения. Около берега оно почти не ощущалось, где работал веслом, а где шестом — дело для него привычное. Он рассчитывал, что дня через два приплывет к тому месту, где от берега проложена тропа к Страже: Ефим просил, чтобы Валик сходил на хутор, переночевал у старухи, сообщил, что вскоре к ней должны наведаться двое стариков: дело у них к хозяйке есть.

Если бы Иосиф не сказал ему о том, что старики собираются навестить Стражу, Валик один домой не уплыл бы. Он рассчитывал, что оттуда обязательно вместе поплывут в Гуду. Понимал, что Стража — единственное место на земле, где, как думает, он может обнаружить следы своих сыновей.

Валик плыл и вспоминал разговоры стариков. Были они, на первый взгляд, не связаны между собой, но угадывался в разговорах какой-то свой глубокий смысл, и был он словно припрятан. От кого? От себя? От него, Валика?

От себя — едва ли. От него? Тогда с какой целью? Старики таким образом пытались уберечь его от всего обидного и жестокого, что было между ними?.. Как сказать.

Фрагментарно звучало так...

— Знаешь, Ефим, что я понял, считай, прожив всю жизнь возле людей, а теперь вот уже сколько лет в одиночестве?

— Откуда мне знать? Говори, Осип. Только позволь, все же я тебе о своем прежде сказать должен, ибо виноват перед тобой. Из-за меня мы чужими стали, а когда-то как братья были... Кто знал, что жизнь такая извилистая?.. По-глупому разошлись мы с тобой. Я, я во всем виноват. И пошло — у меня своя дорога, у тебя своя. И мне было больно и обидно без тебя, пожалуй, и тебе без меня. Помнил я всю жизнь, как ты, когда я, чужой, сирота, бродяга, в Гуду пришел, ты первым из парней руку мне подал. А после я, когда тебе моя рука нужна была, от тебя отвернулся. Помню: не пошел с тобой Теклюшку защищать. Наверное, больно тебе было, не смог ты ее один у Авдея отбить, вдвоем отбили бы.

— Было больно, Ефим, было. А как же? И обидно было. И я сирота. И я один. И вот что я прежде всего понял: нельзя человеку быть одному на земле, каким бы он ни был — грешником или праведником, бедным или богатым.

Земля ведь, когда туда люди уходят, всех как бы выравнивает, все для нее одинаковы. Это здесь мы ссоримся, враждуем, ненавидим друг друга, и даже уничтожаем… А там… Но вот что над всем этим стоит — какая память о тебе останется? Ну, еще ладно, если от кого росток остается, а если, как у меня, — нет его, тогда что?.. Казалось бы, какое мне до этого дело? Ведь нет меня и никогда не будет. Но болит душа, болит: добром ли вспомнят люди, или словом худым, а может, просто забудут… А забудут — как и не жил, не было тебя на земле… Какая-то тайна нашего бытия в этом сокрыта, если не дает покоя…

— И мне знакомо это. И мне нет покоя. Иной раз кажется, что та память, о которой ты говоришь, как продолжение жизни.

— Это ты точно говоришь… Нам бы с тобой, Ефим, по одной тропе до конца идти, а мы по разным пошли. Хотя, сколько живем с той поры, столько наши тропы рядом вьются. А когда пересекались, к добру не приводили. Тяжело, очень тяжело было ощущать это. А вот опять сошлись. Не знаю, как ты, а я, как только тебя увидел, подумал, что наконец-то все между нами изменится.

— С тем и приплыл, Осип.

— Как хорошо, что с Валиком приплыл. Вырос парень. Мужчина. Узнал меня. Обнял. Так сын никогда не обнимал, когда еще человеком был. Хотя, может, он человеком и не был никогда. А почему? Не смог я человеком его воспитать.

Валик, когда они разговаривали у крыльца, присел на колоду, смотрел вдаль, хотел понять, как мог здесь так долго жить дед Иосиф, сначала один, потом с женщиной, которую любил, и не представлял этого. Думал: наверное, только страшная обида на односельчан держала старика здесь — не мозолю вам глаза.

— Оно так и не так, — говорил Ефим. — Никто не знает, каким рождается человек. Как говорят, и яблоня может быть хорошая, а яблоко...

— Никому не говорил, а тебе скажу: не с моей он яблони, не моего корня. Но за это я Марию ни разу не упрекнул. Когда с плодом взял ее, так спрос с меня за то, каким плод тот созрел. Так что отвечай, Осип!.. Вот и отвечал, и перед людьми, и перед самим собой.

— Н-да. Сложно все это. Очень.

— Я тебе больше скажу. Валик не слышит? Не надо ему это. (Валик хотел подняться, уйти, но что-то будто привязало его к колоде.) Нет, не слышит. Тогда, когда деревню сожгли, когда людей уничтожили, я сына своего хотел застрелить. Палач он, с врагом был. Винтовку на него наставил — и не смог. И здесь моя вина перед людьми. Он же после этого еще столько зла сделал.

Иосиф надолго умолк. Молчал и Ефим. Валик сидел ошеломленный, не знал, что делать. Он хорошо помнил полицая Стаса, сына деда Иосифа. Помнил, что Стас не однажды наставлял на малышей винтовку, пугал. Помнил, как горела деревня...

— Здесь тебе никто не судья, — наконец сказал Ефим. — Здесь сам себя или осудишь, или оправдаешь.

— И я так думаю. А что выбрать, и сейчас не знаю. Бывает, злюсь на себя. Хотя знаю — нельзя. И Теклюшка всегда говорила, что злиться на людей нельзя. Нельзя, как бы тебя ни крутила жизнь. Понимаешь? Ослепнешь, человека в человеке не увидишь. И в себе — тоже. Озвереешь. Я, может, еще недавно от злобы незрячим был. В город шел людям за Теклю мстить. Теклю у себя держали, издевались над ней как хотели. Говорила, если бы не грех, так руки

на себя наложила бы. Зверем к ним шел, хотя не знал, что буду делать, но — зверем. Может, зверем и остался бы, если бы не встретил Катю с мальчиком, а потом — Надю со Светкой. Увидел их — и опустились руки, душа оттаяла. Вот оно как.

— Так что, Осип, простил? Или, как когда-то Фадей говорил, молись за обижающего тебя? Да — по левой щеке бьют, правую подставляй? Да так изверги все заполонят, все изничтожат. Нет. Моего согласия на это не будет! Я с тобой за Теклю хоть сейчас, старый, заступлюсь, если молодым не заступился. В город хоть завтра пойдем!

— Пойдем. Только самосуд чинить не будем. Не нам других судить — это я тоже понял. Сам понял, хотя слышал, в Писании так сказано. Сказано-то сказано, а как понять?.. Очень непросто понять, знаю. А поймешь — по-иному на мир смотреть будешь… К власти пойдем, пусть их и судит, на то она власть. И меня пусть судит, коль за сына виноват.

— Дурак ты, Осип! Виноват… Ни в чем ты перед властью не виноват, Савелий сказывал еще тогда, как ты исчез. И я, дурак, судить тебя брался. А право у меня какое? Когда ты ушел из деревни, долго я сам себе в душу заглядывал, пытаясь понять, что там и как. Оказывается, там столько всего такого, за что меня ты должен судить.

— Брось, Ефим! Судить… Хватит того, что сами себя судим. Судить легко — понять трудно. А коль поймешь самого себя, так, как с твоих слов понимаю, лад в душе найдешь.

— Вот, вот, точные твои слова…

Умолк Иосиф, молчал и Ефим. Долго молчали, наверное, каждый думая о чем-то своем. Наконец Иосиф, словно пробудившись, произнес:

— Ты вот что, Ефим, скажи мне о Катином и Петровом мальчонке, как он там без отца? Видел я его на базаре, на отца, на Петра похож.

— Похож, вылитый отец. Петькой Катя назвала, Петриком. В школу идет нынче, в первый класс. Дедом меня зовет, Валика братиком, Светлану сестричкой. И ты ему дедом будешь, а как же. А парни мои придут — дяди. Жду.

Ефим умолк, задумался. Иосиф посмотрел на него, сказал:

— Жди. Придут. Много кого ждут?

— Многих. Игнатий Соперский пришел, знаешь уже. Митроша Сдоба, Федор Жевлак, Никита Печенев, Борис Иванов, Степан Кравченко. А кто никогда не придет, так имена тех на обелиске рядом с именами наших с тобой односельчан, которые дома погибли. Обелиск там, где клуб был. И Марфушка моя там, как знаешь. Ты вот могилку своей Текли каждый день видишь, сам ее земле предал, а от моей Марфы ничего не осталось, даже пепел ветер развеял. Как же ты один Теклю смог похоронить?

— Так и смог... Сидела на крыльце, ждала меня как всегда, я из леса шел, она увидела, поднялась, что-то хотела сказать и упала… А похоронил — не буду говорить как, тяжело было, очень тяжело, гроб на кругляки положил, тащил. Себе его смастерил, а получилось…

— Легкая смерть у нее, царство ей небесное. А у моей Марфы мученическая. Узнал я, где Марфушка последний раз на земле была, по обгоревшей пуговице с ее кофты. Пуговица та заметной была — посредине на голубом выбита роза. Я ту пуговицу подростком нашел на дороге, когда по миру ходил. Очень мне нравилась она, красивая была. А когда с Марфушкой сошелся, подарил ей — вот и все мое богатство на то время. Пришила она себе пуговицу на кофту, говорила, к счастью: на дороге найдена. И потом перешивала с кофты на кофту. По этой обгорелой пуговице с оплавленной розой и нашел

я свою Марфочку — горстка пепла вокруг пуговицы. Хотел сгрести, налетел ветер, развеял, смешал с прахом остальных наших односельчан, сгоревших вместе с ней.

На том месте когда с войны вернулись Павлик Юркевич, Мишка Ивановский, Коля Трофимов, а потом Игнатий, мы сначала крест поставили. Большой, больше, чем этот, издалека он виден. А потом мужики решили, что обелиск надо. Ведь люди наши разных наций и разной веры были…

— Говоришь, один на всех крест ставили, и обелиск один... И я один крест нам с Теклюшкай поставил. — Осип помолчал, потом добавил: — Страдалица она. Из-за меня.

— И ты, Осип, страдалец. Да, крест у вас один, хотя долго врозь жили. Мне бы с моей Марфушкой один крест.

— С нами все понятно, Ефим,— сказал Иосиф. Как жили, что делали... Закат наш близок. О молодых надо подумать. Прости, но я опять о твоих парнях спросить хочу. Ты же толком о них ничего и не сказал, одно — ждешь. Вести подают?

— Парни? Почему толком не сказал… Мне за своих больно, тебе за своего. У тебя, может, в сто раз горше душа болит, чем у меня. Что особенного можно сказать о моих? Жду. Но пока молчат. Бумага на них была, будто без вести пропали. Давно пришла, как район освободили.

— Как это было? Порвал?

— Нет, не порвал. Есть такая бумажка, есть. Только не верю я ей. Савелий Косманович, помнишь такого, ее у почтальонки перехватил. Он у нас участковый.

— Помню, хороший парень.

— И он не верит.

Валику хотелось крикнуть, что он тоже не верит, но сдержался. Впервые в своей взрослой жизни, а он считал себя взрослым, получается, подслушивает чужой разговор. Хотя, почему чужой? Дороги ему старики, столько пережили они на своем веку, что и вообразить невозможно. И если он без разрешения становится свидетелем их искреннего и очень непростого разговора, то, наверное, ему простительно: ничего не поделаешь, рано или поздно уйдут они из жизни, и что, на этом все кончится? Нет, он должен знать, ему жить да жить, как иногда говорит дед Ефим, — не повторяй моих ошибок, Валик…

— Вернутся, — сказал Иосиф.— Будем ждать.

— А как же? — словно удивился Ефим. — Все ждут, всех ждут. И тебя в Гуде все ждут. Женщины наказывали: «Дядь Ефим, без дяди Иосифа не возвращайтесь».

Сказав это, Ефим внимательно посмотрел на Иосифа. Тот молчал. Казалось, даже затаил дыхание. Наконец, вздохнув, заговорил:

— Нет, Ефим, не вернусь. Возле Теклюшки буду. Не могу я ее оставить одну, крест у нас один, это ты верно сказал. Ты вот что, нашим поклон от меня передай и скажи, что не могу. Заботы здесь у меня есть. Скажи, что у меня все хорошо, крепкий еще. Вот нашли вы меня с Валиком, и все тяжелое, что угнетало, к земле прижимало, да так, что света божьего не видел, унесло. А больше мне ничего и не надо.

— Почему не вернешься? — возмутился Ефим. — Мы все тебя ждем с того времени, как исчез, словно в воду канул. Семь лет минуло: куда человек пропал?.. Утонул?.. Вода снесла, что и следа нет?.. Сгорел, как дом занялся?..

Где мы тебя только не искали, не звали!.. А ты вон где. И как это я раньше не догадался. Хотя, признаюсь, не представляю, как ты в такой паводок, в такой холод смог выбраться на сухое.

— Как видишь, выбрался. Выбрался не потому, что очень хотелось жить, нет. Наверное, выбрался потому, что не мог умереть, не повидав Теклюшку. Наверное, какая-то неподвластная мне сила вела меня сюда. Может, судьба.

Выбрался, потому что хотелось повидать Петрово и Катино дитя, всех вас… Для того выбрался, чтобы дождаться такой минуты, когда мы с тобой обнимемся, дорогой ты мой друг. А теперь мне с Теклюшкой надо быть. Как же я ее одну здесь оставлю? Три дня собирался в Гуду, хотела она этого. Хотела, чтобы к вам шел, если она вдруг первой умрет. А я говорил, чтобы к тебе, Ефим, шла, если что со мной случится. Говорил, что ты ее в обиду не дашь.

— Значит, верил в меня.

— И злился на тебя, а все-таки верил тебе. И Михею с Николаем верил, и Кате с Надей. А теперь и Валику верю. Повидал вас, — и ничего и никого не боюсь. Разве что одного: Теклюшку одну оставить.

— А я много чего боюсь, Осип,— сказал Ефим. — Боюсь, что сыновей своих не увижу: вернутся, а меня уже похоронят. Боюсь, чтобы с детьми не повторилось то, что с нами было. Боялся, что ты не поедешь со мной. Прошлого нашего с тобой боюсь: я же тебя одного бросил, когда ты Теклю шел забирать, когда Авдей вез ее под венец. Боюсь своих слов, которые сказал сыновьям, провожая их на войну: словно проклял их. Так же, как и ты Теклюшку, боюсь одну Марфушку оставить. Хотя не одна она там, с такими же мученицами и мучениками, как сама, а все равно боюсь… За себя боюсь — правильно ли по земле шел… За тебя, Осип, боюсь: как же ты здесь один будешь?..

— Ничего не бойся, Ефим, особенно за меня и Теклюшку. А слова, которые ты Никодиму и Ване говорил, правильные. Помню их, с тобой же на фронт сыновей провожали. Моему бы Стасу такой наказ, да чтобы он его услышал, может, и я его как человека ждал бы. Но не сказал я таких слов ему, что-то сдержало, а что, и сейчас точно не знаю… Хотя, наверное, за жизнь его опасался. Наказ твой тогда показался мне похожим на проклятие. Как так: «…И нет вам дороги назад». Эти слова и затмили смысл всего, что ты сказал.

— Вот оно что…— вздохнул Ефим.

— Да ладно, уже ничто не исправишь… Вы, Ефим, домой плывите, а я здесь буду. Не прогоняю, но и не задерживайтесь со мной, скоро начнутся осенние дожди, тяжело будет плыть. Даст Бог, увидимся. Сыновья твои вернутся, будет желание, приплывайте ко мне, уж очень хочется повидаться с ними. Какие они сейчас, Никодим и Иван? Наверное, настоящие мужчины!

— Наверное, Осип, наверное. Скорее бы вернулись. — Ефим замолчал, медленно поднялся с колоды, сделал несколько шагов к березам и остановился. Долго стоял, глядя на них, потом подошел к Иосифу, сказал: — Я вот что, с тобой и Теклюшкой останусь. Мне вас одних оставлять нельзя. А Марфушка меня поймет и подождет. А когда мои парни придут, так Валик им сюда дорогу покажет. Погостят, назад вместе уплывем. Валик, а Валик, слышишь? Привезешь сюда парней?

Валик не ответил, будто не слышал. Его сердце гулко стучало, он не знал, как быть.

15

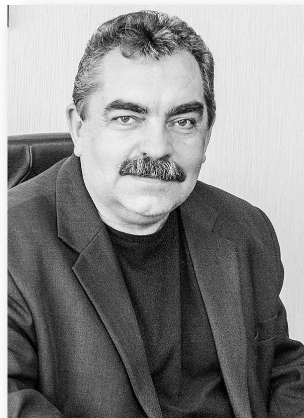
Валик плыл домой в лодке Иосифа Кучинского… Тот разговор двух стариков, близких и дорогих ему людей, все всплывал и всплывал в его памяти. Он слышал их голоса. Видел их лица. Были старики седые и мудрые. Видел их глаза, будто выцветшие, но все равно просветленные. Ему казалось, что вместе с тем в них таится и печаль. И свет, и печаль — настоящие, исходящие откуда-то из потаенных глубин души. И они ненавязчиво передавались ему, овладевали его мыслями, главной из которых была эта: нет ничего простого в отношениях между людьми, и как важно понимать друг друга, поддерживать на извилистых и крутых дорогах жизни…

Он еще не знал, что и его жизнь будет непростой, а дороги окажутся извилистыми и крутыми. Не знал, что на этих дорогах он много раз будет падать. Не знал, что тогда вновь и вновь будет вспоминать этот разговор двух односельчан, судьбы которых тронули его еще неокрепшую душу, бросили в нее много и горечи, и тепла, а вспомнив, будет подниматься и помогать подняться другим, тем, кто упадет...

На всю свою долгую и очень непростую жизнь запомнит Валик, Валентин Игнатович Соперский, и свою, и старика Ефима встречу с Иосифом Кучинским, состоявшуюся на хуторе Кошара, надежно спрятанном в лесной глуши природой от людей. Многое увиденное и пережитое затеряется в его памяти, сотрется, а это будет на самом верху, чтобы проявиться, выясниться, озариться в нелегкие моменты жизни.

А пока он плыл по реке против течения домой, к родителям, к людям.

Перевод с белорусского Ольги НИКОЛЬСКОЙ.



Алесь БАДАК

Поэзии свет

* * *

Уходит поэзия с вечных высот,
Где солнцем пронизано слово.
Незрячие души — печальный исход.
Поэзии он уготован?

Не самая страшная то из утрат.
Не будут пустыми страницы.
Как думают умные?
— Век виноват!
А мудрые:
— Все возродится!

У первых всегда наготове слова:
— Эпохи, кумиры, программы.
Вторые считают иначе:
— Трава
Травой вырастает упрямо!

Подхватят с готовностью спор интернет
И разные громкие шоу,
Где вряд ли увидишь поэзии свет
За блеском вопросов дешевых.

Душа? Не откроют страдалице дверь,
Не вспомнят на телеканалах.
Поэзии ей не хватает теперь?
Зато и болеть перестала!

* * *

На этот свет не первый век
Единственной дорогой
Приходит каждый человек
С душой, вдохнутой Богом.

Согласие и доброту
Она лелеет свято,
Чтоб мир не перешел черту,
Откуда нет возврата.

Все ближе край земных забот
На море и на суше.
Все чаще Бог на землю шлет
И возвращает души…

Боль

Как жить,
Когда болит душа
Твоей души неугасимой болью?
Над ней, как над сокровищем дышать!
О, эта нить меж мною и тобою…

Как без нее познал бы на краю,
Что нет у горя твоего предела.
Не первый раз над пропастью стою,
Но никогда так сердце не болело

И не рыдало… Пересекши край
Земных дорог, отмеренных судьбою,
Мне плакать за тебя дорогой в рай
Над тем, что здесь оставлено тобою.

Как памяти в квартирной тишине
Мучительно к былому возвращаться,
Чтоб оказаться в том весеннем дне,
Где белый свет без черных декораций!

О днях былых, о радости скорбя,
Душа моя кричит осиротело,
Что я не жил на свете до тебя,
Что после белый свет не будет белым.

Я вымолил у Бога эту боль —
Души моей страданье неземное —
Последнее, что связано с тобой.
Я опоздал вымаливать иное…

Перевод с белорусского Юрия ЩЕРБАКОВА.

Андрей НЕКЛЮДОВ

«Радуюсь, вот и плачу…»

Рассказы

Аист

Белорусская деревня Ра́димичи, некогда большая, имевшая свою ферму, силосную башню, выгон, теперь насчитывала только шесть жилых домов. Да и проживали в них большей частью одинокие старухи.

Мы с женой, родители которой происходили из этих мест, приехали сюда после многолетнего перерыва и деревни не узнали. Силосная башня давно обрушилась и угадывалась лишь по густо поросшему крапивой холму. Пруд, в котором я когда-то удил карасей, превратился в неприступное болото. Не было бегающих по пыльным улицам ребятишек и мычащих по утрам и вечерам коров. Тишина и оцепенение поселились тут.

Впрочем, поля окрест были возделаны. Из соседнего, более крупного села сюда временами наползала техника — углублялись мелиоративные канавы, косилась на лугах трава. Признаться, ухоженный вид этих лугов, зеленых полей кукурузы, желтых ковров рапса, как и волшебное исчезновение борщевика, поразили нас еще на въезде в Беларусь.

Километра за четыре до деревни мы сделали остановку возле небольшого, увенчанного рыжествольными соснами холма. На этом холме, под его сухим песчаным одеялом покоились родители жены и более далекие ее предки. Тут было как-то не по-земному тихо, пахло хвоей и увядшими цветами. Меж оградок росли кустики черники с нетронутыми ягодами, можжевельник и боярышник. Могилы, в отличие от городских кладбищ с их тяжелыми полированными надгробиями и пышными цветниками в каменных рамах, были тут совсем обыкновенны: кресты — деревянные либо отлитые из бетона, холмики — поросшие травой, с воткнутыми в них пластмассовыми цветочками, кое-где — поникшие цветы в баночках с позеленелой водой. На таких простых деревенских кладбищах мне всегда чудится, будто лежащие тут отжившие люди откуда-то глядят на меня. Но не снизу, не из-под земли, а откуда-то сбоку или сверху. Глядят, как глядит на тебя твое отражение в воде.

Кладбище называлось Рябинкой — по имени речки Рябинки, протекающей в подножии холма. Рябинка эта, по воспоминаниям жены, была некогда вполне приличной речкой, а теперь представляла собой ручеек, едва приметный в гуще камышей.

Немногочисленные обитатели Радимичей мою жену Нину помнили и отнеслись к ней с радушием и теплотой. И в первую очередь — соседка Фаина.

Это была крупная, даже грузная женщина с ясными серыми глазами и лицом, сохранившим следы былой красоты, из-за чего слово «старуха» к ней никак не лепилось. Хотя была она далеко не молода и обременена болезнями.

Фаина родилась и до зрелых годов жила в Радимичах, знала и всегда хорошо отзывалась о родителях Нины, была с ними одного поколения. Зиму Фаина отсиживалась в городе, где имела квартиру, а с первым теплом ее доставлял в родную вотчину на своей легковушке дальний родственник, и он же поздней осенью забирал ее обратно в город. По хозяйству управляться она была уже не в силах, даже из дому редко выходила из-за больных ног, а помогал ей во всем Степан Сотник, щуплый и крикливый мужичонка, о котором речь еще впереди.

Дом у Фаины небольшой, аккуратный, обшитый вагонкой и выкрашенный в ровный зеленый цвет, оттеняющий белые наличники.

При входе во двор всякий новый человек (а таким человеком в данном случае являлся я) невольно должен был оторопеть. И, правду сказать, я оторопел. Оторопела и жена. И было от чего: выкошенная поляна перед крыльцом сплошь была уставлена диковинными деревянными фигурами. Тут были и кабан с острыми клыками, и рыба неопределенного сорта, и семейство зайцев, и леший с носом-сучком, и синий крокодил на пяти ногах, сделанный из пня с корнями. Казалось, мы попали на выставку народных промыслов. Но как скоро выяснилось, все это было творением рук Степана.

Нине особенно понравился еж с выточенными из дерева и окрашенными в серый цвет «иголками» и курносой мордочкой. Мое же внимание привлекли две толстые змеи, переплетшиеся между собой в каком-то мучительном напряжении.

— Нашел такой корень пригодный, возиться, почитай, не пришлось! — прокричал мне из огорода, видя, что я задержался возле змей.

И была еще более искусная работа, правда, незавершенная, — аист с приподнятыми ажурными крыльями. Именно приподнятыми. Прежде я встречал фигуры аистов со сложенными либо с широко распахнутыми крылами. У этого же они были чуть воздеты, как будто выражая сомнение: лететь или не улетать? Трудно было поверить, что из дерева, пусть даже не из цельного, можно вырезать столь тонкие, едва ли не прозрачные крылья. Аист был неокрашенный, желтовато-белый и едва уловимо пахнул липой.

Фаина это увлечение своего работника откровенно не одобряла.

— Делом бы занялся, чем безделицами своими, — не раз корила она при мне Степана. — Крыша у бани течет, забор, того и гляди, ляжет…

Однако гостям (в частности — нам с Ниной) хозяйка дома говорила про эти рукоделия не без гордости:

— Это Сотник все сам вырезал! Нигде этому ремеслу не обучался, а вон как похоже! Я иной раз пугаюсь, из дому выходя: что за заяц-великан сидит?

Разговаривали мы в просторной комнате, у стола, покрытого голубой рельефной скатертью. Фаина подробно расписывала нам свои хворобы.

— Почему и пришлось этого Сотника взять, — заключила она.

— И давно он у тебя? — спросила Нина.

— Уж третий год.

Фаина знала о своем помощнике немного.

Попал Степан в эти места еще в юности, из Приуралья. Жил поначалу в отдаленной от Радимичей деревне, там женился, однако попивал и работал неважно. Все больше резал свои «безделицы». А когда жена, видимо, стремясь выручить хоть какую-то копейку, продавала эти поделки, Степан еще горше запивал. В конце концов женщина не вытерпела и прогнала непутевого мужика из дому. Изгнанник ютился сперва у соседей в сарае и там же пил с соседом, за что и соседка его прогнала. Поскитавшись, Сотник прибрел в

полуопустевшие Радимичи и вселился в один из заброшенных домов. Стал подрабатывать у местных вдовствующих старух: какой дров наколет за стакан дешевого вина и пачку сигарет, у какой крышу подправит за миску вареной картошки. Фаина тогда была еще не совсем разбитой — он ей воду из колодца таскал, по осени картошку помогал выкапывать. Получал за то полный обед. А как она занемогла, так уже и весь огород, и дрова, и баня, и вода, и все остальное хозяйство перешло под его опеку. И сам он жил летом при Фаине, спал на топчане на веранде ее дома. А в сарае гремел цепью и ворчал его злой косматый пес Мухтар.

— У него что, никаких родственников нет? — сочувственно спрашивала у Фаины про Степана моя жена.

— Ниночка! Какие у него родственники! Его родители родили да и выпустили, как лягушку. И не узнавали ни разу, как он и что. Так и вышел непутевый, необразованный. Два класса в школе проучился, а ему пять записали, пожалели, а ума так на два класса и осталось. И по мужицкой работе никуда он не годится — забор вон подправить не может, веревкой подвязал, а тот опять падает. Только и знает ерунду эту, безделицы свои вырезать, точно ребенок. В детстве, видать, не наигрался. А по годам — дак мой сверстник, седьмой десяток уже.

Степан и выглядел немолодо — сутулый, сморщенный, с жиденькой светлой порослью там, где бывают усы, и редкими волосками на коричневом подбородке. Один глаз его всегда был прищурен, придавая ему хитроватый вид. Хотя по натуре, как я убедился, это был человек на редкость, уникально бесхитростный. Ходил он в разных сапогах (один черный и большой, другой — черно-синий, поменьше), в каких-то женских светло-серых трикотажных штанах и синем свитере с дырками на локтях.

Каждое утро и вечер Сотник шествовал мимо нашего дома с коромыслом и двумя ведрами на нем — к колодцу. Коромысло походило на лошадиный хомут, с вырезом под шею. Ведра болтались на крючках из проволоки, соединенных с «хомутом» короткими цепочками.

И всякий раз Степан неизменно останавливался против нашего крыльца у старой скамьи из одной доски и закуривал, не спуская с плеч коромысла. Затем, потоптавшись нерешительно, кричал (такова была его манера говорить):

— Ну что, молодые?! Спите еще?!

И лишь когда я выходил из дому на его крик, он со звяканьем ставил ведра на землю и присаживался на скамье с видом человека, которого пригласили присесть побеседовать.

— Ну что? — повторял он уже не столь громко, но все же достаточно громко, чтобы слышали ближние соседи. — Что делаете? Нинка печку топит?

Ни меня, ни саму Нину почему-то не оскорбляло это его фамильярное «Нинка». Так Степан звал всех женщин, за исключением Фаины. Печь же была его излюбленной темой. При каждой встрече он осведомлялся, не топила ли Нина печь и не собирается ли топить. Вероятно, у него сложилось представление, будто топить печь для женщины — это величайшее удовольствие или же неотъемлемое регулярное занятие, вроде причесывания или подкрашивания губ.

— А ты что делаешь? — отвечал я вопросом же.

— Вот за водой иду. Фаина воды просила наносить, баню топить буду. Фаина говорит, чтобы по полведра носил! — снова разражался он криком, очевидно, желая, чтобы Фаина у себя в доме также слышала. — Мне что, по

двадцать раз туда-сюда ходить?! Не натаскаешься! …А что, в городе у вас плохая вода? — спрашивал он через минуту. — Фаина говорит, плохая.

— Да, не очень, — подтверждал я.

— А у нас тут хоро-о-ошая, чи-и-иста-ая, — растягивал он в улыбке блеклые губы. А ты кем работаешь? Директором? — спрашивал он в другой раз.

Как я убедился, всех приезжающих из больших городов Степан считал директорами. «Фаину троюродный племянник привозит, директор». Или: «Фаина говорит, у вас сын уже большой. Наверное, директор».

Поначалу, пока не привык, меня удивляла и смешила эта Степанова прямо-таки ребячья наивность. Как-то угостил меня другой житель Радимичей сушеной рыбой, подлещиком, но, не будучи любителем пива, я отдал ее Сотнику.

— Хорошая рыба! — громко одобрил тот, сгибая корявыми пальцами рыбеху. — Откуда? Из города привез?

— Да нет, здесь насушил, — решил пошутить я. — Вчера рыбачил — вот и насушил.

— Молоде-е-ец! Быстро! Быстро ты! — искренне восхитился старик.

В один из первых дней по приезде Нина вывесила во дворе освежить залежавшееся за годы постельное белье. Степан, проходя мимо со своим коромыслом, остановился, закурил, покачал головой, после чего прокричал:

— Ого! Уже настирала сколь! Быстро! Быстро управилась, молоде-е-ец!

— Степан, — спросил я его однажды во время утренней беседы на скамье, — где ты научился такие фигуры вырезать?

— А нигде! — энергично выкрикнул он. — Так, баловался в молодые года, ножичком резал, стамеской, напильником шоркал. А потом один приезжий, бабки Нюрки внук, директор, подарил мне два специальных резака. Ими куда сподручнее. Я ему за то орла дал. Большой орел, с крыльями вширь, — и Степан растопырил руки в продранных рукавах, показывая размах крыльев подаренного орла.

Как-то я застал Степана за вырезанием. Вернее, за подготовкой к вырезанию: топором он вытесывал болванку для будущей поделки.

— И что это будет? — поинтересовался я, подойдя ближе.

— Ящера вот хочу сделать, по телевизору видел, — с прищуром глядя на меня, проговорил вполголоса мастер. Но потом не выдержал и закричал на весь двор: — А Фаина ругается! Кабачки, говорит, поливай, а не безделицами занимайся! А что их каждый день поливать-то?! Сгниют! Ясное дело: сгниют!

— Крыша в бане течет, огород в сорняках! — послышалось на это из дому.

— Вишь: ругается, — кивнул на дом Сотник, как будто даже довольный, что хозяйка его ругает. — Бульбу прополол, воды нанес, малины набрал — все ей мало!

— Как он мне надоел! — горестно качая головой, жаловалась нам с женой Фаина. — Кричит, матерится! Всем в деревне надоел. А как его прогонишь? Сама ничего не могу. И ведь делать ничего толком не умеет. Пол в бане фанерой застлал — где такое видано? Руки не из того места выросли, вот что. Только безделицы свои и умеет вытачивать.

Но когда какой-то проезжающий через деревню горожанин прельстился Степановыми поделками и за стакан водки выменял у него фигуру кабана, Фаина ругала Сотника весь вечер.

— Дурак! — не столько со злостью, сколько с досадой восклицала она. — Ну какой же ты дурачина! Тебя вокруг пальца обвели, а ты и рад. За стакан бурды такого кабанчика променял! Невдомек дураку, какой славный был кабанчик. Но аиста — слышишь? — как доделаешь, не смей отдавать! Слышишь, Сотник?! Умру как — поставишь его на мою могилу на Рябинке — пусть меня крылами прикрывает.

Степан как будто намеренно не спешил довершить это свое произведение, тщательно обтачивая, зачищая наждачной бумагой каждое перо. Даже при небольшом дождике он заносил аиста на веранду, остальные же фигуры просто накрывал кусками полиэтилена.

— На зиму я все эти его деревяшки в сарае запираю и ключ с собой увожу, — поведала как-то Фаина нам с Ниной, — иначе все их пропьет, ничего не останется. Он такой: чуть выпьет, и — ой! — беда!

По словам Фаины, приезжая после долгой зимы в Радимичи, она заставала Степана изможденным, оборванным, совсем больным. Как он жил все это время, можно было лишь гадать.

— Как он тут без меня — не знаю. Знаю только, что пьет. Пенсию всю пропивает, так что и есть нечего, — сокрушалась Фаина. — Придет к Пилипычу: «Дай картошки на драники», — просит. А я оставляю ему — пять мешков! Пять мешков на один рот! Куда девает?!

— А при вас не пьет? — поинтересовался я.

— Что ты! Разве я позволю?

— А пенсия?

— И пенсию забираю. Я так поставила вопрос: если хочешь нормально питаться — отдавай деньги все до копейки. А нет — чеши к себе на гору! В развалюху свою. Живи там с крысами. И он все отдает, боится. То было лисички собирал, сдавал и пил на это, — повествовала Фаина. — Но сейчас перестал. А деньги его я откладываю и покупаю ему на зиму муки бидон — знаете, в каких молоко с фермы раньше возили, — и бидон макарон и круп. Ну еще краски просит — рукоделия свои красить, да клею.

— А в доме у себя ты его на зиму не решаешься оставлять? — спросила моя жена.

— Ой, Ниночка, упаси господи! Он пьет — это одно. А другое — что курит. Ой, сколько курит! Я его называю: «живая кочегарка». Идет — и дым следом, как из трубы. Оставь его в доме — он точно дом спалит. Я и тут на веранде не хотела его поселять. Скажут: мужичка себе подобрала, полюбовника. Бабы-то эти деревенские такие зловредные, злые на язык. — Фаина, пожив в городе, похоже, уже не относила себя к деревенским. — Всякое мелют. А того, что мне уж на Рябинку сбираться пора, — этого не видят. Не хотела его брать, но совсем здоровья не стало, одной уже никуда. А больше на деревне и мужиков-то нет, кто бы стал помогать. Вот и терплю.

Она с трудом, вперевалку подошла к газовой плите и принялась помешивать что-то в булькающей кастрюле. Вкусно запахло.

— Готовлю вот Сотнику, мясо тушу, — пояснила она нам. — Первое уже и не варю: сил нет. Еле сижу. Сама вот помидор съела да кефиру и больше ничего не буду — нет аппетита. Сейчас буду давление мерить и таблетку от давления пить.

— И мне таблетку давай! — донесся неожиданно из сеней громкий возглас Сотника, услышавшего, видать, конец разговора. — У меня от твоей работы тоже давление. — Он вошел в избу с мешком, грохнул его на пол у печи.

— Постыдился бы! — огрызнулась Фаина. — Какая у тебя работа! Больше лежишь или в игрушки свои играешь.

— «Игрушки»! Щепу́ вот таскаю, потому что ты каждый день топишь. Мерзнешь среди лета.

Фаина действительно сидела в теплом доме одетая в свитер, толстую юбку, шерстяные носки, накинув на плечи и спину большой серый шерстяной платок.

По субботам, когда Степан готовил баню, Фаина вознаграждала его за труды пивом, купленным в автолавке.

— Пива он выпьет — еще ничего, — как бы оправдывалась она перед нами. — Покупаю иногда. А вот «белой» ему нельзя: совсем дурной после нее. Ниночка, я вас с Сашей прошу: никогда не давайте ему этой балды, — и она выразительно щелкнула себя пальцем по горлу. — Он и без того дурак-дураком, а как выпьет, так — ой!.. Упаси господи!

Заслуженное пиво Степан пил на скамеечке перед крыльцом, в компании своих деревянных существ. Пил он неспешно, с довольным прищуром поглядывая по сторонам.

— Выпей пива! — крикнул он раз мне, как всегда громко и грубовато, когда я проходил мимо их калитки. Для наглядности он поднял за горлышко и потряс темно-коричневую пластиковую бутыль.

— Спасибо, Степан, но пиво я не потребляю, уже говорил тебе.

— Нинки боишься? — понимающе покивал он головой. — Не бойся, она не узнает.

Сказано это было без малейшей иронии, а наоборот, серьезно и сочувственно. Верно, у Степана укоренилось в мозгу представление о матриархальном устройстве человеческого общества. Когда-то, видно, его гоняла мать, потом жена, теперь им командовала Фаина. Получалось, что женщины созданы для надзора за мужчинами.

Когда же я прошел во двор и присел с ним рядом, он пожаловался:

— Купила мне пива два литра и себе почти пол-литра сразу отлила — на лекарство, говорит. «Ты мне покупала», — говорю. А она: «Хватит тебе, меньше пьяный будешь». Такая жадная!

Но я-то знал, что Фаина вовсе не жадная. Сколько раз она предлагала Нине: «Пойди в огород луку нащипай и укропу, картошки молодой вам Сотник накопает». А когда, съездив в город в магазин, мы привезли ей коробку хорошего печенья, она воскликнула: «Ой, Ниночка, зачем? Куда мне?! Нельзя мне сладкое. Ладно, Сотнику дам, он любит».

Степан отхлебнул пива, после чего прибавил:

— Деньги все забирает, рубля не выпросишь. Работаю на нее, как раб, — за миску супа.

— Кто же тебя неволит? — возразил я. — Никто ж не заставляет тебя ей служить. Ушел бы, если так уж в тягость.

— Как я ее брошу, Фаину?! — повернулся Степан ко мне. — Она ж без меня пропадет!

Глотнув пива, он неожиданно заухмылялся:

— Говорю ей: «Вот женюсь и уйду от тебя». А она мне: «Степа, а меня на кого покинешь? Что я буду делать, если ходить не могу?» Фаина без меня пропадет, — убежденно и как будто с ощущением своей тяжкой, но важной миссии повторил Степан. И снова повторил, по своему обыкновению: — Женился бы, да Фаину жалко. Да и баб хороших нет, — добавил, подумав.

Похоже, он и сам в эти минуты верил, что мог бы в любой момент жениться и уйти от Фаины, но что оставался лишь из человеколюбия.

— Ты ведь был женат, — напомнил я. — И где же твоя жена?

— Одна — в своей деревне, другая — в Витебск уехала.

— Удрали от тебя?

— Я сам их прогнал, — нахмурился Сотник, и даже прищуренный глаз обнаружился на секунду и зло блеснул.

— Что, плохие были жены?

— А ну их! — неопределенно отмахнулся он.

А вот Фаина была убеждена, что это Сотник без нее пропадет.

— Сварить себе ничего не умеет, — сокрушалась она при очередном нашем визите. — Ни постирать. Я ему не стираю, конечно… грязь его… я брезглива. Замочу вон в корытце с порошком, а сам уже стирает. А без меня и этого не делал бы. Каждый год одежду ему какую привожу: плащ хороший в прошлый год отдала, брюки мужа покойного. Да и другие деревенские, бывает, отдают, жалеют его. Приеду — а он опять в обносках! Куда девает, не пойму. Дарит кому или продает за копейки — сказать не могу. Сам молчит, не признается, матерится только.

Говоря это, Фаина привстала, болезненно морщась, из-за стола и, отведя занавеску, стала всматриваться в окно.

— Вон куст трясется! — произнесла она сердито. — Это уже ягоду жрет.

— Кто? Сотник? — не понял я.

— Птицы! Сотник, наоборот, гоняет их. Правду сказать, плохо гоняет, ленится. Уж сколь пообъели! Красной смородины вовсе не осталось. Теперь черную вон жрут.

В следующую минуту послышались громкие хлопки ладонями и свист.

— Дрозды эти драные опять смородину клюют! — донесся сварливый возглас Степана. — Если бы я их не гонял — ничего бы уже не осталось, ни одной ягодки!

Степан действительно гонял птиц, но толку от этого, на мой взгляд, было немного. Пока он свистит и хлопает ладонями в одном конце двора, дрозды, точно издеваясь над ним, нахально трещат и клюют ягоды в другом конце.

— Оглоеды! — топает ногами Сотник. — Ружья на вас нет!

Нередко, стоя посреди двора, Степан кричит в сторону соседнего дома (с дальней от нас стороны):

— Давно этого черта не видно лысого! Не выходит! Боится! Фаину боится! Украл дрова — теперь не выходит.

Зимой у Сотника была обязанность (вероятно, добровольная) присматривать за Фаининым домом. И вот, по его словам, однажды он застал соседа Петра бродящим по Фаининому участку.

— Я ему: «Ты что тут ходишь? — рассказывал он в десятый раз. — Что ты, черт, вокруг чуждого дома выхаживаешь? Что ты тут высматриваешь?» А он: «бу-бу-бу» — и все. После того дрова из сарая и пропали. Он уволок, больше некому. Не зря высматривал. Погоди, Фаина тебе пиндюлин-то задаст за дрова! — проорал он в расчете, что подозреваемый услышит. — Возьми еще хоть одну палку — получишь пиндюлей!

Но все было тихо на соседском дворе. От нелюдимого, действительно практически не выходящего за пределы своей территории соседа я ни разу не слышал ни слова в ответ на Степановы обвинения.

— Да, такой это человек нехороший, — подтверждала Фаина. — А может, и на голову больной. Ни с кем в деревне не здоровается, в автолавке ничего не берет, сам все из магазина на велосипеде привозит…

Последний довод, похоже, был для Фаины особенно убедителен.

— С палкой ходит, с клюкой, — добавлял Степан. — Станет нормальный человек с палкой ходить? Боится, что его за дрова отмутузят. Здоровый бугай, а меня боится. Я ему прямо сказал: только сунешься к Фаининому дому — я тебе задам!

— Про дрова я, правда, не уверена, — высказалась вполголоса Фаина, когда Сотник вышел из дому. — Не пойман — не вор. Может, и сам Сотник на водку обменял, кто знает? От него всякого можно ждать.

Нам нравилась здешняя спокойная, простая жизнь. Нравилась тишина. Бывало, я даже просыпался среди ночи от этой непривычной, необыкновенной тишины. Разве что мышь прошуршит где-то за обоями да мотылек забьется, застучит мягко о стекло, и снова тишь. Старый дом по-своему, по-деревенски неспешно отсчитывает ползущее время. Я вдыхал запах этого старого жилья — пыльный запах сена, набитого под кровать, рассохшегося дерева, половиков. И лежа так в темноте, думал порой про Степана и Фаину, про то, как они ругают друг друга и как друг в друге нуждаются. Вот оно, человечество в миниатюре…

Однажды ранним утром (Нина еще спала) я расслышал с улицы какие-то повторяющиеся охающие или стонущие звуки. Вышел: у калитки стояла, тяжело дыша и опираясь одной рукой на столбик, а другой держась за сердце, Фаина.

— Ой, скорее! — простонала она. — Скорее: помрет!

— Кто помрет? — сразу не понял я.

— Сотник. Прибил он его… Сотника моего. Петька-сосед… совсем прибил.

Опережая с трудом, вперевалку двигающуюся грузную Фаину, я почти бегом припустил к ее дому.

Степан, серый, небритый, похожий лицом на прошлогоднюю картофелину, сидел у крыльца, опираясь локтями на ступеньки и вытянув по земле ноги в своих разномастных сапогах. Глаза его были — один, как всегда, прищурен, другой полуприкрыт, но оба странно неподвижные. Никаких видимых ран я на нем не обнаружил, не считая круглой шишки на затылке.

— Палкой он его приварил, — разъяснила подошедшая Фаина, — клюкой своей. Степка застал его, как он, разбойник, бидон из бани алюминиевый волок. Ой, господи, неживой совсем! Я уж «скорую» по мобильному вызвала. Милицию надо вызвать еще.

— На кой черт твоя милиция! — проворчал вдруг, поморгав глазами, Сотник. — Я ему тоже, знай, таких пиндюлин задал! Сидит сейчас, небось, стонет.

— Ожил, слава тебе, господи! — сложила на груди пухлые руки Фаина. — Я уж думала: не жилец мой Сотник.

— «Думала»! Сколько тебе говорил: запирать баню следует. А тебе денег на замок жалко!

— Твоя правда, надо повесить замок, — угодливо согласилась Фаина, но тут же возразила себе: — Да когда ж такое было, чтобы баню запирать! Дожили!

Позднее Степан рассказал, что его верный Мухтар почуял происки врага на расстоянии.

— Гавкает да гавкает. «Что ты гавкаешь, волчина?» — говорю. А он на меня смотрит да рычит, да рвется. Вот какой пес! — с гордостью произнес хозяин. — Молодец! Умный пес. Он Петьку этого давно не любит.

Врачи «скорой» установили, что помимо легкого сотрясения мозга у Сотника имеются более серьезные недуги.

— Нина, у него давление такое!.. — восклицала, округляя глаза, Фаина. — Не поверишь! Сто восемьдесят на сто пятьдесят! И пульс восемьдесят. Я обалдела просто! Сказали: тяжелое ему нельзя таскать. Я ему давно говорила: по полведра носи. Так разве он слушает? Я ему: «Сотник, ты что делаешь?!» Я прямо матом на него! А ему, дураку, все не доходит — таскает полными ведрами. Дала ему от пульса таблеток — так у него давление от них еще выше. За черникой теперь уж не хочу его отправлять, боюсь.

Фаина после этого происшествия стала трястись над здоровьем своего работника.

— Два раза сегодня ночью выходила, все спрашивала: «Не холодно тебе, Степа?» — самодовольно рассказывал всем встречным Сотник. — Да что мне сделается! Сама под двумя одеялами спит, а мне и под одним нипочем. Какой летом холод?!

Жители деревни сочувствовали Сотнику и проклинали и без того всеми отвергнутого Петра.

— Все мне: «Степа, как ты? Степа, как ты?» — не без удовольствия делился со мной Сотник. — А что?! Я плохого никому не делаю. Потому и люди ко мне так. Я не как этот лысый — по чужим баням да сараям не лажу! — прокричал он уже во все горло, чтобы слышал его враг. — Ишь, затихарился! Сидит, как бобер в норе, носа не кажет. Бидон хотел слямзить. Я тебе слямжу! Спасибо скажи, милицию не вызвали, а то получил бы тюрьму! Пожалел я его, — признался мне Степан уже не столь громогласно. — Разве это дело — соседа сажать? Да какой ты сосед! — снова заорал он. — Хер ты, а не сосед! Надо было вызвать. Да пожалел, вишь ты… — словно дивясь самому себе, этой своей мягкости, повторил он.

Короткий наш отпуск окончился. Вот уже и дом заперт, и вещи уложены в машину. Осталось зайти к Фаине попрощаться.

— Давай купим что-нибудь из Степиных поделок, — предложила жена, пройдя во двор. — Вот эту лягушку, например. Какая она смешная! А еще лучше — аиста. Он замечательнее всех получился. Такого — хоть в музей.

— Во-первых, он еще не доделан, — охладил я супругу. — Во-вторых, Фаина просила никаких денег Сотнику не давать, чтобы он не напился. А в-третьих, Фаина сама облюбовала этого аиста, просит поставить его ей на могилу.

— Ну, это она, наверное, несерьезно, — предположила жена. — Рано ей еще на тот свет собираться. И она же понимает, что такого аиста сразу стащат.

— Может, и понимает, может, и несерьезно, а все же нам тут вклиниваться негоже.

— Пожалуй, — согласилась Нина. — Ну, тогда что-нибудь другое. Вот хотя бы ежа. Как он сумел его так сделать? Колючки выточить… и покрасить каждую — наполовину серым, наполовину темно-серым. Это же сколько труда! А давай мы ему что-нибудь за ежа подарим, раз уж деньги ему нельзя. Дождевик твой! Ты говорил, он тебе тесен.

Так с нами в город поехал этот рукодельный Сотников еж.

А сам Степан, провожая нас, стоял на дороге в ярко-синем пластиковом плаще (хотя с неба едва накрапывало). Плащ сидел на нем широким колоколом.

Как позже мы узнали, дождевик этот так же загадочно исчез, как исчезали у Степана и другие вещи, про которые упоминала Фаина.

Уезжать было почему-то грустно. И все стояла перед глазами неказистая фигура Степана в синем дождевике.

Мы ехали молча, и по сторонам проплывали голые выкошенные луга и сумрачные перелески.

Зимой мы не единожды звонили Фаине, справлялись о ее здоровье. Она жаловалась на болящие ноги и поясницу, на прыгающее давление, на плохой аппетит. И все вспоминала деревню, Радимичи. Как там дом без нее? Как Сотник, не спился ли совсем, не пропал ли?

По весне, однако, в деревню она не поехала: слегла. А осенью ее похоронили на Рябинке (по ее на то указанию и на отложенные ею для этого деньги). Дальнему ее родственнику, что возил ее из города в деревню и обратно, перешла ее квартира, а дом, как стало ясно из завещания, она передала во владение Степану Сотнику.

Мы в то лето в Радимичи не ездили и о последующих событиях узнали только через год от тамошних жителей.

Рассказывали, что Степан, узнав о смерти Фаины, пил, не просыхая, несколько дней. Пьяный, расхаживал по деревне, предлагал всем выпить за упокой души умершей и, потрясая ключами, похвалялся, что Фаина, дескать, никому другому, а именно ему, Степану, оставила дом и все хозяйство. Наконец протрезвев, измятый и больной, он обнаружил, что пропил не только очередную пенсию, но и весь запас дров, оба алюминиевых бидона, телевизор и все свои резные фигуры, прежде запертые в сарае.

Два дня, говорили, он ходил мрачный, ни с кем не разговаривал, а на третий день отправился в соседнее село, куда, во двор некоего ценителя народного творчества, перекочевали его изделия. Как долго велись и на каких условиях завершились переговоры, точно не известно, а только вернулся Сотник с аистом.

Аиста он отнес на Рябинку, поставил его у могилы Фаины и ушел из деревни со своим косматым Мухтаром. Никто о нем ничего больше не слышал.

Аист же, понятное дело, не простоял на кладбище и недели. Как будто спорхнул и улетел. Но ведь и приносимые на могилы живые цветы тоже недолго стоят — истлевают.

Уже гораздо позже, через третьи-четвертые уста, дошел слух, что кто-то, дескать, видел похожего, тонкой работы аиста в селении за восемьдесят километров от Радимичей. Хотя, возможно, это и не тот аист, а другой, совсем другого мастера-самоучки.

Тянет дед репку

— Устала я. Очень устала. А тут гости приехавшие. Здоровья нет, а надо топтаться.

Варенье вот утром варила, сливовое — Петро просил: «Свари, мам, как раньше». Ой, замучилась! Отвернулась на минутку, а оно взяло да на плиту убегло. Дыму! Дыму наделала на всю хату! Открывала тые двери, ети двери,

сквозняком выгоняла. Плита вся обгорелая, надо ножиком отскребать. Ладно что руки-ноги себе не обшпарила. Даже загорелося на плите. Хотела кричать, да хлопцев нема нико́го: на речку поехали. Трохи водички плеснула, доварила. Завтра Петька поедет — литровочку ему подам. Да Толику, чтоб ты тоже покушала зимой. Огурцов вон собрала вам ведерочко, да картошки молодой, да луку надергала.

Все нынче приехавшие, все мои: и Леня приехав, и Петро, и Толик-внук с Людой и с тобой, и Миша с Галей. Семь человек! А я ж не сижу, не гляжу на вас всех — то тое, то тое. Выдохлась вся. А ляжешь — все гудит, кости все. Все, все гудит! Чую, не пережить мне ету зиму. О-хо...

Попрошу вот Толика картошки подкопать, чтоб сварить на вечер. Толя-я! А, Толя! Нету, убег. Ушов, видать, по грибы: «Схожу, бабушка, може, який гриб найду». Пошов, значить.

Дал мне Господь одних хлопцев, сынов одних. У моей мамы четверо деток було, и я одна девчинка, все другие тож хлопцы.

Коли б не тая война...

Месяц было Лене, як война началась. А Пете было три годы, а Мише было одиннадцать, а мне было пять годов. После Миши и передо мной двое деток у мамы умершие были: Сережа быв умерший и девочка Шура. Маленькие зовсем.

Батьку в сорок первым забрали, и он не вернувся с фронта, погиб. Мама осталась с четырма детьми одна. Таких много тогда було. Ай, не дай Бог!

Кошка пришла. Иди, Марфуша, я тебе молочка налью. С автолавки принесла ей молока. Тольки подливай! Тольки подливай! Котятки у ней серые — такие, як мама. Ей я больше подливаю, что она кормит.

Ой, не дай Бог тая война. Сколь всего пережили, не сказать. Кому расскажешь? Хлопцы все время занятые, что им меня, старуху, слушать? Разве ты послушаешь...

Да, много чего пережили. Помню, як немцы в деревню пришли. Я и мама — шли мы за водой. Мама шла за водой, а я з ей, с маленьким ведерочком. Такое: дед тянет репку — нарисовано. Такое ведерочко. Я гляжу с горки: «Мама, вон собачки бегуть». А то не собачки, то немцы на мотоциклах едуть. Пока мы вернулись с водой в деревню — а там уже крик. Страх, якой крик! Гвалт. Скот сгоняют с хлевов — коровы еще были не угнанные — и коров тех режуть... отут прямо режуть; свиней и курей режуть, и овечек тянуть. Бабы ревут, коровы ревут... Горе. Не сказать, якое горе!

Налет той сделали и уехали. Позабрали все ето, машины пришли за ними — позабрали и поехали. А людей пока не трогали. А тоды уже, как партизаны объявились, стали и людей тормошить. Что ты думаешь? Стали тормошить людей. Тоды и нас... Пришли в деревню, давай всех с хат выгонять. А люди стали разбегаться — хто в кусты, хто в лес. И мы в лес. И деревню нашу — як раз в сорок вторым году то було, в ноябре месяце, — спалили.

Мы были в кустах, лежали в лесу, плакали. И мамы наши плакали (там не одна наша семья была, там много було). Женщины, старики плакали, як деревня горела. А мы... тоже плакали, тольки нас, детей, вниз лицом клали, в землю, чтоб слышно не було. Чтоб немцы не прийшли. В землю, вот так. Это я помню.

А тоды, як сожгли деревню, — идти некуды. Тольки в лес. Кто под корчом вывернутым, кто в яме якой — прятались. Так и скиталися, пока нас не поймали. А что там нас поймать? В деревню сгорелую ходили. Мама ходила, Миша ходив, брат мой старший. Надо ж було картоху якую найти, принести

нам есть. У мамы быв горох закопа́ный — гороху того достать. По жменьке... дасть по жменьке горошку того — поедим и все. Сухого, не ва́реного ничо́го. А картошину ту... костерок где разведешь, обуглишь: не то спеклася, не то сгорела. Вот так и жили, поколь нас не поймали. А что им: зима ж, следы... Пошли по следам да и нашли. Ну и согнали нас. Где Фрося после войны дом строила — ты не знаешь, — там большой дом быв, довоенный. В одной половине кони стояли, а в другой была кабала — беженцы сидели, пленные и такие, як мы. И мы там были, в доме том. И никто не знал ничо́го. Что с нами сделают — нихто не знал. Некоторые люди под полтора месяца сидели там, в кабале той. Не знаю, что мы и ели. Може, давали якую корочку. Шесть годов мне тогда було.

Вот вывели нас с дома того. Вывели — и большаком. Погнали и погнали. Не помню, что у мене было одетое. Помню, платье такое вытканое, шерстяное. И я ходила в этом платике. А что на ногах було — не помню. А зима, а снег!.. И вот маму, и Леню этого маленького, и Мишу, и меня, и Петьку — и нас, и всех людей — по большаку до города. Погнали. А туды машины подошли. И нас на машины поскидали. Ребят через борт, як дро́ва, кидали. Попадешь на ноги, на руки — попадешь, а ударишься — значить, ударишься. Кто там жалел?

Иди, кошка, выпущу тебе. Иди, Марфуша, погуляй, моя хорошая. Кажись, Миша с Петром пришли. Миша, то ты?

— Ма, у тебя где тряпка — машину помыть?

— В сенях погляди, Миша, на ведерке.

Что я говорила? А! Ну, повезли нас. А машины открытые. Мы, дети, к матуле прижимаемся, трусимся с холода. Везли нас, везли и завезли в большой лагерь. Людей! Ой, скольки там було людей! И всех в барак затолкали. Помню, кровати там были с досок тремя этажами. Такие кровати. И ни едно́го одеяла тобе. Вот так. Как хочешь. В голоде жили. Придут немцы, выберут кого из мужиков и на поле погонят — капусту померзлую сбирать. Из той капусты варили нам — суп не суп, похлебку не похлебку — то и ели. Леня маленький наш в том бараке умер. Совсем ребеночком умер.

Потом с того лагеря нас — кого куды. Мы попали в Латвию. Там, в Латвии, хозяева помещики стали нас разделять меж собой. На работу брать. А тых, которые с малыми детьми, не беруть. И нас не беруть: трое детей — их же ж кормить надо. Думали разделить семью. А мама обхватила нас, прижала вот так и не пускает. И один хозяин забрал нас... пожалел. Посажал нас на телегу, а детей привязал веревкой, чтобы не попадали на дорогу: слабенькие были. А как поехали — мы плачем, пить просим. А он все молчит, все равно как немой. Языка нашего не понимает. А тоды як понял — стал коло речки... время весеннее — принес воды. И хлеба из мешочка достал, сала достал, порезал. Накормил нас. А як в деревню ихнюю приехали, стали люди сбираться — глядеть на нас. Дети ихние прибегли. И — кто хлеба, кто пирожка кусочек нам подают. На окошке целу горку наложили.

Вот и стали там жить. Спали на соломе: солома в сарайчике была наложена — постель наша. Мама в поле целый день до вечера. И Миша так само. Мы с Петькой кур кормили, поросят, в хате прибирали. А под конце войны нас освободили. Красна Армия пришла и освободила. Домой нас повезли, по железной дороге. Вагоны такие: ни тебе оконца, ни тебе свету — ничого не ведаем, где там что. А Миша заболевший быв, дизентерией. На станции его в больницу забрали. И через неделю не стало нашего Миши, схоронили.

Пришли в деревню свою — ничого нет, все сгоревшее. Землянки копать стали и в тых землянках жили. На полях ничого не посеяно, одна трава. А в траве той и в лесу — убитые, всюды убитые. И наши убитые, и немцы. Сколь уж годов прошло, а прямо як теперь вижу: солдат под деревом сидит, а глаз не мае — дырки заместо глаз. И пахнет уже от йих. Потом их посбирали. А поколь не посбирали, мама из шинелей немецких одеяло пошила. Петька на него ругался, на одеяло тое: «Фашистами воняет, не хочу!» Не хотел под йим лягать. Ну вот, а взрослых на работу услали — хто не старый и не малый, — лес грузить на станции. И бревном нашу матулю и привалило. Бревно, упавшее з вагона, придавило ее. Мне було тогда девять годов, а Пете семь. И без мамы. А голод був — ой, какий голод! Спаси Господи! Я меленькая всегда була, худе́нька — много не ела. А Петро, братик, — той с голоду с того умер. Вот так. Вот так и осталася одна я в белым свете. Одна в целым свете!

— Ба-а, ужинать-то будем? Я грибов принес.

— Будем, Толик. Сейчас приду пожарю, потерпи трошки.

Видишь: сердятся. И то: гости мои некормленые.

Вот оно як було. Такая жисть. По милости Божией взяли люди добрые меня, сироту, в дом. В школу пошла. А там як сама выросла да своими детками обзавелась, так и назвала йих, як братики мои звались, — Петром, Мишей да Леней. Они вроде заместо их теперь.

Ладно, ангел мой, пойду. Варить надо, грибов пожарить... Э-ге! Да ты и не слушала ничого, девчинка! Не слушала? Рисовала? Скучно тебе про бабино давнишнее слушать? То-то, что скучно.

— Бабушка Нюра, смотри, сколько я раскрасок раскрасила! Правда, красиво? Смотри: это дед тянет репку. Репку я желтым фломастером покрасила. Мне мама эту сказку читала. Тянет-потянет. А вот он позвал внучку и Жучку... Бабушка, почему ты плачешь?

— Плачу? То я от радости, милая. От радости. За тебя, Аннушка, радуюсь, вот и плачу.

Долбень

«Зачем он меня позвал, сказать затрудняюсь. То есть, с одной стороны, как бы понятно: как раз перед тем, позавчера то есть, умерла Галина, наша с ним однокурсница. В прошлом. Повод вроде как имелся. Неясно только, при чем здесь я. Ну да, Галина была одно время мне женой, не отрицаю, но мы давно разбежались, так что я про нее и думать забыл. Кто она мне?!

А он, видишь, собрался это дело как бы отметить… Я имел в виду: помянуть. Почему со мной? Понятия не имею. Считал, наверное, что я знал ее ближе других.

До этого, между прочим, лет мы с ним десять не виделись. И не связывались никак, хотя номер телефона моего у него, как выяснилось, имелся. Нет, вру: разок все же столкнулись. В метро. Случайно перехлестнулись. «Здоро́во». — «Здорово». И в разные стороны.

А тут встретил меня прямо как родного, как лучшего друга. Обнял и минут пять не выпускал. Такие сантименты… И что на него нашло?

Прежде, скажу прямо, он меня не жаловал. Еще в студенческую пору не жаловал. Вернее сказать: терпеть не мог. И я его. Хотя в одной комнате жили. Бывает же такое…

Он у нас умником слыл. Учился без напряга, во всех компаниях всегда он в центре. Привык все на ша́ру получать — и женское внимание, и отметки. За счет одних природных данных. Надо мной любил поизмываться. Кликуху мне придумал обидную: Долбень. С намеком, что я науки долблю, как дятел, а сдаю все одно на трояки. Полная, мол, посредственность, примитив. Нет, зла большого я на него не держал, хотя… кому такое понравится? Он, Женька, покрепче меня тогда был, спортом занимался, так что в драке — схлестнись я с ним — мне ловить было нечего. Но я в долгу не оставался. Тетрадь с лекциями у него, к примеру, стащу и изничтожу. А потом спрашиваю как ни в чем не бывало: дай твои лекции посмотреть. Он ищет, все перероет — нету! А я виду не подаю, хотя в душе — праздник. А как-то раз поджег его сумку. Не собирался вроде поджигать, но так вышло. Сунул в нее окурок, покуда он, Женька, на площадке волейбольной развлекался. А барахлишко его и загорись! Впрочем, и не горело оно толком, а так, больше дымило.

Словом, стремно мне было, что он меня обнимает. Неприятно даже. Я бы первым никогда его не обнял. Видать, нужен ему был кто-то в сочувствующие. Чтобы в чью-то жилетку, как говорится, слезу пустить. Или чтобы кто-нибудь с ним вместе пустил. Он ведь неравнодушен к Галине был. К последнему курсу так вообще запал на нее. Все парочкой ходили, как школьники. Но то другая история…

В общем, после объятий на остановке переместились мы к нему. Почему я согласился? Сам не пойму. Поддался… А еще любопытно стало, к чему этот наш междусобойчик приведет. Можно ли совместить несовместимое?

Квартира у него видная, у меня такой никогда не было. На столике карликовом — бутылка водки ноль-семь, закуска кой-какая, не скажу, чтобы богатая, но все тип-топ, видно: заранее подготовился.

Сели. Он налил и молчит. Сидим, в стол глазами уперлись. Чего ждем? Наконец берет стопку (пальцы, смотрю, подрагивают, как у алкоголика).

— Давай, — говорит, — за Галю. За *нашу* Галочку. Мы с тобой знали, — говорит, — какой она была.

Еще бы мне не знать, какой она была! Почти три года прожили в статусе мужа и жены. Но если честно — ничего особенного. Баба как баба. Красивая, этого не отнять, требующая внимания. А еще эти вечные придирки, капризы, игра в молчанку… К тому же зарабатывала больше моего, вот ее и распирало. Да и в постели, если уж на то пошло, не фонтан, прохладная какая-то…

Ему-то, Женьке, я, понятное дело, этого излагать не стал. Он-то ее, конечно, чуть ли не ангелом считал.

…Так вот. Полбутылки, можно сказать, выдули молчком. Тут Женька не то вздохнул, не то всхлипнул:

— Виноват я перед ней, — говорит. — Это я ее, — типа, — в гроб загнал. Жизнь ей исковеркал. А себе уж подавно!

Как это понимать? Как это он ей на расстоянии жизнь исковеркал? А себе? У самого — семья, дочка, квартирка нехилая, карьера задалась… в отличие от меня. Ему ли жаловаться? И не в его характере это — слабину показывать. Хотя изменился он сильно, с тех пор как не виделись. Прежде таким гонористым был!..

— И перед тобой, — продолжает, — виноват, у тебя тоже ведь семейная жизнь не склеилась.

— Э-э, погоди, — говорю. — Ты за себя базарь, а меня нечего прибеднять. Думаешь, если для тебя я Долбень, то и жизнь у меня на одни трояки? Нормально у меня все. Развелся — и что с того? Все разводятся. Другая у меня

сейчас женщина. Вулкан, а не женщина, по сравнению с Галиной, хотя и не молодуха. И без всяких этих претензий, что важно.

А он меня как будто не слышит. Знай свое бубнит. И так по его словам выходило, будто он всю жизнь, даже женатым, только о ней и грезил, о Галке то есть. И что проклинает он тот день, когда влепил мне плюху и назло Галке стал встречаться с Ликой.

«Завышенная самооценка». Так, кажется, это называется. Он даже не допускал мысли, что моя роль могла быть решающей.

Если коротко, то он в тот день в который раз выставил меня перед всеми дураком. Я анекдот рассказал про отличников. Без всякого намека… почти. Это про то, что круглыми бывают только отличники и идиоты.

А он:

— Не согласен. Идиоты должны быть квадратными. Как и дураки. Потому как идиот — это дурак в квадрате, а дурак соответственно — корень квадратный из идиота.

Толпа угорает. А меня зло взяло.

— Что ты, — говорю, — все умничаешь? Анекдот испортил. Сам ни одного анекдота не знаешь, а лезешь.

А он:

— Анекдот — это юмор за чужой счет.

Типа: долбень, квадратный дурак, да еще и без юмора.

Вот поганец! Ладно, думаю, будет тебе юмор.

Вечером танцы в холле второго этажа, самый разгар. Я Женьку отзываю: дескать, тебя на вахте кто-то спрашивает. А сам быстренько Галку подхватываю танцевать. Через минуту вижу: Женька у стенки в позе тигра. Вот-вот набросится! Тут музыка кончилась. Галка только было к нему, а я ее — цап и не отпускаю.

— Галочка, милая, — шепчу, — еще один танец. Понимаешь, у меня сегодня день рождения, и никто не вспомнил, не поздравил. Подари мне один только танец!

Уболтал, словом. Позднее она не раз допекала меня с этим «днем рождения»: как я мог так бессовестно врать? А что, скажите, мне оставалось? Должен я был за себя отплатить?

Ладно. Танцуем. Обстановка накаляется. Галина тоже вся напружинилась, беду чует. Опять танец кончается, она от меня, а я — хлоп перед ней на колени и как в театре:

— Галочка, ты прекраснейшая из женщин! Прошу: стань моей женой!

Все нас обступили, хмыкают. Галка в меня молнии мечет, как реагировать — не знает. И тут чувствую: кто-то меня приподнимает за шиворот (понятное дело — кто). Поворачиваюсь и вижу нацеленный в меня кулак — крепкий такой кулачина, заведенный для удара. Если бы он меня тогда припечатал, меня б реально в больницу увезли. Но он посмотрел на меня, на Галку перепуганную и вместо нормального удара — хлесь меня ладонью по носу. Не так чтоб уж сильно. Но я, не будь дураком, плашмя посреди холла брякнулся. А тут еще удачно кровянка из ноздри побежала (у меня с детства нос слабоват). Все это сыграло мне на руку: Галка на него вздыбилась, поперла на него даже:

— Ты что себе позволяешь?! Ты кто такой?! Зачем ты его ударил?!

И остальные гомонят: сбрендил, мол, шуток не понимает. Да, плоховато у вас с юмором, остряк вы наш!

Остряк, ни слова не говоря, повернулся и — адью. Уходя, еще и пальцы об штаны вытер, как если бы о дерьмо вымарался. А она помогла мне встать, кровь мне промокнула платочком. И весь вечер со мной протанцевала, хоть у меня нос припух и видок я имел не самый прикидистый. Ну, может, и не весь вечер, но еще танца два-три точно.

А на другой день — я видел — он Галке назло отправился на променад с Ликой.

Лика еще посимпатичнее Галки была, но я-то знал: Лика эта ему нафиг не нужна, хотя сама она на него давно зарилась. Вообще, многие бабы от него млели.

Ну, тогда я решил закрепить успех — вечерком к Галке с тортиком закатился — типа, на чаек. Она — в халатике, вся такая душистая, сексуальная… Не сразу и впустила, поломалась для вида: одна, понимаешь, соседка к матери уехала. До полуночи у нее заторчал. Галка уж зевает — с намеком на позднее время. А я: ну, еще минут десять дозволь, а то мне деваться некуда, в комнате Женька с Ликой заперлись. (Может, они и в самом деле заперлись — я ж не проверял.)

— С Ликой?! — подскочила она. — Ах, с Ликой?!!

Красивая она была в гневе, от злости даже слезы на глазах. Ресницами моргает. Попал я в точку, одним словом. На прощанье она мне и говорит:

— Леша, ты ко мне хорошо относишься?

— Еще бы, — отвечаю. — Много более, чем просто хорошо!

— Если так, выполни для меня одну просьбу… — и прямо буравит меня взглядом.

— Для тебя — хоть в лепешку!

— Скажи Жене… без посторонних… Нет, ничего не говори. Нет, скажи: пусть он зайдет ко мне. Завтра же! На одну минуту. Для меня это очень важно. Я должна понять! Выполнишь?

— Сто пудов! О чем речь!

А сам… Кто-то скажет: вот гнус, но меня будто с горки понесло, не остановиться, да и как еще я мог с ним поквитаться за все?.. В общем, говорю Женьке: Галя, мол, просила передать, чтобы ты к ней и близко больше не подходил.

— Она ТЕБЯ просила это передать? ТЕБЯ?! — почему-то это его больше всего взбесило. — Тогда вот что: передай ей, что я и не собирался к ней навязываться. Вот дура!

Ну, это я передал добросовестно — слово в слово.

Но вчера — клянусь — я ничего этого ему не рассказывал. Зачем мне себя подставлять? Зато он — никто его не просил — всю подноготную передо мной вывалил. Как он страдал без нее, как понял, что замены ей нет и никогда не будет. Признался, что после нашей уже с Галкой женитьбы решил с ней встретиться и любой ценой, дескать, все исправить. Прыткий какой! Выведал через общих знакомых телефончик (мобильники тогда еще редкостью были)…

Тут я его перебиваю. Помню, говорю, те два твоих звонка.

По правде, я тогда не был уверен, что это именно Женька звонит, но на всякий случай сказал, что Галина в отъезде (хотя она в ванной торчала). А во второй раз я как бы уже вышел из себя: «Да нету ее, в Германию уехала на год!» И трубку шмякнул. Словом, не дал им за моей спиной снюхаться. Так-то вот, умник!

Но раз уж такое откровение пошло, рассказал ему и еще кое-что. Рассказал, как однажды между делом ляпнул ей, что, дескать, виделись с Женькой

в метро. И как она в лице вся переменилась. Обвяла вся. Голову опустила и спрашивает еле слышно: и как, мол, у Жени дела? Отлично, отвечаю, лучше не бывает! Доволен жизнью, от жены без ума, дочку свою просто обожает!.. (Про дочку я не помню, от кого узнал.) Тут она словно поперхнулась. Кашлять начала и в ванную сбежала. И полчаса не выходила.

Когда я ему это, значит, выдал, он проглотил стопку водки, меня не дожидаясь, и тоже чуть не подавился. Встал, отошел к окну, стоит и вздрагивает (или с кашлем борется), а сам как пес побитый. Мне даже жалко его малость стало. Он перед тем тачку свою новенькую продал — мне однокурсницы звонили, рассказывали. Башли все врачам отнес — Галке на операцию. Хотя сразу было ясно, что это бесполезняк. Врачи так и сказали: шансы близки к нулю. Жена от него с дочкой к матери своей сбежала, потому как он, Женька, семью, видать, забросил, с утра до ночи в клинике пропадал. И все это коту под хвост. Все без толку…

Вот он и притух. Куда и гонор былой подевался. Мне даже подумалось, что вот сейчас *он* — Долбень и троечник, а я круглый отличник.

Стоит, в общем, трясется. А потом поворачивается ко мне и злобно так глазища в меня вперивает. С ненавистью даже! Кажется, убить готов, кулаки стиснул. Прямо как тогда, когда я танцевал с Галкой. На себя, наконец, похож стал. Еще немного, я думаю, и он бы меня точно пришиб. Но ничего: взял себя в руки. Даже улыбочку кое-как изобразил.

— А знаешь ли ты, — говорит, — что мы все-таки виделись с ней, с Галочкой? Виделись! Позднее. Перед самым, наверное, вашим разводом. Хотя до последнего времени я не знал, — говорит, — что вы развелись. Так вот, — ухмыляется, — мы с ней виделись. С Галочкой моей. Более того, — говорит, — мы провели вместе ночь.

Врет, думаю. Чтобы мне досадить.

А он дальше:

— Бродили, — дескать, — всю ту ночь по городу, разговаривали, а больше молчали, а под утро зашли в гостиницу, и Галочка прилегла на час вздремнуть, а я, — говорит, — сидел рядом. Сидел и слушал ее дыхание. Эта ночь, — заявляет, — и есть моя жизнь. Вся моя жизнь в ней.

Якобы утром он умолял ее остаться с ним навечно. А она уперлась: не могу лишить твою дочь отца. Мол, слишком далеко они оба ушли с тех пор разными дорогами и все такое. Но что, кроме него, никого она не любит и не полюбит.

И я все это, значит, слушаю. Какой мужик, спрошу, станет такое терпеть?

Я, значит, тоже встаю.

— Так вы что же, — говорю, — устроили случку за моей спиной?! Как же — дыхание ее ты слушал! Будешь мне впаривать! «Бродили всю ночь по городу»! Да ты всю ночь с моей Галкой рога мне наставлял! В гостинице той. Для того меня, видать, и позвал, чтобы сообщить об этом. Еще раз мордой ткнуть! Был, дескать, просто Долбень — стал Долбень-рогоносец!

Сказал бы он по-человечески: да, Леха, так уж вышло, виноват, бес попутал — я бы, может, и поостыл. Все-таки дело прошлое, и с Галкой мы давно не живем… и сама она, кстати, уже того… не жива… А он вместо этого как заорет (глаза выкатил, весь трясется, точно психопат):

— С ТВОЕЙ Галкой?!! С ТВОЕЙ?! — кричит. — Да никогда она твоей не была, грязный ты тип! Запомни: никогда! Она всегда была моей, хотя и жила с тобой. Это я так думал, что она немного все же была и твоей, потому

и пригласил тебя, но сейчас вижу: врешь! Ты ей никто! Даже сейчас она моя! Я вдовец, а не ты! Я вдовец!

И нагло так на меня смотрит. Как раньше — смотрит — победителем. Тут все во мне точно взбурлило, все обиды прошлые. Опять, значит, я Долбень и об меня можно ноги вытирать?!

— Ты трахался, — говорю, — с моей тогда еще женой и при этом еще гонишь, что она всегда была твоей телкой?!

Тут он прямо побелел весь.

— Как? Как ты ее назвал?! *Ты*? *Ее*!.. *Память о ней*!..

И тут я усек, куда он метит. На пустую бутылку. Да, именно на нее он смотрел, голову на отсечение даю. И ясно, с какой целью.

Но он ничего не успел, потому как я первым схватил эту бутылку (чуть-чуть только в ней оставалось) и долбанул его по тыкве… извините, по голове. Да, вот так: сверху и немного сбоку.

Уклониться? Да он и не пытался! Может быть, даже сам подставился.

Да, случалось мне видеть, как людей бьют бутылкой по башке… по голове то есть. Но, признаюсь, ни разу не видел, чтобы от бутылки при этом отлетало донышко. А еще не видел я ни разу, чтобы человек после такого удара, падая, продолжал смотреть на тебя. А этот смотрел, да так уперто: моя, мол, Галка, и точка!

Я, как уже докладывал, пытался оказать помощь — тряс его, минералки бутылку на него выплескал, но он так и не прочухался. В студенчестве здоровяком был, а тут слабоват оказался — сразу дух вон. Ну и я малость перестарался, не отрицаю. Состояние аффекта, сами понимаете… А что мне оставалось? Ждать, когда он меня отоварит той же бутылкой? И кто меня довел? Кто затащил меня к себе? Кто вообще изгадил мою жизнь?! Кто, я спрашиваю?!

Вину свою не признаю.

Нет, погодите. Минутку. Лучше так: вину свою признаю *частично*, в содеянном искренне раскаиваюсь. Так вот и запишите».

Валентина ПОЛИКАНИНА

Земной оберег

Лето в деревне

Компания проста:
Катюша, Рая, Сашка…
Жизнь — с чистого листа,
И души нараспашку.

Вихрасты облака
И ясноглазо небо!
Кувшинчик молока,
А с ним — краюха хлеба.

Проделки детворы
До синяков знакомы.
Качаются миры
Над бабушкиным домом.

Всем яблоням гроза,
На прыть сдаю экзамен —
Девчонка-егоза
С печальными глазами.

Уют, такой родной,
Судьбою не нарушен.
Все живы, все со мной.
Светло… И зреют груши.

* * *

Дом, заборчик, цветастый платочек,
Обозначены сердцем пути.
Есть Орловщина — в памяти точной, —
Хоть на карте ее не найти.

Заюлил, зажужжал и затенькал
Белый день. Васильки зацвели!

Мне казалось, растет деревенька:
Растянулась до края земли.

А теперь — не сыскать и порога.
Но за слезной туманностью дней
Вижу: бабушка крестит дорогу
Благодатной рукою своей.

* * *

В небе — июльское пение
И облака-корабли…
Вот и приплыл день рождения.
Дети поздравить пришли.

Я отрываюсь от книжицы.
Сердце, волнуясь, стучит.
Бабушка жарит яичницу,
Сало стреляет в печи.

Платье присобрано в вытачки.
Верю еще в чудеса.
Стопка подарков — открыточек:
Каждый, как мог, подписал.

Там пожелания детские
В узеньких строчках надежд…
Есть доказательство веское:
Воздух дня давнего свеж.

Помню подробно и ясно я:
Лето пчелою гудит…
Там мое солнышко красное
Яблоком с ветки глядит.

* * *

Безмятежно, без беды и горя,
Сочинялся первый мой стишок.
Распевал мне песни на заборе
Золотой рассветный петушок.

Было свечкой каждое словечко,
Открывались счастья погреба.
Я узнала: в самом сердце печки
Выпекает бабушка хлеба.

Было все, как удивленье, ново.
Что сравненья дальние искать?
Так же вот, наверное, и слово
В душах наших нужно выпекать.

* * *

Не привыкли мы лениться.
Бедность, нам не угрожай!
Осень — добрая царица,
Всем подарит урожай.

Поручила Манька Сеньке
За овес — наряд купить.
Будет Манька в деревеньке
Важной павою ходить.

Улыбнется бабка Фекла,
Подвернет платок под бровь:
«Уродилась нынче свекла,
И картошка, и морковь!»

Прибежит Аксинья к Тоне:
«Не бывало так давно.
Посмотри-ка, на ладони —
Золотое все зерно!»

«Эх-ма!» — тысячу значений
Вложит в слово дед Кузьма…
Входит Осень, подбоченясь,
В расписные терема.

* * *

Стол, кровать, да лавка для порядка,
Да сундук, где сложено белье.
Дедов дом — бревенчатая кладка.
Святодеревенское житье.

На столе — сметана в желтой плошке
(Как же солнца луч нетерпелив!),
Творог в миске, яблоки в лукошке,
Крутобокий розовый налив…

Помню, ранним утром в доме сонном
Было чудо: там, в райке угла,
Отраженная в стекле иконном —
Бабушка хлеба в печи пекла!..

Вдаль бегут года и в дымке тают.
Все дороги прошлым поросли.
А чего-то в жизни не хватает
С той поры, как дедов дом снесли.

* * *

Над чем мечтами пролетали вы,
Степаны, Манечки и Дунечки?
Мои земные «пролетарии»,
Мои бабулечки-дедулечки?

Бедой питались до оскомины,
Слезою запивали горюшко
И трудодни, как частоколины,
Меняли на «златые горушки».

С суровой сельской знались правдою,
Хоть и не мыслили космически.
И бригадир, открыв тетрадочку,
Слюнявил карандаш химический.

Но разве жили вы с упреками?
Да разве ж вы трудились нехотя?
Мне ваше полюшко широкое
За сотню лет не переехати.

Деревня

В ознобе чувствуют коренья,
Землей отцовской дорожа, —
Как наползают на деревню
Дворцы заезжих горожан.

А ведь она еще могла бы
Собой украсить вечера!
Но, как юродивую бабу,
Деревню гонят со двора.

За простоту ее святую
Восстать бы в битве роковой…
Она ж уходит и горюет:
«Уж не обидела ль кого?»

* * *

М. Захаревич

Ушли вместе с мамой все детские сказки,
Но память родное опять воскресит.
А мамин платочек, как мамина ласка:
И в стужу согреет, и в зной защитит.

Какая-то тайна есть в скромном покрове:
Здесь — в ниточке каждой — живет прошлый век.
Мне мамин платочек дороже сокровищ,
Он — сердца святыня, земной оберег.

Запла́чу — мне кажется, он утешает:
«Дочушка моя, не сдавайся тоске…»
В собор Свято-Духов иду я не в шали,
А в мамином, в мелкий цветочек, платке.

Стою перед Той, чьи глаза словно море.
В них — вечная правда и суть бытия.
Мне в душу опять Богородица смотрит,
Светло и печально, — как мама моя.

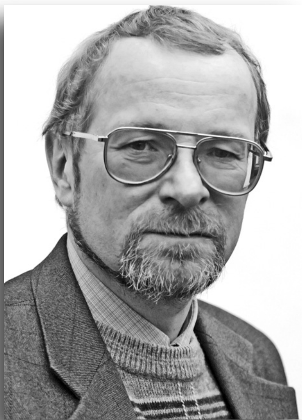
* * *

О, детство, ты — жизни опора,
Хоть жизнь, как учитель, строга…
Далекими были просторы
И росными были луга!

А чувства — не горсточка пепла.
Себя не растратила я.
Душа закалялась и крепла,
Когда предавали друзья.

Судьба не ответила лаской,
Но грусти нельзя потакать.
Еще мне рассказывать сказки
И тайные клады искать!

Плывет мой кораблик бумажный,
А я, провожая зарю,
По-детски светло и отважно
На мир этот темный смотрю.



Анатоль ЗЭКОВ

Вино и хлеб

Короткие были

Невеста в честь бабушки

У моей матери две внучки: Лена и Катя. А я знаю, как хотелось бабушке, чтобы хоть одну назвали ее именем — Наташа. Но промолчала. Посчитала, что лучше не вмешиваться: сами родили — сами пускай и имена дают. Зато в глаза колоть не будут. А что, бывает, сама знает. Сложится, не приведи господь, неудачной судьба, а винят имя. Словно оно крайнее здесь.

Однако же, как ни молчи, а когда что-то есть на душе, оно обязательно прорвется.

Так получилось, что на те январские выходные все мы — я, брат и сестра с семьями — приехали к родителям. Отец как раз собирался заколоть кабанчика — вот мать и вызвонила детей. Считай, что кабанчик и собрал всех за одним столом.

Выпили по рюмке-другой под свежину, сидим, беседуем. Уже не помню, с чего началось, а может, между прочим вышло, да мать и выдала, наконец, то, что, возможно, таила в себе годы:

— Две внучки, а хотя бы одну бабушкиным именем назвали.

Сказала без злости, как бы шутя, однако мы, дети, зять и две невестки умолкли. Не знаю, кто бы из нас нарушил молчание и что бы сказал, но, пожалуй, вряд ли сделал бы это лучше, чем первоклассник Виталик, сын моей сестры:

— А я, бабушка, в твою честь невесту нашел!

Именно так и выпалил по-взрослому: «в твою честь». И всем сразу стало весело. А больше всех, безусловно же, повеселела бабушка Наташа.

Встреча на озере

Приехал Петро к теще. А с ним — два сына-школьника. И собаку Дружка прихватили с собой.

Мальцы поздним вечером поставили на совхозном озере сети. А ранним утром, еще и солнце не взошло, побежали поднимать, чтобы сторож не обнаружил. И Петро, окликнув Дружка, поплелся следом.

— Ты, отец, стой на берегу, — наказали, отплывая на лодке, сыновья. — Если появится сторож, разговаривай с ним громко, чтобы мы слышали.

Едва скрылись за высокой осокой, как вдруг, словно из-под земли, появился и сторож.

— Ты здесь никого не видел? — заметив на прибрежном песке след от лодки, спросил Петра.

— Да нет.

— А сам что делаешь в такую рань?

— Да вот собаку выгуливаю, — по городской привычке показал на Дружка.

Сторож какое-то время постоял, вслушиваясь в утреннюю тишину, и пошел берегом дальше.

А когда возвратился в деревню, то рассказывал мужикам:

— И что за чудак такой встретился мне сегодня на озере? Это же впервые вижу, чтобы в деревне собаку на выгул выводили. Чей-то зять, видимо, из города. С ума посходили они там, честное слово...

Кошачий укол

У Ларисы Алексеевны какая-то немощность прихватила ноги в коленях. Да так, что и встать не в силах. Особенно утром, пока не расходится.

Обратилась в частную клинику. Осмотрели, определили болезнь, посоветовали сделать укол. Стоимость его — восемьдесят рублей. Обнадежили, что можно одним обойтись, в редких случаях — двумя.

Сделали Ларисе Алексеевне тот дорогой укол. Дома села на диван, ноги вытянула. Кошка примостилась рядом.

— И все на колени мои поглядывает, просто глаз не сводит, — рассказывала потом женщина подруге. — Наверное, думаю, боль мою снимает. Говорят, есть у кошки такой дар. А на следующий день вижу, кошка моя сама уже задние лапы волочит. Пришлось везти в ветлечебницу. И кошке сделали укол.

— Что, за восемьдесят рублей? — удивляется соседка.

— Да нет, кошке — за десять. И ты представляешь: вечером она уже покоя не знала. Носилась по квартире как ужаленная. Даже на шкаф запрыгивала с лету.

— Ну а тебе хоть стало лучше? — интересуется соседка.

— Ненамного. А когда сказала мужу, что, видно, надо еще один укол делать, так он говорит: «А может, тебе, Лариса, попробовать уколоть кошачий? Видишь, как Машка скачет! Да и в восемь раз дешевле все же…» И смех, и грех. — Лариса Алексеевна вновь осматривает свои колени. А потом спохватывается: — А может, и в самом деле попробовать, как ты думаешь? Кошке ж помогло…

От чего умирают

Звоню матери, интересуюсь деревенскими новостями. Чаще слышу о том, кто в последнее время умер. Говорит — как бы пересчитывает.

— Петьку, твоего одноклассника с Хуторов, вчера похоронили. У дороги на Гавли нашли. Замерз.

— Как это?

— Да пьяный был. — Помолчав, продолжает: — Колька Степков умер.

— А этот от чего?

— От чего?.. От водки, известное дело. — И продолжает: — И Кольки Танькиного уже нет.

— Болел, что ли?

— Ага, болел. Кабы не пил, так жил бы.

Я слушаю, вспоминаю Кольку. А в трубке слышу:

— Настя Федосова с Хмызы еще…

— А с ней что случилось? Она вроде года на два старше меня.

— Да жила бы. Но мужик сильно пил. Вот и довел Настю.

От всего этого просто мурашки по коже: неужели все смерти от водки? Словно и болезней других нет…

А мать как бы подводит черту под сказанным:

— Не пей, сынок, береги здоровье. Водка его не прибавляет. А жить и без нее можно. Не большая радость отрава эта…

В аптеке

Когда умерла жена, 76-летний Василь женился на 58-летней Анне.

Поехали как-то в город. Василь, насмотревшись по телевизору рекламы о «Виагре», решил зайти в аптеку, поинтересоваться этим чудодейственным, как слышал, препаратом.

В окошке сидела молоденькая девушка — в самый раз во внучки ему. Неудобно как-то стало Василю называть слово «Виагра», и потому начал старик издалека:

— Понимаешь, доченька, лекарство мне надо. Какое? Да как тебе сказать... Короче, женился я недавно. На молодой, 58 лет. А это, понимаешь, дело такое...

— Понимаю, дедушка, — улыбнулась аптекарша. — Вы, наверное, «Виагру» имеете в виду?

— Да-да, деточка, ее самую, — встрепенулся Василь.

— Так у вас на то и пенсии не хватит, — вновь улыбнулась аптекарша и назвала цену. — Да и у врача надо проконсультироваться. А то, чего доброго, и умереть можете...

Василь, услышав цифру, а заодно и о смерти, присвистнул только. «Придется, видимо, так век доживать, — подумал. — Пропади она пропадом, та «Виагра», если таких денег стоит, да еще и помрешь, поди, от такого удовольствия. Обойдусь, не один я живу так...»

Василь развернулся и молча подался из аптеки, куда еще несколько минут назад заходил с такой надеждой.

Сидоров и Сидоровка

Гуляли свадьбу.

Был на ней и только что демобилизованный из армии рядовой Сидоров. Известное дело, парень молодой и после застолья еще и с девушкой прогулялся. Короче говоря, за ночь так и не сомкнул глаз.

И вот возвращаются гости домой пригородным поездом. Беседуют, по рюмке берут из приготовленного сватами на дорогу. А рядовой Сидоров так притомился, что приютился в уголке да и задремал. Ничто ему не мешает: ни разговорчивые родственники, ни объявляющий станции голос из репродуктора.

И вдруг перед очередной остановкой радиодинамик сообщил: «Станция Сидоровка!»

Услышав это, рядовой Сидоров подскочил, выструнился и взял под козырек: «Я!»

От неожиданности сидящие родственники чуть было рюмки из рук не выронили. Вначале, пожалуй, никто ничего не понял, но потом дошло: услышал солдат свою фамилию. Сработала сила армейской привычки.

Прогресс

Однако, как на веку одного поколения шагнул прогресс! Помню, как удивлялся отец, когда заговорило радио. Все не мог понять, как это по проводам можно передать голос. Человек сидит и говорит в самой Москве, а слышно даже здесь, в белорусской деревне. А потом провели электричество, появился телевизор.

Прошлым летом был в деревне, вышел покурить, мобильник оставил в доме.

Вдруг выбегает отец с телефоном в руке.

— Тебе звонят, — говорит.

Беру мобильник и объявляю:

— Это Галя, сестра.

— А ты откуда знаешь? — недоумевает отец.

— А здесь вот, — показываю на дисплей, — написано.

Отец вглядывается в слово «Галя» — и не может поверить:

— Это же надо до такого додуматься! Вот так техника, едри ее корень! И звонит, и пишет!

Ревность

Спустя несколько месяцев после смерти матери мы, дети — сестра, брат и я, собрались в родительском доме.

Зная, как отцу одиноко, спрашиваем:

— А ходишь ли ты куда гулять?

— А куда здесь ходить? — пожимает плечами отец.

— Что, разве людей на улице нет?

— Какие здесь люди? Одни бабы…

— Так к женщине какой сходил бы.

— Ага, к одной сходишь — другая заревнует.

— Ого! — щелкает языком брат. — Мне б, отец, дожить до твоих восьмидесяти трех, да чтобы меня еще женщины ревновали.

Выручил перерыв

Это было еще в те, советские времена.

На партийное собрание в совхоз приехал инструктор райкома.

Парторг прочитал доклад, после чего спрашивает:

— Кто желает выступить?

В ответ — молчание.

Инструктор, который сидит в президиуме рядом с парторгом, наклоняется к нему и шепчет в самое ухо:

— Вы что, не могли хотя бы для начала пару выступающих подготовить?

— Сейчас будут! — обещает парторг и громко обращается к присутствующим: — Объявляется перерыв на двадцать минут!

Почти все мужчины, что были в зале, дружно заторопились к выходу.

Инструктор, конечно же, не видел, как они направились к магазину, который был рядом. А после перерыва не мог понять, почему это у мужиков развязались языки. Уже и предложение прекратить прения поступило, а они все никак не могли остановиться.

Деревенский пикник

К деревенской разведенке Марусе прибился городской примак Василь. Пускай понемногу он и приноровился к крестьянскому труду — и пахал, и сеял, и картошку окучивал, — однако городские замашки все же нет-нет да и проявлялись.

Особенно забавляли сельчан Василевы с Марусей пикники на природе.

Смотрелось все это так. Наложив полную сумку еды (без бутылки, известное дело, не обходилось), они направлялись в сторону леса. Там расстилали скатерть, ставили рюмки, выкладывали закуску, открывали бутылку.

А возвращаясь домой и встречая по дороге односельчан, хвалились, что отдыхали на природе.

— Тьфу ты! — плевались, отходя подальше, те. — Это же не город тебе, что надо куда-то тащиться. У нас все вокруг природа. Можно бы и в саду посидеть.

Не понимали они, темные, Василя.

Одна Маруся, пожалуй, и понимала.

Собака в лифте

Нашу собаку — сын ее называет двортерьером, а так она Дружок, — мы обычно не выгуливали, а только выпускали на улицу из подъезда. Она побегает самостоятельно, а затем придет к входной двери и ожидает, когда впустят. Все жильцы подъезда — и взрослые, и дети — уже знали Дружка и распахивали перед ним дверь. И он по лестнице на свой пятый этаж. А там или в дверь скребется, или кто из соседей на звонок нажмет. Случалось, что и сами спустя некоторое время выглянем: не сидит ли на лестничной площадке?

Но однажды, впустив Дружка в подъезд, кто-то вызвал ему лифт, а когда Дружок вскочил в кабину, нажал на кнопку нужного пятого этажа.

С того времени наша собака уже не летит стремглав домой по ступенькам, а сидит и ждет, когда вызовут ей лифт. К удобствам быстро привыкаешь…

С удочкой в магазин

Это же как старательно собирался Николай Гаврилович на рыбалку! Весь вечер копает на хуторе червей. Бывало, в засушливое лето все камни да бревна вокруг перевернет в поиске наживки.

А на рассвете засовывал в карман пиджака два бутерброда и сбивал росу на лугу, ведущему к реке.

Перед обедом же чуть тащился домой, в стельку пьяный, с одним наполовину съеденным и вторым нетронутым бутербродами, и конечно, без рыбы.

— По дороге он обычно заглядывал в деревенский магазин, брал пол-литра водки и оттуда направлялся к реке. Разве до удочки уже было? — поясняет супруга Николая Гавриловича Ольга Ивановна. — Одного не могу понять:

неужели для того, чтобы сходить в магазин да напиться потом до чертей, надо весь вечер копать червей?

Как Володя зятем стал

Василь с Ольгой все тащили во двор. То ли тюк соломы с проезжающей мимо совхозной машины свалится, то ли клок сена с воза о плот зацепится…

Давно то было, однако, зная об этой «болезни» тестя и тещи, зять Володя, когда вдруг речь заходит о том, как он женился на Наташке, рассказывает:

— Это же ехал я тогда на коне. Выпивши, конечно. Верхом. И тут тетка выглянула из-за ворот посмотреть, что на улице делается. А здесь как раз я поравнялся с двором.

Мой буланый от неожиданности аж кинулся в сторону, я и свалился прямо тетке под ноги. Лошадь рванула, а я подняться не могу. Позвала тетка дядьку, вдвоем и втащили меня в избу. По привычке, видимо, решили: не валяться же добру около двора. Так вот и стал я их зятем, — подытоживает Володя и под всегдашнюю реплику жены: «Что ты выдумываешь?» — хохочет, чуть не заходится от смеха. Возможно, и сам уже верит в свой рассказ…

Кто такой охранник?

Сосед рассказывает, как охранника на заводе обозвал вахтером.

— А какой он охранник? — возмущается сосед. — Сидит на вахте, где все по пропускам через турникет проходят, да газеты читает. Кого он от кого охраняет? Да и чем, когда оружия нет?

Сосед на минуту умолкает, чтобы перевести дыхание, а потом припоминает другое:

— Вот дед мой, так тот точно был охранником. Магазин в деревне сторожил. По всей форме, как говорится, с берданкой. Случалось, угостят мужики, — спит себе на ступеньках у магазинной двери. Сообщат бабушке, она пойдет и заберет берданку домой. Чтобы, не дай бог, кто не стащил. Беды ж затем не оберешься. «А сам пускай спит, черт его не возьмет», — говорила.

И сосед вновь перебрасывается на обиженного охранника:

— А то он, видите, охранник… Вахтер, а не охранник! И нечего нос задирать.

Как Женя умирать собиралась

Тетку Женю укусил шершень. Как раз перед этим вычитала в газете, что в какой-то деревне от такого укуса умер мужчина.

«Вот и моя смерть пришла», — решила тетка. Вытащила из шкафа сверток припасенного на смерть, положила на видное место, а сама вытянулась на диване и руки на груди сложила.

Молча лежала, думала о детях, внуках, даже малышку-правнучку Машу вспомнила. Нежданно и слеза накатилась.

Да вдруг испуганно вскочила. «А что ж это я так улеглась, никого не предупредив? То ж умру одна в доме, никто и знать не будет!»

Слезла с дивана — и к соседке Марусе: предупредить, чтобы проследила, когда умрет, да детям сообщила. Заговорилась с той — и про смерть позабыла.

Живет!

Серьезный человек

Мишка рассказывает двоюродному брату, что вчера разговаривал с каким-то россиянином. Тот, мол, собирается выкупить пустующее здание бывшей колхозной бани, оборудовать там лесопилку и таким образом открыть свой бизнес.

— И меня пригласил в долю, — радостно сообщает Мишка. — Притом говорил, чтобы я нашел еще кого-нибудь. Пойдешь, Сашка?

— А может, он несерьезный человек, твой россиянин? — не верит услышанному брат.

— Ты что, шутишь? Еще какой серьезный. Мы с ним две бутылки русскогорькой выпили. Коньяк даже предлагал, да я отказался — не люблю этой гадости, сам знаешь. А ты говоришь, несерьезный…

На второй заход

Алесь позвал соседа Игната заколоть кабанчика. Когда закололи, пригласил в дом:

— Пускай остывает. А мы для разогрева по сто грамм возьмем.

Только выпили по рюмке, как вдруг Настя, которая хлопотала на кухне, бросилась к окну:

— Алесь, посмотри, не наш ли это кабан по двору ходит?

— Наш, — оторопел хозяин. — Не до конца, видно, закололи. — И бросил соседу: — Пошли, Игнат, придется, все со второго захода начинать...

Мишка-бобыль

На бревнах, которые неизвестно с каких времен лежат здесь, уже и травой поросли, сидит Мишка, мой одноклассник. Подхожу, здороваемся, он просит сигарету. Вместе закуриваем.

— Как жизнь? — спрашиваю.

— Ай, живу как-то, — лениво отвечает Мишка.

Живет он один. Под шестьдесят уже, однако так и не женился.

— Почему ты, Мишка, женщину в дом не приведешь? — интересуюсь. — Вон их сколько вокруг: и незамужних, и разведенных, и вдов!

А он достает откуда-то сзади, из-за бревна, на котором сидит, бутылку вина и, влив в себя просто из горла глоток-другой, спокойно парирует:

— Видишь, купил пол-литра — и все мое. А женюсь — так на двоих делить придется…

Горькие слова, однако есть в них и Мишкина доля правды. Пьют женщины в деревне, почти не уступая мужчинам, а в отдельных семьях даже и фору дают им.

Когда появился планшет

Говорю внуку, что мои сверстники в детстве не только не имели мобильников, компьютеров и планшетов, — в нашей деревне, когда я пошел в школу, в то время даже электричества не было. На печи при лампе-керосинке уроки

учили. Никита слушает, хотя ему и вправду тяжело представить, как такое могло быть.

А спустя неделю внук, читая книгу о войне, наталкивается на предложение: «Командир развернул планшет…». Хватает книгу и бежит ко мне:

— Дед, а дед, помнишь, ты мне рассказывал о своем детстве, говорил, что у вас ничего не было? А здесь вот, смотри, — тычет пальцем в книжную страницу, — уже в войну планшеты были…

Болезнь или старость?

Когда с внуком были в деревне, у меня вдруг прихватило спину. Утром проснулся — и с кровати подняться не могу. Такое раньше не бывало. Потом, правда, немного расходился, все как будто наладилось.

Никита с сочувствием смотрел на мои утренние мучения и вдруг спросил:

— Дед, а это у тебя по старости или по болезни?

— А какая разница? — не понимаю я.

— Ой, дед, большая, — отвечает внук. — Когда по старости — это нормально, а вот когда по болезни, то плохо.

Спасибо, внучек, успокоил. Хотя не знаю, что лучше. Ибо ни болезни не хочется, ни старости….

Кстати, когда приехали в Минск, уже в метро, в электричке, внук указал на свободное место:

— Садись, дед, у тебя же спина болит.

— Ой, внучек, боюсь, потом подниматься будет тяжело.

— Не бойся, дед, мы до конечной едем, а там всех поднимают, — успокоил внук.

Вино и хлеб

Радошковичи. Центральный магазин.

Женщина подает продавщице деньги:

— Бутылку вина и булку хлеба.

Продавщица, сосчитав помятые купюры, бросает:

— Здесь не хватает.

— Тогда хлеба не надо, — мгновенно решает покупательница.

Вот такая жизнь... Се ля ви, как сказали бы французы.

Брак в День смеха

Моя племянница Катя с мужем Женей заключили брак 1 апреля — в День смеха. Когда мать после подачи заявления спросила у дочки, почему они выбрали такой несерьезный день для серьезного события, Катя возразила:

— Почему несерьезный? День как день. А что День смеха, так это чтобы весело жилось.

Пускай так и будет!

Перевод с белорусского автора.

Елена КОШКИНА

Вот моя доля

Разговор со счастьем

Посреди поля
На земле отчей
Подошло счастье
Ко мне и спросило:

— Ты какой доли
Для себя хочешь?
И как ты считаешь,
В чем моя сила?

Полное воли,
Полное раны,
Стояло поле.
И я, светлея,
Ответила: — Это
Покажется странным,
Но хочу доли
Той, что имею.

Чтоб родным — легче,
Чтобы мне — мудро,
Чтоб в мой мир нежить
Не заходила.
Чтобы пел вечер,
Снаряжал утро,
Укреплял сваи,
Ставил стропила.

Вот твоя сила,
Вот моя доля.
Так уж настало,
Этого надо.

И меня счастье
Обняло крепко,
Поцеловало
И идет рядом.

Новогодняя песенка

В ноябре темнеет рано,
В декабре темнеет рано,
Все морозно, все стеклянно
Под бессонною луной.

В этом синем лунном свете
Тени спят, как ночью дети,
Только ходит по планете
Дед Мороз, совсем седой.

Я из дома ночью вышел
Оттого, что звон услышал,
Легкий звон над нашей крышей.
Поднимался и летел.
Двор сиял, запорошенный,
Я стоял, завороженный:
Лунный луч в проем оконный
Ударялся и звенел.

— С Новым годом, с Новым годом! —
Пело все под небосводом.
Пели сосны, пели ели,
Пели крыши над землей.
Луч звенел, день начинался,
На ветвях звездой качался,
И прекрасным мне казался
Мир под этою звездой.

Дед Мороз, год только начат.
Пожелай нам всем удачи.
Крепкой дружбы, ясной песни,
Добрых взглядов за спиной.
Пусть здоровы будут дети!
Им же быть за все в ответе.
Ведь за этот мир в ответе
Будут дети, дорогой.

В декабре темнеет рано,
В январе не так уж рано,
День длинней, и мир стеклянный
Дышит новою весной.

Звон летит, день вырастает,
На ветвях снежком играет,
Ничего не обещает,
Но прекрасен, боже мой.

По закону птах

Такой закон у них, мольбе подобный,
У средних, маленьких и взрослых птах:
«Давай попробуем, сейчас попробуем
Лететь над пропастью на двух крылах!»

Откуда, право, и берется пропасть-то?
Понять не велено,
а хочется знать.
Ведь все, что надо ей, во всех подробностях
Узнала птаха
и умеет летать.

Но только вылетишь над милой местностью,
Над милой сцепкою дорог, полей,
Как вдруг проваливаются окрестности,
И вновь над пропастью летишь своей.

Так ну же, крылышки, держите, милые!
Лететь над пропастью придется век.
И вот — летят, летят с отважной силою
И превращают в жизнь всю тьму постылую
И птаха малая, и человек.

Рене БАРЖАВЕЛЬ,
Оленка де ВЕЕР

Дни мира

Роман

От переводчика

Первый роман дилогии Рене Баржавеля и Оленки де Веер «Девушки и единорог» — это семейная сага, история пяти девушек, дочерей Джона Грина, родившихся и выросших в Ирландии, на затерявшемся между землей и океаном островке, клочке земли, овеваемом всеми ветрами Атлантики и омываемом Гольфстримом. Они разные, и их ждет разная судьба…

Их история началась почти тысячу лет назад, когда граф Фульк Рыжий взял в жены девушку-единорога, и потомками от этого брака стали, наряду с властителями Европы и многими знаменитостями, и дочери Джона Грина.

Действие романа, в котором перемешаны исторические реалии и ирландские легенды, охватывает один из периодов борьбы ирландцев против английского господства, борьбы, в которой союзницей вождя фениев, потомка ирландских королей О'Фаррана становится Гризельда, самая мечтательная, самая отважная из пяти сестер. И О'Фарран, превратившийся в Шауна, становится прекрасным принцем, увозящим Гризельду на волшебном корабле за океан.

В продолжении романа «Девушки и единорог», романе «Дни мира», две девушки из пяти — Гризельда и Элен — и их сыновья переживают переломные моменты истории человеческой цивилизации, когда наряду с быстро развивающейся техникой (электричество, автомобили, самолеты…) чудовищно разрастаются арсеналы, которые политики собираются использовать в надвигающейся мировой войне. Героев романа захватывает вихрь событий, переносящий их из Парижа в Пекин, затем в пустыню Гоби, в Россию, в Бангкок, в небольшой курортный городок Трувиль… Дети двадцатого века, они остаются воинами и художниками, стремящимися реализовать свое предназначение несмотря ни на что…

Игорь НАЙДЕНКОВ

Предисловие

Остров существовал отдельно от мира. Узкая дамба, связывавшая остров с Ирландией, на самом деле ни с чем его не связывала. Пять дочерей сэра Джона Грина выросли среди цветов, в обители света, в компании с невидимым единорогом, белохвостым лисом, героями гэльских легенд и табличками легендарной шумерской цивилизации, в которых их отец каждый день отыскивал все новый и новый смысл. Все это было для девушек единственной реальностью. На другом конце дамбы начиналась неведомая вселенная, огромная, полная тайн. Она не привлекала их, потому что они были счастливы на своем острове.

И это продолжалось до того неизбежно наступающего момента, когда у девушек возникает необходимость стать женщинами. Они преодолели жалкий мостик, связывавший остров с миром, а одна из них уплыла в океан. Они отправились на встречу с любовью, с Богом, с приключением, уверенные, что найдут в тысячу раз больше того, что имели на острове Сент-Альбан.

Но дни мира не похожи на утро острова…

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ротационные машины газеты «Матэн» остановились. Свежий номер был отпечатан. На нем стояла дата: 31 января 1907 года. На первой полосе эта крупная парижская газета опубликовала в трех колонках материалы о том, что она называла «великим вызовом»:

«Найдется ли лицо или группа лиц, которые решатся проехать этим летом на автомобиле по маршруту Пекин—Париж?[1]»

Печатники в плащах и котелках разъезжались по домам на велосипедах по ночным улицам. Шеф отдела клише с больными ушами надел шерстяной шлем. Осень была очень холодной.

Томас спал на верхнем этаже круглого дома в Пасси. Он был сыном Элен, дочери сэра Джона Грина. Томасу исполнилось шестнадцать лет.

Над Трокадеро взошло солнце. Большой белый ворон, давно круживщийся над домом, заложил крутой вираж, спикировал и уселся на отливе окна, выходившего на восточную сторону.

Затем он отряхнулся и позвал:

— Томас!.. Томас!..

Ворон плохо произносил согласные. Томас услышал: «Ко-а!.. Ко-а!..» Он чихнул и пошарил под подушкой, пытаясь нащупать носовой платок. Его уложил в постель грипп.

Ворон принялся стучать клювом по стеклу. Томас крикнул:

— Шама, дуралей, прекрати! Я сейчас подойду!

Он подбежал к окну. В камине угольные брикеты превратились в груду пепла. Солнечные лучи бросали на тюлевые занавески легкие тени цветов, нарисованных инеем на стеклах. Томас приоткрыл створку окна, впустил ворона и тут же закрыл ее, после чего поспешно вернулся в теплую постель.

Шама опустился на пол перед камином, посмотрел на сгоревшие брикеты и недовольно пробурчал:

— Крррoааа!

У него хорошо получались «р» и «а». Это был белый как снег ворон с хитрыми черными глазами. Он не был альбиносом, так как для альбиносов характерны красные глаза; он был настоящим белым вороном, одной из звезд среди воспитанников Леона Альтенциммера, белоснежным шедевром наследственности, ухитрившейся наряду с десятками тысяч черных воронов создать одного белого. Точно так же у обычной пятнистой пантеры среди выводка рыжих детенышей внезапно рождается один черный.

В этом доме нередко появлялись редкие птицы и невиданные животные вроде броненосцев или утконосов; обычными считались лошади, на широкой спине которых танцевали наездники или сидели меланхоличные львы, вылизывавшие, зажмурившись, лапы.

[1] Знаменитое международное ралли Пекин—Париж; пять команд проехали с 10.06 по 10.08 1907 г. 14 994 км. Победитель — князь Шипионе Боргезе (Италия).

«Всемирная литература» в «Нёмане»

Животные появлялись и исчезали, а Шама оставался. Леон всегда отказывался продавать его, хотя время от времени соглашался одолжить птицу какому-нибудь цирковому артисту. Ворон умел вытаскивать нужную карту из колоды и наигрывать клювом на серебряных колокольчиках мелодию «Голубого Дуная». Он опускался на плечо самой красивой зрительнице и нашептывал ей на ушко гусарские комплименты, вызывавшие у нее краску на щеках. Именно Леон научил Шаму многим словам, и так удачно, что тот говорил на французском со швейцарским акцентом, добавлявшимся к его вороньему акценту.

Одним взмахом крыльев Шама перебрался на кушетку и улегся на нее, несколькими движениями тела создав в покрывале мягкое углубление, похожее на гнездо. Потом он произнес «Крррум!», что отражало абсолютное блаженство. Ему было жарко; распушившись, он слился с белым кружевным покрывалом. Его клюв, словно магнитная стрелка компаса, указывал на входную дверь; он знал, что к комнате приближается Элен, несущая поднос с соблазнительно пахнущими тарелочками: яичница-глазунья из двух яиц, овсянка, большой чайник, пар из носика которого крутился, словно смерч, когда она вошла в комнату. Кроме того, на подносе стоял флакончик с йодом, десять капель которого она добавила в чашку с горячим молоком, и комната внезапно заполнилась запахом моря. Томас ничего не почувствовал. Он безропотно выпил розоватое молоко с йодом. Элен узнала об этом целительном средстве от княгини Кольчинской, сыну которого она давала уроки английского. Княгиня утверждала, что именно этим лекарством был вылечен Лев Толстой, заболевший гриппом в ледяной России в возрасте ста лет. Шама подковылял к Томасу. На каждом шагу его лапы с растопыренными звездочкой пальцами погружались в пышную ткань. Приблизившись к подносу, он, совсем по-собачьи, сел на свой широко расправленный хвост, распахнув при этом клюв, в котором, казалось, мог поместиться чайник. Томас опустил ему в клюв кусочек хлеба. Мгновенно проглотив его, Шама снова открыл клюв.

Элен сгребла в кучку золу в камине. На решетке оказалось несколько еще тлеющих кусков угольных брикетов. Она быстро завалила их новой порцией брикетов, после чего из их кучки потянулись струйки желтого дыма. Тяга в камине была хорошей.

Стройная, в черном костюме, с волосами, спрятанными под строгой черной шляпкой, Элен собиралась отправиться на уроки. Один из них она давала в квартире на площади Соединенных Штатов, другой — в доме на улице Галилея. Ее высоко ценили родители учеников, значительно меньше — сами ученики, которым она преподавала английский, латынь и греческий. Она была очень строгой учительницей.

Огонь, распространившийся полукругом, медленно разгорался. В комнате пахло угольным дымом, яичницей, йодом и лавандовой водой. На шторах, свисавших по сторонам окна, покачивались изображения двух ангелочков: один из них играл на арфе, другой — на бубне. Свет, проходивший сквозь них, приобретал розовый оттенок, что говорило об устойчивой холодной погоде. Фонтаны на площади Конкорд украсились ледяными свечами. В Сааре взрыв метана на одном из рудников привел к смерти двухсот шахтеров. Вся парижская пресса бойко обсуждала сообщение о намерении короля Англии Эдуарда VII и королевы Александры посетить Францию инкогнито.

В конце марта Томасу должно было исполниться семнадцать лет. Он походил на Давида Микеланджело, но казался более красивым благодаря своей улыбке и более изящной юной фигуре. Его возраст давал знать о себе слегка впалыми щеками, но он должен был вскоре немного пополнеть,

так как занимался спортом в гимназии Леона: кольца, перекладина, французский бокс, прыжки; он часто ездил верхом без седла, словно в цирке, галопируя в парке на круглой площадке между тремя большими, вероятно, столетними, платанами, посаженными в ознаменование рождения короля Италии. Из черт Давида у Томаса проявлялись уравновешенность и осанка, свидетельствовавшая о победоносном характере. Рыжеватые волосы и черные глаза дополняли его облик. Элен иногда пыталась понять, от какого предка он унаследовал все это. У всех членов семейства Гринов глаза были зелеными или голубыми, а глаза ее мужа…

Она вздрогнула, выпрямилась и опустила лопатку в ведро с углем. Она предпочитала не думать об этом времени своей жизни и не хотела вспоминать то, что привело к рождению сына. Почему она не могла родить ребенка без этого? Без отца, без мужчины?..

Однажды она взяла ребенка на руки, ему тогда был год и два месяца, она в то время уже ушла от мужа. Немного позже ей пришлось бежать из Англии на континент, потому что в этой стране к женщине, ушедшей от мужа, относились не лучше, чем к воровке или проститутке. В Париже никто не лез в ее жизнь, но она сама относилась к себе, как к женщине, в чем-то провинившейся, постоянно ощущая груз своей ошибки. Она выглядела старше своих тридцати шести лет, но кожа ее тонкого лица оставалась гладкой и почти не менялась с возрастом.

Настоящее имя Томаса было Джон. Парижские торговцы, к которым она заходила за покупками, когда сын был совсем маленьким и совершенно очаровательным, не переставали восхищаться: «Какая прелесть этот малыш Джон!» В соответствии с их произношением имя Джон звучало как «желтый»[1]. Ей это не нравилось настолько, что она поменяла его имя. Томас даже не помнил, что его когда-то называли иначе.

Ее муж Амбруаз без труда добился развода в свою пользу. Он не стал требовать сына. Его ничуть не волновало, что с ним будет потом. Этот брак нарушил мирное течение его жизни. После развода Элен успокоилась. Муж был гораздо старше ее, и, возможно, теперь его уже не было в живых.

* * *

Элен подошла к окну, подозвав к себе Шаму.

— Ну, давай же, Шама! Лети!

Ворон запротестовал:

— Кроа! Кроа!

Он наклонил голову и посмотрел на Элен левым глазом. Потом встряхнулся всем телом, словно вышедший из воды пес. Это должно было означать: «Нет!»

— Шама! — раздраженно воскликнула Элен.

— Оставь, я потом выпущу его, — сказал Томас.

— Еще бы, выпустишь! И подхватишь воспаление легких! Я же сказала, чтобы ты не вставал! Ты же знаешь, что это опасно! Неужели ты думаешь, что я могу чувствовать себя спокойно, когда меня нет рядом с тобой? Я всегда боюсь, что ты совершишь какую-нибудь глупость!

Дальше она заговорила по-английски. Думает ли он хоть немного о своей матери, о том, как ей приходится заботиться о сыне? Беспокоится ли он о своей матери? Ему нельзя вставать, он знает это и должен обещать, что не будет вставать…

---

[1] Имя «John» французы произносят почти так же, как слово «jaune», т. е. «желтый».

«Всемирная литература» в «Нёмане»

Он пообещал, и она замолчала.

Потом Томас подтолкнул ворона кончиком пальца:

— Ну же, Шама, ты должен слушаться маму…

Ворон посмотрел на него, глянул на пустой поднос и спрыгнул на пол. Потом пошагал к окну, ничуть не спеша. Сев на подоконник, он бросил на Элен взгляд снизу, показывая таким образом, что подчиняется только для того, чтобы доставить ей удовольствие. Она поспешно открыла створку. Одним прыжком ворон оказался за окном, превратившись на солнце в розовый планер. Несколько взмахов крыльев, и он взлетел на вершину тополя. Он соорудил там гнездо, используя его время от времени как наблюдательный пункт, реже — как жилье. Шама предпочитал ночевать на конюшне, среди лошадей, хорошо согревавших воздух дыханием, словно большие живые печки. Эта птица была очень чувствительна к холоду.

Томас слышал, как шаги Элен удаляются от его комнаты. Потом хлопнула дверь квартиры, и под ногами матери загудели черные металлические ступеньки лестницы. Мраморные ступеньки начинались только восемью метрами ниже.

Их ультрасовременное здание находилось в нижней части улицы Рэйнуар, в парке, спускавшемся к набережной Пасси. Господин Эйфель создал его металлический скелет, вокруг которого архитектор построил здание, слагавшееся из трех поставленных друг на друга пузырей или сфер, что делало его немного похожим на русские церкви или на двойное заварное пирожное. Наружную оболочку нижнего пузыря создавала мозаика небольших квадратиков с рисунками лиловых цветов ириса на бледно-зеленом или белом фоне; на поверхности второй сферы среди облаков кружились ибисы; третья сфера, самая маленькая, вся сплошь небесно-голубого цвета, была пронизана многочисленными отверстиями — она служила голубятней.

Комнаты нижней сферы соединялись изгибавшимися коридорами, проходами, переходами и подмостками; собственно, этажи в здании отсутствовали, заменяясь помещениями на разных уровнях — не было ни одной пары комнат, находящихся на одном уровне. Всегда нужно было или подниматься, или спускаться, кружиться между сходящими под углом стенами и снова подниматься, чтобы очутиться в овальной комнате, в шарообразном будуаре, большом восьмиугольном зале или ванной комнате с зеркальными стенами со всех сторон.

Банкир Эдуард Лабассьер построил это фантастическое сооружение для Ирен, девушки, которую он любил. Он разместил во втором снизу пузыре прислугу, а в третьем — голубей. Привел Ирен в дом весенним утром, подъехав к нему со стороны набережной Пасси в коляске, легкой как ветер. Ирен немного поворчала, когда они пересекали парк, так как нашла, что местность выглядит деревней. Но когда после последнего поворота она увидела дом, сверкающий на солнце, похожий на улыбающегося толстяка, вставшего на колени, чтобы приветствовать ее с протянутым букетом, она вскочила на ноги и закричала от радости, прижав руку к сердцу. Почувствовав под рукой корсет, она выругалась; конечно, корсет обеспечивал ей талию ребенка, но при этом заставлял желудок подниматься кверху, почти до груди, а живот выпячивался назад, увеличивая ягодицы. Это орудие пытки обладало единственным преимуществом: когда она раздевалась, то процедура превращалась в фантастическое наслаждение. Ее тело, освободившееся от корсета за несколько секунд, расслаблялось, все органы занимали положенное им место, кровь приливала к коже вплоть до самых тайных уголков. Охваченная свободой, девушка вздыхала от счастья, чувствуя себя цветком, раскрывающимся навстречу наслаждению.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

Ирен потребовала, чтобы ей позволили войти в дом без сопровождающих. Оставшийся снаружи Эдуард Лабассьер долго слушал ее восклицания, полные восторженного удивления.

Всю среднюю часть нижней сферы занимал круглый салон. В нем, в трех каминах, пылал огонь. Белоснежная мраморная лестница начиналась в центре холла и, описав несколько витков в пространстве, скрывалась в потолке.

Тяжелые бархатные шторы персикового цвета, перетянутые в талии, словно девушки, закрывали пять окон, превращая грубый дневной свет в интимный полумрак. Повсюду были расставлены диваны, диванчики, низкие столики, синие вазы с большими букетами цветов, небрежно разбросаны ковры и подушки. Бронзовая нимфа с высокой прической грациозно поднимала кувшин, из которого стеклянные струи вытекали в яшмовый бассейн. Рядом с нимфой находилось обтянутое венецианским бархатом кресло из красного дерева, обрамленное низкой решеткой из позолоченного металла. Ирен открыла решетку кончиком своего зонтика, уселась в кресло и нажала на кнопку. Дом глубоко вздохнул; кресло, нимфа и решетка начали медленно подниматься, унося с собой Ирен. Это был лифт последней, наиболее совершенной модели.

Ирен, охваченная безумной радостью, закричала:

— Эдуард! Идите сюда!

Вошедший в холл Эдуард увидел Ирен и бронзовую нимфу высоко под потолком, в котором раскрылось прямоугольное отверстие, обрамленное пышными волнами шелка. Ирен исчезла в нем, и отверстие закрыла нижняя панель огромного поршня.

Эдуард нашел девушку примерно через полчаса. Он стал подниматься по лестнице, услышав, как она позвала его, сначала взволнованно, затем удивленно и, наконец, с ужасом. Он никак не мог застать ее в том месте, откуда долетел ее зов, так как она постоянно оказывалась то выше, то ниже этого места. Наконец он обнаружил ее снаружи, висящей между небом и землей там, где белоснежная лестница переходила в металлический мостик длиной тридцать семь метров, связывавший служебный этаж с улицей Рэйнуар. Он походил на мостик из лиан над горным потоком в Гималаях. Легкий и прочный, он раскачивался на ветру, играл роль черного хода.

Ирен, авантюристка по характеру, ступила на колеблющийся под ногами мостик, оказавшись в пространстве над деревьями с еще не распустившейся листвой. Поднялся ветер, мостик закачался сильнее, у нее закружилась голова. Девушка уцепилась за перила и закричала, что сейчас упадет. Голуби кружились вокруг нее, она выронила раскрывшийся в воздухе зонтик, опустившийся, словно парашют, на вишню.

Прожив три месяца в этом доме, она заявила, что больше не может выдержать, что он находится слишком далеко, Пасси — это уже провинция, настоящая Камчатка. Ее подруги перестали посещать ее; когда она бывала в театре или в кафе, ей казалось, что она появлялась из Нарбонна. Она хотела вернуться в Трокадеро и снова жить в Париже.

Послушный Эдуард Лабассьер приобрел для нее особняк на улице Боэти, в двух шагах от Елисейских Полей. Это было весьма удачное вложение денег. Ирен нашла дом несколько устаревшим и слишком строгим, но Эдуард сообщил, что он когда-то принадлежал племяннику Наполеона. Это понравилось Ирен, и она быстро вернулась к светской жизни.

Банкир не представлял, что делать с шарообразным домом. Настали времена, не подходящие для торговли недвижимостью. Началась массовая застройка района Пасси. Стоимость участков резко возросла. Банкир решил сдать здание в аренду, но его ультрасовременный облик отпугивал

«Всемирная литература» в «Нёмане»

умеренных покупателей, тогда как аренда оказалась слишком малодоступной для людей искусства. Ему пришлось снизить цену. В конце концов он нашел квартиросъемщика для нижнего пузыря и парка — это был швейцарский дрессировщик, несколько экстравагантный, державший деньги в банке Лабассьера. Денег у него хватало. Это был Леон Альтенциммер.

На следующий день после отъезда Ирен голуби дружно взлетели и долго кружились над голубятней. Потом они поднялись белым облаком высоко в небо и устремились на запад, к Булонскому лесу. Хотя, вполне возможно, их привлекли Атлантический океан и находившаяся еще дальше Америка. Во всяком случае, они никогда не вернулись в родную голубятню. Там их быстро заменили воробьи.

* * *

Перед тем как выйти на улицу, Элен отнесла Томасу альбом для рисования и карандаши. Услышав, как закрылась металлическая дверь на мостик, он встал и принялся искать флакон с тушью и кисточки. Он не любил карандаши. Работа с ними казалась ему слишком медленной. Карандаш плохо подчинялся глазам. Кисточка отзывалась мгновенно. С хорошим или плохим результатом, но сразу. Конечно, Элен опасалась, что он заляпает тушью простыни. Пятна от туши выводились с большим трудом, даже жавелевой водой.

Не желая расстраивать мать, он не вернулся в постель — пятно на постельном белье — более серьезный проступок, чем грипп. Он устроился перед камином, закутавшись в желтое покрывало, накинутое на спинку стула, на котором он сидел. Босые ноги опустил на горячие плитки, рядом поставил флакон с тушью, альбом примостил на коленях. Фыркая и чихая, вытирая нос рукавом, он принялся рисовать по памяти недовольного Шаму перед потухшим камином, Шаму с открытым клювом возле подноса, Шаму, смотрящего снизу вверх на Элен... У него имелось множество альбомов с рисунками животных Леона. Он замечательно рисовал их, улавливая движение животного, даже если оно казалось неподвижным, и передавал движение непрерывной жирной гибкой линией. Две или три длинные линии, потом еще одна короткая, и на рисунке появлялся Шама, летящий, сидящий, сердитый или веселый. Или это была лама с глазом, похожим на озеро Титикака, или верблюд, выглядевший, как старая дева с вставной челюстью. Или Элен вечером, сидящая возле лампы, чтобы хорошо видеть свою работу, с небольшой грудью, четко выделяющейся на белой бумаге.

Вздрогнув, он захлопнул альбом и оделся, не глядя, что натягивает на себя. Потом нахлобучил шапочку, связанную тетушкой Китти из грубой шерсти овец с острова Аран. Эта шерсть была способна не только противостоять всем бурям Атлантики, но и защищать уши от труб Страшного суда. На ее макушке гордо распушился помпон, наклонявшийся в разные стороны в соответствии с движениями головы.

Затем он спустился вниз, чтобы повидать Леона. Он не видел его уже целую неделю.

— А, это ты! — проворчал Леон. — Я тут подумал, что тебя уже нет в живых.

Его голос, казалось, выходил из пещеры. Огненная борода расползалась буквой дельта на груди, а по сторонам лица поднималась до шевелюры. Этим рыжим зарослям, скрывавшим глаза и уши, не удавалось прятать ослепительное сияние его улыбки. Он был одет в бархатные штаны цвета ржавчины и зеленую футболку, грубо связанную им самим из толстой шерсти.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

Томас спустился вниз по мраморной лестнице в центр прежнего салона. Леон приветствовал его с лошади, трусившей рысцой вдоль круглой стены. Это был араб цвета горного меда, изящный, словно девушка, носивший имя Тридцать первый. Его нервные ноги гулко ступали по паркету, уложенному розеткой и устланному свежей соломой.

Все, что оставалось в холле из мебели, было сгружено вокруг лестницы — два кресла, рояль, китайский столик с причудливо изогнутыми ножками, очень похожий на таксу. Лифт навсегда заклинился в попытке преодолеть потолок; в поле зрения оставался только начавший зеленеть зад бронзовой нимфы.

Леон остановил Тридцать первого возле Томаса и спрыгнул с него. Спина лошади вновь стала горизонтальной.

— Тебе нельзя садиться на лошадь, — сказал Томас. — Когда-нибудь ты сломаешь ей позвоночник.

— Никакого риска! У нее стальные кости… И потом, ей нравится возить меня — она любит меня… Давай пройдем сюда…

Он подтолкнул Томаса к западной стороне холла, к камину, в котором горели большие поленья. Придерживая юношу огромной рукой, полностью скрывавшей его плечо, он направлял Томаса перед собой. Выше Томаса на голову с лишком и гораздо массивнее его, он полностью заслонял юношу. Впрочем, он мог заслонить кого угодно. Он, конечно, не был гигантом, так как всего на треть превосходил обычного человека.

Леон отодвинул корзины, стоявшие перед камином, в которых под шерстяными тряпками дремали змеи. В обитом медью сундучке с поднятой крышкой виднелись извивы тела удава. Его голова выглядывала из складок одеяла.

В большой корзине, выложенной соломой, спала обнаженная девочка. Она лежала на боку, повернув лицо к огню и подогнув ноги. Одна ее рука, сжатая в кулачок, пряталась под подбородком, вторая лежала на краю корзинки. Томас с удивлением посмотрел на нее. Судя по всему, ей было лет десять-одиннадцать. Бросались в глаза светло-коричневая кожа, светлые с золотистым оттенком слабо волнистые волосы, коротко обрезанные до одинаковой длины вокруг головы. Ее плечи и бедра отличались хрупкостью округлых форм. На еще плоской груди небольшими пятнышками выделялись соски, похожие на зерна пшеницы.

— Это Далла, — сообщил Леон. — Она наездница, приехала из Венгрии. Родители оставили ее мне, чтобы девочка совершенствовалась в своем номере, пока они выступают в Лондоне. Они антиподисты. Ты знаешь, что это такое?

— Да, конечно… А ей не холодно лежать вот так?

— Она привыкла… не любит носить одежду. Когда она выступает, родители надевают на нее какие-то золотые полоски, и, едва закончив выступление, она тут же срывает все с себя… Это удивительное существо!.. Присядь-ка здесь… Я сейчас вылечу твой грипп…

В большой медной кастрюле с черным дном, водруженной на треногу над грудой пылающих углей, слегка колебалось озеро красного вина на грани кипения. Томас увидел, как поднимающиеся пузырьки выносят на поверхность листья, кусочки кожуры и дольки лимона, окрашенные вином в фиолетовый цвет, веточки какого-то разваренного растения, круглые и овальные зерна, кубик чего-то, может быть, даже мяса…

Леон схватил кастрюлю за ручку, обжегся, выругался, обернул ручку тряпкой, выхваченной из корзинки со змеей в черных и зеленых пятнах, поднял кастрюлю обеими руками и вылил содержимое в эмалированный тазик.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

Потом добавил в тазик пять столовых ложек горчицы и литр уксуса, перемешал все поварешкой и сунул в полученную микстуру толстый, похожий на сардельку палец. Лизнув его, он добавил в варево горчицы, очевидно, для повышения эффективности, а также немного холодного вина для получения нужной температуры.

— Опусти ноги в таз…

— Что? Да у меня сразу же слезет вся кожа с ног!

— Ничего у тебя не слезет! Делай что я говорю, юный осел! Ты должен подчиняться мне — я знаю все, а ты не знаешь ничего…

— Вообще-то, это так, — согласился Томас.

Чтобы спуститься к Леону, он натянул на ноги носки из той же грубой шерсти, что и шапочка. Теперь он снял их и попытался закатать штанины, но они оказались слишком узкими.

— Помоги мне стащить их, — обратился он к Леону.

Он тут же остался без штанов, отшвырнутых в сторону Леоном и упавших на клетку с Флорой, синей попугаихой. Она возмущенно заорала; издаваемые птицей звуки напоминали грохот металлической банки, катящейся вниз по металлической же лестнице. Попугаиха была занята высиживанием яйца. Она сносила по одному яйцу ежегодно. После продолжительного высиживания, когда становилось ясно, что у нее ничего не получается, она с отчаянием обращалась к Леону:

— В чем тут дело? В чем тут дело?

Ничего другого она говорить не умела.

— Тебе нужен муженек, моя бедная Флора, — отвечал Леон.

Леон однажды даже нашел ей мужа, но тот не понравился Флоре, и она прогнала его, перед этим выдрав у него все перья из хвоста.

Томас опустил левую ногу в тазик и сразу же громко заорал. Потом опустил в него вторую ногу и закричал во второй раз. Далла подпрыгнула в своей корзинке, открыла небесно-голубые глаза, посмотрела в пространство и сразу же снова закрыла их. Поерзав, она зарылась в солому, погрузившись в нее с головой. Ее волосы смешались с золотистой соломой.

Тридцать первый опустил морду к креслу фиалкового цвета и подобрал пучок сена, специально положенный туда для него.

Томас почувствовал, как десять тысяч муравьев впились в каждый квадратный сантиметр кожи его ног. От опущенных в кошмарный бульон ног вверх поднималось восхитительное тепло. Леон заставил его выпить все, что оставалось в кастрюле, перед этим добавив в нее полбутылки белого рома. Он знал, что Томас никогда не пил ничего крепче чистой воды. Томас почувствовал, как у него в груди возник второй очаг тепла, тут же начавший спускаться навстречу первому, уже добравшемуся до коленей. Соединившись, оба очага тепла устремились вверх, дохнув огнем в его нос и уши. Почувствовав опасность, Томас хотел встать, но не смог. Он понимал, что его ноги превратились в два воздушных шара, и если он вытащит их из красного моря, они поднимут его в воздух, головой вниз. В его внезапно очистившиеся ноздри вливался запах кипящего вина, трав Прованса и семян Востока. Его легкие заполнились воздухом, глаза раскрылись. Он увидел Леона, усевшегося за рояль и заигравшего какую-то цирковую мелодию. Его толстые пальцы ударяли сразу по двум соседним клавишам, они разбивали клавиши и нарушали все законы музыки. Томас слышал музыку глазами, ее цвета менялись от низких звуков до высоких, рояль стал ярко-красным с нечеткими полосками индиго. Тридцать первый стал лимонно-желтым, кресло — зеленым, а сено — ярко-красным. Далла открыла глаза, подняла голову, посмотрела на Томаса и улыбнулась ему. У нее на лице оказались две улыбки — одна голубая, а другая — цвета

лютика. Она встала, и красные стебли соломы рассыпалась вокруг нее. Она хлопнула в ладоши; раздавшийся грохот имел запах рома и ванили. Тридцать первый повернулся и перекрасился в алый цвет. Потом он двинулся рысцой по устланной соломой дорожке. Далла подбежала к месту, где он должен был оказаться через несколько секунд, оттолкнулась обеими ногами от паркета, взлетела в воздух с диким криком и приземлилась на спину лошади, оставшись на ногах.

Восхищенный Томас встал, опрокинул тазик и упал. На четвереньках, оставляя за собой след гигантской маринованной улитки, он направился к стеклянной двери салона, сквозь которую в помещение вливалось пенящееся солнце. Он уцепился за ручку, поднялся на ноги и распахнул обе створки, наполняя грудь потоками света и открыв рот, чтобы напиться светом и захлебнуться в нем.

Он успел охватить взглядом множество почек каштана, протыкающих своими фиолетовыми стрелками оранжевое небо. Потом на него с головы до ног обрушился холод, швырнувший его в комнату. Юноша упал под ноги Тридцать первому, успевшему перепрыгнуть через него. Леон поднял Томаса, вскинул себе на плечо и поднялся наверх в свою комнату, где и уложил его в постель. В комнате стояли, между ящиками и чемоданами, две лишние кровати, предназначавшиеся для приезжих гостей.

Когда вернувшаяся Элен нашла комнату Томаса пустой, она бросилась, словно фурия, искать сына. Прежде всего накинулась на Леона, который, как она была уверена, не мог не оказаться участником исчезновения юноши. Тем более что соответствующих примеров было более чем достаточно! Она с радостью оставила бы этот дом со всеми его невероятными обитателями, но плата за квартиру была такой скромной, да и большой парк вокруг дома… Расставшись с островом, она долго страдала от отсутствия рядом деревьев. Здесь у нее не было времени, чтобы гулять по парку, но она ощущала дружеское присутствие деревьев, благотворное, несмотря на то, что у нее не было лишней минуты, чтобы взглянуть на них. Ночами, какими бы они ни были холодными, она оставляла окно приоткрытым, чтобы впускать в комнату их запахи и шум листвы. Когда ветер дул с запада, перескакивая с одного дерева на другое, ей чудилось, что она слышит, как голос леса на острове Сент-Альбан откликается на бесконечное бормотание океана.

Леон показал ей Томаса на медной кровати, на которой тот спал, обняв мешок с овсом. Он накрыл его роскошной белой шкурой Жан-Жана, своего белого медведя, умершего прошлой осенью. Между краем медвежьей шкуры и шапочкой из аранской шерсти, натянутой Томасу до самых глаз, можно было увидеть только его красный нос и часть щеки с выступившими каплями пота.

Элен простонала:

— Боже! Что вы с ним сделали? Что с ним?

— С ним все в порядке, — с гордостью заявил Леон. — Он здоров.

Томас не совсем спал и не совсем проснулся. Он пытался вспомнить точное количество почек на каштане. У него получалось плохо. Он считал: «Одна, две, три…сто…тысяча…» Но это явно был плохой метод. Когда он недавно просто глянул на дерево, сразу узнал, сколько почек на его ветвях. И ему не нужно было считать их по одной. Но он больше не умел действовать таким образом. Эта замечательная способность пропала.

— Что здесь происходит?

Палец Элен остановился на бугорке, образованном медвежьей шкурой рядом с телом Томаса.

— Ничего особенного, — ответил Леон.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

Элен приподняла шкуру и обнаружила совершенно голую Даллу, спавшую, прижавшись к Томасу.

Задохнувшись от неожиданности, Элен несколько секунд соображала, какого пола существо, спавшее рядом с ее сыном. Потом воскликнула:

— Это же девочка!

— Да нет же, — сказал Леон. — Ничего особенного, это же Далла… Она всегда забирается для сна в самое теплое место… Совсем как кошка… Если она не носится, она спит…

Его большая ладонь осторожно похлопала маленький зад коричневого цвета. Далла открыла голубые глаза, села и улыбнулась.

— Иди к лошадям, — сказал Леон.

Потом он повторил эту фразу на цыганском языке. Далла спрыгнула с постели и выскочила из комнаты.

— Томас! — крикнула Элен. — Томас! Немедленно поднимись к себе!

Томас немного сморщил нос и пошевелил губами, но не открыл глаза.

— Он спит и не слышит вас, — сказал Леон. — Оставьте его. Ему нужно еще немного пропотеть. После этого я подниму его наверх. Лекарство, которое я ему приготовил, очищает кровь по меньшей мере на полгода…

* * *

На площади Сен-Мишель была выкопана огромная яма. В ней мог скрыться до половины высоты собор Нотр-Дам, а если на него немного надавить, то он поместился бы и целиком.

Под слоем наносов выработка на глубине в 20 метров вошла в белую плоть основания Парижа, в чистый известняк, состоящий из множества скелетов микроскопических существ, когда-то населявших простиравшееся на этом месте древнее море. Тысяча этих малюток не смогли бы заполнить и глаз блохи.

Гигантский металлический параллелепипед с каждым днем все ниже и ниже уходил в дыру. В нем помещалась станция метро, получившая позднее название «Сен-Мишель». От него отходил туннель, который должен был пройти под Сеной.

Точно такой же туннель собирались пробить и под горой Монблан, чтобы уложить в нем рельсы железной дороги. Говорили даже, что еще один туннель должен был пройти под Ламаншем, чтобы связать французский Кале с английским Дувром. Никто не верил возможности реализовать этот проект, хотя англичане и говорили «да». Было хорошо известно, что на деле это означало «нет».

* * *

Когда Элен перебралась из Англии в Париж, она сняла комнату в отеле неподалеку от вокзала Сен-Лазар. Опасаясь континентальных жуликов, она хотела немедленно положить в банк имевшиеся у нее небольшие деньги. Вместе с сыном она приехала в фиакре к заведению под названием «Бритиш Банк», адрес которого ей дал консьерж отеля. Это было небольшое отделение лондонского банка, но клиенты у него имелись весьма солидные. Элен, еще не оформившая к этому времени развод, узнала, что она не может стать клиентом банка без согласия мужа.

Директором отделения был тогда мистер Уиндон, англичанин с достаточно широкими взглядами; он случайно оказался компаньоном принца

Уэльского, будущего Эдуарда VII, во время его парижских похождений. Он считал себя обязанным помогать соотечественникам, рискнувшим перебраться во Францию. Потому лично принял Элен, просмотрел ее документы и удивленно воскликнул, узнав, что она была дочерью сэра Джона Грина. Уиндон прекрасно знал его! Ему приходилось иметь с ним дело, когда тот держал деньги в лондонском «Бритиш Банке»!

Он поинтересовался новостями о ее родителях и сестрах. Элен довольно сухо ответила, что у нее исключительно прекрасные новости. Мистер Уиндон не стал уточнять, хотя у него имелись для этого основания.

Он сразу же нашел выход из сложившейся ситуации, ловко обойдя существующие правила. Разрешил Элен получить абонемент на отделение в банковском сейфе и вручил ей ключ со всеми полномочиями.

Успокоившись, Элен попросила у него совет, так как хотела снять приличное жилье как можно дешевле и ее интересовала возможность устроиться на работу. Она неплохо знала французский и очень хорошо — латинский и греческий языки, а также археологию Шумера.

— Да, да… Конечно, Шумер… Это очень интересно, — пробормотал мистер Уиндон.

Сидя за своим столом из красного дерева, доставленным из Лондона, он внимательно смотрел на Элен, поглаживая гладко выбритый подбородок и аккуратно подстриженные по последней французской моде усы. Для него было очевидно, что ему стоит поддерживать отношения с дочерью сэра Джона Грина. Он покрутил ручку телефона и связался со своим приятелем, господином Лабассьером.

Элен, напряженная словно струна, сидела на краешке стула. Томас, который пока еще был Джоном, устал, хотел есть и спать. Стоя рядом с матерью и опустив голову ей на колени, он слегка хныкал, посасывая свой палец. На нем был костюмчик из белой стеганой ткани. Ему на этот момент исполнилось полтора года. Мать время от времени заставляла его выпрямиться, говоря «Keep straight»[1], и вынимала палец у него изо рта. Он немедленно снова совал его в рот.

Мистер Уиндон быстро дозвонился до господина Лабассьера. Телефонная связь между банками была хорошей. Мистер Уиндон сказал господину Лабассьеру, что вспомнил о его забавном доме, кажется, где-то в районе Пасси, с которым тот не знал что делать. Может быть, его можно было сдать?

Держа трубку в левой руке, он правой пометил в записной книжке: «Ир. шок.», что означало: послать шоколад Ирен, чтобы отблагодарить Лабассьера.

Таким образом, Элен обосновалась сначала в двух, а затем в трех комнатах для прислуги, которые она успешно превратила в приличную квартиру. Заодно именно господа Уиндон и Лабассьер нашли для нее первых учеников.

Мистер Уиндон продолжал поддерживать с Элен весьма сердечные отношения. И не только дружеские.

* * *

Томас спал, обливаясь потом, еще пять часов. Элен спускалась к нему несколько раз, все сильнее и сильнее беспокоясь за него. В четвертый раз она осталась с ним. Сидела на мешке с овсом, лежавшем возле постели, не

[1] Стой прямо (*англ.*).

«Всемирная литература» в «Нёмане»

сводя с Томаса глаз. Проснувшись и увидев ее, он пробормотал: «Мама…» Она зарыдала, словно ему удалось избежать смерти.

Несмотря на протесты Элен, Леон раздел Томаса догола и обтер его, словно лошадь, жгутом из соломы. Томас смеялся и орал, как будто Леон сдирал с него шкуру. Элен тоже кричала что-то по-английски. Леон смеялся и продолжал обрабатывать Томаса пучком соломы. Потом он завернул юношу в медвежью шкуру и на руках перенес наверх.

Томас действительно выздоровел, но лечение вымотало его. Мать завершила лечение, заставив его выпить настойку из трав, присланных из Ирландии ее сестрой Элис, ставшей монашенкой монастыря Mary-of-the-Holy-Spirit[1]. Травы приносили в монастырь крестьяне из Коннемары[2], собиравшие их при необходимом положении Луны на западных склонах холмов, где они росли, овеваемые морскими ветрами. Они, к сожалению, давно утратили первоначальную свежесть, сохранив от множества ароматов только передавшийся настойке рыбный запах.

Оставшееся время Томас провел в дремоте, переваривая спиртное, пряности и травы. Ночью он проснулся, кинулся на кухню и уничтожил там все, что нашел из съестного.

Утром, с первыми лучами солнца, Элен услышала, как он напевает что-то, и у нее сразу полегчало на сердце. Она занялась завтраком.

Наступила пятница, первый день февраля. «Матэн» опубликовал письмо маркиза де Диона, известного конструктора автомобилей.

«Я прочитал в «Матэн» о грандиозном проекте маршрута Пекин—Париж. Дороги, по которым должны пройти машины, отвратительны и нередко существуют только на картах… Но я считаю, что если автомобиль может, в принципе, проехать, машина фирмы «Де Дион-Бутон» пройдет обязательно!

Это проект в стиле Жюля Верна или Майн-Рида, но мы осуществим его…»

Дверь, выходящая на мостик, хлопнула. Элен ушла на утренние занятия. Томас слышал, как под ее легкими ногами загремели металлические ступеньки. Дверь комнаты отворилась, и на пороге возникла совершенно обнаженная Далла. Закрыв дверь за собой, она улыбнулась Томасу. Улыбка ее на этот раз показалась ему несколько натянутой. Она подбежала к постели, поднялась на кончиках пальцев и поцеловала Томаса в губы, словно клюнула его, как птичка. В следующее мгновение она скользнула под одеяло и заснула, прижавшись к нему. У него не губах остались ее запахи: запах кофе, который она только что выпила, запах тартинки с медом, съеденной ею, запах ее волос, неотличимый от запаха свежего сена. Она лежала на боку, плотно прижавшись к нему. Одной рукой она обхватила его за грудь, вторая осталась согнутой у нее под подбородком. Он ощущал тепло и нежность ее кожи, несмотря на одетую на нем рубашку. Он не осмеливался пошевелиться. Тонкая рука, лежавшая на нем, потрясла его. Ему казалось, что к нему внезапно прилетела синичка или жаворонок, чтобы доверчиво заснуть в его руках.

Томас вспомнил то, что видел вчера. Он увидел Даллу, спящую в своей корзинке. Потом увидел, как она вскакивает и бежит; потом ее голубая фигурка взлетела на алую лошадь. Последовала серия цветных образов, и он понял, что произошло чудо: он увидел мир в красках, в подлинных красках и в истинном свете, скрывающихся под покровом повседневности, которые могут увидеть только глаза, умеющие смотреть.

[1] Матери Марии и Святого Духа.

[2] Коннемара — географическая область в графстве Голуэй на западе Ирландии.

— Ко-а! Ко-а! — каркнул Шама. Он уселся за окном и принялся стучать клювом по стеклу. Далла проснулась, села и засмеялась. Потом подбежала к окну и распахнула его. Шама влетел в комнату, направляясь к камину, но тут же заметил Даллу, повернул к ней и опустился ей на голову. Потом он поинтересовался:

— Ку-а?.. Ку-а?..

Это означало: что ты здесь делаешь?

Она ответила ему по-венгерски. Ворон понял ее. Она вернулась в постель, легла и тут же заснула. Шама продавил своим животом впадину в пуховике, сделав таким образом гнездо. Клюнув, он подобрал крошку, запутавшуюся в кружевах. Это было все, что осталось от завтрака.

Томас улыбнулся, и кончик его носа немного отклонился влево. Когда ему было четырнадцать лет, он боксировал с Леоном и заработал сломанный нос ударом французского бокса, на который неосмотрительно нарвался. Леон вскрикнул, как будто удар достался ему. Он принялся лечить Томаса натертым луком. Томас заорал, отшвырнул лепешку из тертого лука и взлетел по лестнице к себе. Когда Элен увидела сына, пропахшего луком, с распухшим кровоточащим носом и подбитым глазом, она едва не упала в обморок. Потом схватила первое подвернувшееся под руку оружие, которым оказался молоток, скатилась вниз по лестнице и кинулась на Леона, намереваясь убить его. Леон грустно сказал:

— Вы совершенно правы, убейте меня!

Она ударила его молотком в грудь, но это было все равно, как если бы она ударила стенку. Она в слезах поднялась наверх. Томас! Ее Томас! Ее любимое дитя, такое прекрасное! Его искалечило это чудовище!

Леон последовал за ней. Он заменил лук настойкой из цветов календулы, настоянными в сливовой водке, и все уладилось. Сломанный нос был почти не заметен, он всего лишь слегка утратил прямолинейность, которая могла показаться безвкусной. С тех пор, когда Томас улыбался, нос тоже немного улыбался вместе с глазами, а когда он приходил в бешенство, что случалось редко, но выглядело ужасно, его лицо становилось похожим на физиономию свирепого варвара, готового убивать.

* * *

К концу недели редакция «Матэн» получила более двух десятков заявок на участие в пробеге Пекин—Париж. Маркиз де Дион предложил две своих автомашины, конструктор Конталь — три легких трехколесных машины марки «Мототри».

«Матэн» сравнивала трудности предприятия с завоеванием полюса. Действительно, значительная часть пробега была путешествием в неизвестное. Его организаторы встретились с конструкторами-конкурентами, прибывшими в Париж, чтобы обсудить регламент пробега. Чем больше они спорили, тем больше понимали, что не только разработка правил, но и сам пробег был неосуществим. Невозможно было определить маршрут, потому что никто не знал, имеются ли — пусть не дороги, а хотя бы тропы на значительной части территории Китая и России. Наверняка никаких дорог не было через пустыню Гоби и через Уральские горы.

В конце концов, был опубликован крайне упрощенный регламент — нечто уникальное в истории автомобилизма. Фактически, не было разработано никаких правил, никаких требований. Конкурентам всего лишь нужно было выехать на автомобилях из Пекина и приехать в Париж.

«Всемирная литература» в «Немане»

Организаторы пробега потребовали от участников взнос в две тысячи франков. Эта значительная сумма была установлена исключительно с целью отсечь всех, кто записался для участия в мероприятии только для того, чтобы о них заговорили, тогда как они на деле не собирались участвовать в пробеге. Эта мера оказалась весьма действенной. Количество участников уменьшилось до пяти. Шестой участник появился за три недели до отправки автомобилей в Китай. Он прибыл из Индии и собирался проехать по маршруту под флагом махараджи Марабанипура. Это был американец по имени Клайд Шеридан. Его сопровождали жена и двенадцатилетний сын. В команде принимали участие также механик и его жена.

Махараджа открыл щедрое финансирование Шеридана в «Бритиш Банке» Лондона, который перевел деньги махараджи в свое парижское отделение. Команда устроилась в отеле неподалеку от Оперы. Выяснилось, что жена Шеридана — настоящая красавица. «Матэн» и «Иллюстрасьон» опубликовали ее фотографии — сидящей рядом с мужем в одеянии индуса за рулем «Камберленда», на котором Шеридан собирался принять участие в пробеге и который он получил из Лондона, — последняя модель этой марки, усовершенствованная и самая мощная, получившая название «Золотой призрак». Золотой потому, что таким был цвет кузова и медных деталей, а призраком он был из-за того, что автомобиль, по словам конструкторов, мчался с такой скоростью, что не успевал появиться, как уже исчезал вдали.

Элен не читала французские газеты, а поэтому не видела фотографий Шеридана и его жены. Но второго апреля в три часа, когда она зашла в банк, чтобы положить на свой счет небольшую сумму, получившуюся в результате экономии, она оказалась лицом к лицу со знаменитой парой.

Американец был в европейском костюме, но с тюрбаном снежной белизны, украшенном спереди огромным рубином, явно фальшивым. Он был с небольшой квадратной бородкой благородного оттенка, почти седой. Его жена успела перенять, отважно, но с достаточным вкусом, последнюю парижскую моду. На платье зеленого и палевого цвета с широкими вертикальными полосами было надето широкое верхнее платье из меха опоссума; ее руки скрывались в муфте из меха этого же животного. На голове у нее была необыкновенная шляпка — настоящий шторм зеленого бархата, на волнах которого взмахивали раскинутыми крыльями две чайки.

Госпожа Шеридан ошеломленно уставилась на Элен. Она не верила своим глазам. Элен смотрела на нее с болезненной смесью радости и растерянности, так как в ней вспыхнула память о счастливых днях юности, захлестнувшая сердце. Она задрожала, негромко вскрикнула, стиснула руки в черных перчатках и произнесла: «Гризельда!..[1]»

Она с первого взгляда узнала сестру. Гризельда! Самая красивая из сестер! Самая свободная! Покинувшая остров, чтобы исчезнуть в океанских туманах, о которой потом никто никогда ничего не слышал…

А в ее муже, считающемся американцем, она сразу же узнала, несмотря на бородку и тюрбан, Шауна Аррана, шофера тетушки Августы, раненого героя-мятежника, открывшего объятья для Гризельды и увлекшего ее далеко от родных, от острова и от Ирландии.

---

[1] Гризельда — имя немецкого происхождения, символизирует предрасположенность к жизни подвижника. Встречается в средневековом фольклоре, в новелле Боккачо, в «Кентерберийских рассказах» Чосера, в нескольких операх. Название астероида поперечником в 46 км, открытого в 1902 г.

* * *

Мистер Уиндон, директор отделения «Бритиш Банка» в Париже, был прежде всего англичанином. И в дополнение к деятельности банкира, он добровольно выполнял функции осведомителя Foreign Office[1], сообщая ему все, что узнавал о происходящем во французской столице, так или иначе способном затронуть интересы британской империи. Он был весьма ценным осведомителем и при этом любил Париж; в связи с этим его много лет оставляли на работе в банке, и он ничего не имел против, хотя и мог претендовать на более блестящую карьеру, если бы перебрался в Лондон.

Одним из лиц, на которые начальство обратило его внимание, поскольку это лицо могло оказаться в Париже, был человек по имени Рок О'Фарран, известный также как Шаун Арран. Он бежал из Ирландии вместе с одной из пяти дочерей сэра Джона Грина и постоянно отправлял из-за границы инструкции и деньги мятежникам. За несколько лет он превратился в опасного врага Короны, но до сих пор ни одному из агентов Форин Оффис не удалось выяснить его нынешнее имя и установить место проживания.

Господин Уиндон, хотя и без особой надежды, допускал возможность того, что Элен, которой он оказал услугу, когда-либо сможет, пусть даже и не догадываясь об этом, дать ему какую-либо информацию. Он не упускал ни одной возможности побеседовать с ней и всегда интересовался новостями о ее семье. Сотрудники должны были всегда предупреждать его, когда Элен появлялась в банке.

Уиндон знал, что сбежавшую дочь почтенного лендлорда звали Гризельдой. В тот момент, когда он открывал дверь своего кабинета, услышал, как Элен произнесла это имя. Он осторожно прикрыл дверь, оставив достаточно большую щель, чтобы увидеть, как господин Шеридан прижал палец к губам и как Элен с удивлением посмотрела на него.

Когда три интересовавших его человека выходили, господин Уиндон заметил, что «американец» слегка прихрамывает. В досье на Рока О'Фаррана отмечалось, что вождь мятежников мог получить рану во время схватки с констеблями.

Этим же вечером он отправил сообщение своему начальству в Лондоне. Через пару недель банкир получил письмо с рядом вопросов. От него требовали информацию о Шеридане-Арране-О'Фарране, которой он не обладал. К тому же, Шеридан на днях сел в Марселе на корабль, отправлявшийся в Китай, вместе с другими участниками пробега и их автомобилями. Чтобы продолжать слежку за ним, достаточно было читать газеты.

В очередном сообщении, отправленном в Лондон, господин Уиндон уточнил, что госпожа Шеридан, оставшаяся в Париже, продолжала жить в том же отеле, что и раньше. В беседе с Уиндоном она сказала, что будет дожидаться возвращения мужа, разумеется, возвращения с победой.

В этом же донесении господин Уиндон сообщал, что во время своего пребывания в Париже Шеридан не только не брал деньги из банка, но и вносил на свой счет значительные суммы. Банкир позволил себе высказать предположение, что Шеридан, вернувшийся из Индии, мог привезти с собой большое количество драгоценных камней, которые постепенно продавал в Париже. Махараджа Марабанипура был известен своими огромными сокровищами, основной объем которых был представлен жемчугом и драгоценными камнями. Вряд ли ирландцу удалось украсть часть этих сокровищ. Скорее следовало предполагать, что два этих человека

[1] Фо́рин О́ффис — внешнеполитическое ведомство Великобритании, фактически министерство иностранных дел.

заключили союз для борьбы против господства Англии. Достаточно было вспомнить, что район Марабанипура на протяжении ряда лет был центром выступлений против англичан. На самого махараджу до сих пор не пало никаких подозрений, но не исключено, что это было связано всего лишь с плохой работой осведомителей… Мистер Уиндон осмелился высказать подобные предположения, хотя отнюдь не считался специалистом по Индии. Он добавил, что накануне своего отъезда Шеридан снял все имевшиеся на его счету деньги. Что он собирался делать с ними в Пекине?

Сразу скажем, что господин Уиндон ошибался, рассуждая о том, как Шеридан хотел использовать фунты стерлингов, которые получил в его банке. Он взял с собой в Пекин всего лишь деньги, необходимые для расходов во время пробега. Основная сумма осталась у Гризельды, хорошо представлявшей, что делать с этими деньгами.

* * *

Далла приходила к Томасу каждое утро. Она всегда спала рядом с ним, полностью расслабившись, вытянувшись вдоль его левого бока и положив руку на грудь юноши. Ее рука казалась Томасу почти невесомой, словно это была тонкая веточка. При этом она так плотно прижималась к нему, что почти лежала на нем. Перед тем как скользнуть к нему под одеяло, она целовала его в губы, и поцелуй этот всегда был легким, словно взмах крыльев пчелы, с ароматом кофе и меда. Иногда Далла целовала его уходя. Она всегда мгновенно просыпалась, как и засыпала, и на ее губах постоянно играла улыбка. Проснувшись, она или сразу же убегала, или садилась возле Томаса и рассказывала ему, сопровождая свой рассказ выразительными жестами, какую-нибудь историю на венгерском языке. Иногда эти истории были серьезными, иногда забавными, и она смеялась.

Однажды утром Далла сказала Томасу что-то показавшееся ему очень важным, но он понял ее слова не лучше, чем все остальное. Она несколько раз повторила свою фразу с раздраженным видом, так как считала, что он обязательно должен понимать ее. Ведь это было так просто! Наконец она отказалась от дальнейших объяснений, покачав головой, что должно было означать: «Какой же ты глупый!» Потом рассмеялась, поцеловала его и убежала. Шаги ее маленьких ног прозвучали на металлической лестнице так, словно по ней торопливо пробежала небольшая собака.

На следующее утро она не пришла. Томас сначала удивился, напрасно прождав ее, потом почувствовал себя несчастным. Его рука то и дело наталкивалась на пустоту там, где должна была находиться Далла. И эта пустота оказывалась для него невыносимо тяжелым грузом.

Прождав целый час, он натянул брюки и накинул на себя плащ, после чего с грохотом скатился вниз по лестнице. В салоне никого не было.

— В чем тут дело? В чем тут дело? — заинтересовалась заволновавшаяся синяя попугаиха Флора.

Он крикнул:

— Где Далла?

Стоявшая перед камином большая корзина опустела. Сверху в нее опустилось синее перышко, и его тут же подхватил поток воздуха, уносившегося в камин. Томас выскочил на улицу. Под каштаном Леон в очередной раз старался научить боксировать Талко, бурого медведя. Он уже несколько месяцев пытался сделать номер с кулачным боем между человеком и медведем. Но Талко отказывался надевать перчатки. Он сразу же отшвыривал их в сторону и отрицательно мотал головой. Леон с бесконечным терпением начинал снова и снова, соблазняя медведя кусочками сахара.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

— Где Далла? — крикнул Томас. — Она заболела?

— Она никогда не болеет, — пожал плечами Леон. — Тебе ее не хватает?

— Да, конечно!

Над остроконечными почками каштана простиралось синее небо с белыми облаками. Сильно пахло дымом от горящих дров.

— Она там, — сказал Леон.

Обернувшись, он протянул руку к небольшой конюшне. Томас подбежал к ней и открыл створку в верхней части двери. В лицо ему ударила волна теплого воздуха с сильным запахом стойла. Он сразу же увидел ту, которую искал. У Вероники, кобылы в яблоках, вчера родился жеребенок. Обнаженная Далла спала у нее под ногами, рядом с жеребенком серебристого цвета.

* * *

1 марта в Пекине Вай Ву Пу, главный советник империи, провел заседание Совета с целью изучить проект пробега Пекин—Париж. В китайской столице знали, что такое автомобиль. Во многих иностранных посольствах имелась хотя бы одна автомашина. Простые китайцы давно перестали пугаться машин и со смехом провожали проезжающие мимо машины с их вонючим дымом и грохотом двигателя, похожие на дракона на поводке. Но грамотная часть населения не была уверена, что эти железные звери не являлись замаскированными демонами, которые, постепенно размножаясь, могут причинить людям огромный вред. На Совете раздавались голоса, отражавшие опасение, что автопробег был всего лишь способом открыть новый путь для вторжения европейцев в империю, уже наметившийся с разных направлений благодаря агрессивности Запада. Но небольшое количество отобранных для участия в пробеге автомобилей успокоило большинство советников. Кроме того, все они были уверены, что ни одна машина не сможет пройти даже половину маршрута. Через несколько дней император Тзе-хи, основываясь на выводах Совета, дал разрешение на проведение автопробега.

В Париже зима постепенно отступала. В парке, окружавшем круглое здание, на деревьях начали распускаться почки. Повсюду на кустах появились желтые и красные цветы, названия которых Томас не знал. Листья на каштане увеличивались с удивительной быстротой, тогда как на платанах еще не осмеливались проклюнуться почки. Когда Томас поднимал голову, чтобы проследить за поведением листвы, он видел светящееся небо сквозь миллионы миниатюрных крылышек.

Далла больше не приходила к нему по утрам, чтобы спать рядом с ним. Леон заставлял ее работать с первыми лучами зари, снаружи, когда стояла хорошая погода, и в салоне, если шел дождь. После того как уходила на занятия Элен, наметившая Томасу программу занятий на весь день, он спускался вниз с книгой под мышкой. Томас забросил свои альбомы для рисования. Ему больше не хотелось копировать то, что он видел. Но его по-прежнему ослепляли красота деревьев и животных, а также Далла, превосходившая все остальное своей красотой.

Чтобы приучить девочку к рабочей одежде, Леон надевал на нее закрепленную на талии резинкой короткую юбочку из нескольких полос цветной ткани. Выглядела она забавно и достаточно нелепо. Далла запрыгивала на спину Веронике, совершала опасный обратный переворот, вставала на ноги у лошади на спине, потом хваталась за сбрую и делала стойку на руках,

«Всемирная литература» в «Нёмане»

прямая, словно восклицательный знак. Юбочка падала вниз, открывая ей попку. Вероника трусила рысцой, перемещаясь из тени на солнце и с солнца в тень. Далла спрыгивала с лошади, приземляясь то на руки, то на ноги, на газон, по которому описывала круги Вероника, и в конце концов срывала с себя жалкие тряпицы, чтобы открыть четкую грациозность тела, гладкого, словно галька, извлеченная из бурного потока. Она видела перед собой только Веронику, продолжавшую равномерно описывать круги, вокруг которой она кружилась, словно огонек Луны вокруг серебряной массы Земли. А вокруг этой пары кружились деревья вместе с распевающими весенние песни птицами и вся вселенная. Леон, бородатое божество, бурчал по-венгерски: «Быстрее… Так, хорошо… Сейчас выше… Теперь повтори…» И она повторяла все с самого начала. Ее подгоняли дружеские щелчки бича. Томас улавливал на вершине очередного кульбита вспышку синих глаз. Наконец Вероника останавливалась, мотала головой и подходила за положенным ей кусочком сахара. Далла спрыгивала на землю, кидалась поцеловать Томаса, потом кидалась поцеловать Леона, с трудом разбираясь в зарослях его бороды, целовала Веронику, после чего исчезала в цветущих кустах, среди которых несколько мгновений развевались ее золотые волосы. Через некоторое время Томас обнаруживал ее спящей, свернувшейся клубком в кольце солнечных лучей.

Однажды вечером в небольшом павильоне, в котором жили сторожа со своими семьями, отмечалось какое-то событие с песнями на венгерском языке и цыганскими плясками. Оказалось, что из Лондона вернулись родители Даллы. Томас только на следующий день узнал, что она уехала со своими родителями и братьями.

Леон прекрасно понимал глубину переживаний Томаса. Он как мог не позволял ему погрузиться в тоску. Гонял его на гимнастических снарядах, занимал боксом и бегом. Надев перчатки, Томас бросался на него и наносил бесчисленные удары своей неизлечимой печали. В тот момент, когда она, казалось, становилась сильнее его, Леон мощным ударом своей огромной лапы отправлял его в нокаут. Гнев поднимал юношу на ноги и спасал его от тоски.

Томас не мог забыть то, что нельзя забыть. Но Леон нашел утешившие его слова:

— Тебе невероятно повезло, что ты смог увидеть ангела. И удача не изменила тебе, когда он исчез. Скоро этот ребенок, этот ангел станет девушкой. А девушка — это уже не ангел…

* * *

Отряд гусаров в небесно-голубых доломанах и красных панталонах выезжал с площади Военной школы на авеню Мотте-Пике. Блестящие, словно оводы, они ехали на рыжих лошадях, направляясь в сторону Дома инвалидов. Копыта лошадей с новыми подковами звенели на сухих булыжниках мостовой. Огромная телега, груженная бочками с вином и запряженная четырьмя тяжеловозами, белыми, словно для новобрачных, создававшая адский грохот своими обитыми железом колесами, появилась с авеню Боске. Возчик в коричневой куртке шагал, слегка раскачиваясь, как моряк, рядом с первой парой, положив кнут на плечо, и что-то говорил лошадям.

Элен в черном костюме на черном велосипеде проскользнула между телегой, фиакром и развозившим почту трехколесным мотороллером и пристроилась за отрядом гусаров. Вечернее солнце бросало яркие блики на крупы лошадей, заставляло сверкать рукоятки сабель и медные пуговицы мундиров. Стайка воробьев опустилась на кучку свежего, еще дымящегося навоза и принялась копаться в нем.

Сестры, встретившиеся в банке, договорились о встрече послезавтра в Дворце инвалидов. Гризельда попросила Элен не приходить к ним в отель. С блестящими от волнения глазами она сильно стиснула руку сестры, но не стала ее обнимать. Они с Шауном тут же ушли из банка.

Элен, не имевшая представления о тайнах, окружавших сестру с мужем, на всякий случай не стала рассказывать Томасу о неожиданной встрече. Она хотела сперва побольше разузнать от сестры.

С прической, представлявшей целую клумбу лилий, над которой порхала белая цапля, в шубке из меха выдры, Гризельда, прислонившись к балюстраде, рассматривала установленный внутри склепа громадный саркофаг из розового порфира, в котором, лицом к алтарю, покоился император в мундире офицера конных стрелков, ожидая, когда настанет день и Господь возьмет императора за превратившуюся в пепел руку, чтобы опустить его на весы.

Гризельда, дочь внучатой племянницы герцога Веллингтона, победителя в битве при Ватерлоо, часто слышала, что о Наполеоне говорили как о враге рода человеческого, к счастью, побежденном семейным героем. Но Шаун научил ее воспринимать Наполеона иначе. Она попыталась представить жалкие останки, несколько костей внутри мундира, все, что осталось от военного гения и его мечты, погубленной упорством англичан. Она неожиданно почувствовала близость к невысокому погибшему титану, потому что вела такую же борьбу с тем же противником, не имея никакой надежды на победу. Но она была уверена, что настанет день, когда Ирландия станет свободной.

Несмотря на свое рождение в английской семье, Гризельда ощущала себя такой же уроженкой Ирландии, как Шаун, возможно, даже больше, чем он, потому что она должна была отвечать за поступки своих соплеменников, а Ирландией для нее был остров Сент-Альбан; ее Ирландию можно было обнять и прижать к сердцу.

Воспоминания об острове заставили ее прослезиться. Она приподняла край своей вуалетки и осторожно промокнула глаза, после чего спрятала платок в муфту.

Появилась Элен, вся в черном, и Гризельде, смотревшей, как она приближалась, показалось, что фигура ее сестры с времен их юности заметно уменьшилась. Она стала ниже, тоньше и теперь занимала гораздо меньше места в пространстве; казалось, ее тело непонятным образом сжималось. Гризельда даже испугалась, что если этот процесс не остановится, то сестра когда-нибудь просто исчезнет.

Элен остановилась перед ней, какое-то мгновение они молча смотрели друг на друга. Потом обнялись. Гризельда заполняла пространство вокруг себя ароматом редких духов и запахом дорогих мехов; она показалась Элен нежной и теплой, тогда как Гризельда восприняла сестру напряженной и холодной; она пахла ношеной одеждой и лавандовой водой для мужчин.

— Ты по-прежнему удивительно красива! — сказала Элен.

— О, я никогда не была красавицей, — отозвалась Гризельда.

Но, разумеется, думала она иначе…

Они засыпали друг друга вопросами и рассказами. Гризельда ничего не знала об Элен, о других сестрах и о родителях. Элен ничего не знала о Гризельде. Разговаривая, они медленно ходили по кругу, в центре которого лежал Император. Высокие белые колонны вокруг них устремлялись к куполу. Редкие солнечные лучи, пробивавшиеся сверху, играли на золотых деталях алтаря. Из расположенной рядом капеллы донеслись звуки органа. Затем послышались женские голоса. Звучал хорал.

Элен сказала:

«Всемирная литература» в «Нёмане»

— Первым скончался отец. Это было в сентябре… Ах, какого года? Я уже не помню… Моя память… Я постоянно чувствую себя такой уставшей… Мне написала об отце Китти… Подожди, у меня с собой ее письмо.

Перед тем как взять странички толстой серой бумаги, Гризельда сняла перчатки и сунула их в муфту.

В часовне к женским голосам добавились голоса детей, чистые, словно небесная синева.

Гризельда прочитала:

«...позавтракал, как всегда, с аппетитом, но потом не перешел, как обычно, в свой кабинет, а уселся в салоне в кресло, и Огонек, рыжий кот, которого мы захватили с собой, уезжая с Сент-Альбана, устроился у него на коленях. Когда я говорю Огонек, имея в виду его окраску, то забываю, что он давно уже не рыжий, так как стал почти белым от старости...»

— Огонек? — переспросила Гризельда. — Это ведь был кот Эми?

— Да, конечно, — ответила Элен.

— Но это невозможно! Еще до моего ухода он уже был стар как мир!

— Для животных Эми возраста не существует, ты же хорошо знаешь это…

— А Эми? Что с ней?

— Она ушла… Они все ушли…

Гризельда облокотилась на балюстраду и стала читать дальше. Солнечный свет, отраженный от алтаря, падал на письмо, и она хорошо видела текст, написанный Китти.

«...он ничего не говорил, а просто смотрел на окно напротив. Казалось, он прислушивается к чему-то. Я забеспокоилась и спросила, не болит ли что-нибудь у него. Он произнес в ответ фразу, которую я не поняла, и продолжал смотреть на окно.

Тогда Огонек зашипел и спрыгнул с его коленей на пол, взъерошенный, напряженный, похожий на маленького тигра. Он зарычал на окно, словно увидел за ним огромного пса, пытавшегося проникнуть в комнату. Отец встал, подошел к окну и произнес только одно слово: «Буря!..»

За окном ничего не было видно, кроме тумана. Ни малейшего движения воздуха, все застыло, словно оцепенев. Но отец, как мне показалось, что-то слышал. Тогда и я услышала, клянусь тебе, услышала все более и более отчетливо грохот океанских волн, разбивающихся о скалы, словно мы находились на острове, на берегу. И я почувствовала, как дом дрожит под ударами волн, и услышала рев воды, вырывающейся из подводных пещер, и рычание ветра, глухое, словно доносящееся из-под воды. Дом покачнулся, и я ухватилась за спинку стула. Отец раскинул руки, словно поскользнулся и пытался удержаться на ногах. Потом он покачнулся и медленно осел, как будто его что-то схватило за ноги и повлекло куда-то вниз, в глубину...»

Орган гремел на всех регистрах заглушая голоса хора и сотрясая стены. Гризельда и Элен, стоявшие прижавшись друг к другу, увидели, как буря снесла стены, и волны затопили склеп, Император в своем красном корабле вырвался на океанский простор.

Орган и поющие голоса внезапно смолкли. К Гризельде, переставшей дышать и не заметившей этого, вернулось дыхание, и она медленно сложила письмо.

— Мама пережила его только на три недели, — негромко произнесла Элен. Потом, немного помолчав, продолжала:

— Китти осталась в Лондоне одна. Часто пишет мне. Она заботится о бедняках, ты же ее знаешь… Но ты… Чем ты занималась все эти годы? Где жила?

«Всемирная литература» в «Нёмане»

Гризельда неопределенным жестом отмела сразу все вопросы.

— О, ты же знаешь, я умею находить проблемы…

Она надела перчатки, натянув тонкую кожу на свои длинные нервные пальцы. Потом спросила:

— А Джейн? Где она сейчас?

— Она в Шотландии. Вышла замуж за констебля Эда Лейна. Помнишь его?

— За Эда Лейна? Это невероятно!

— Но это так, увы!.. Он увез ее к себе и сделал ей пятерых детей. Они разводят овец. Эд пьет, он оказался скупым, они живут очень бедно, он бьет ее и изменяет ей с официантками из местного кабака…

— Бедная, бедная Джейн! Как только ей в голову пришла мысль выйти замуж за констебля?

— Ты тоже вышла замуж за слугу, — ядовитым тоном сказала Элен.

— Элен!

— Ох, прости меня!

— За слугу! Он никогда не был слугой!.. Просто переоделся, чтобы иметь возможность бороться с… Кроме того, он сын короля!

— Я знаю… Прошу тебя, прости. У меня иногда проявляется горечь, вопреки моему желанию… Здесь так трудно жить… Если бы у меня не было Томаса… Но почему ты ни разу мне не написала? Хотя бы несколько слов…

— Я не могла! Никто не должен знать, где находится Шаун… Английская полиция продолжает охотиться за ним… Ты должна поклясться мне, что никогда никому ничего не скажешь про него!.. В особенности членам своей семьи!..

— Даже Томасу?

— Томасу? Кто это?

— Это Джон!.. Мой сын!.. Я так хочу, чтобы ты увидела его!.. Он такой красивый!.. Он похож на деда Джонатана, портрет которого висел в салоне!.. Так ты придешь взглянуть на него?

Лицо Гризельды посуровело.

— У тебя ведь муж англичанин!.. Что вы делаете в Париже?

— Ничего… То есть… Мы просто живем… Я даю уроки… Он сейчас не с нами… Я ушла от него… В общем, мы развелись…

— Почему? Что случилось?

— Ничего… Ничего не случилось… Замужество, это… Мы перестали понимать друг друга, вот и все… Так ты придешь посмотреть на Томаса, скажи, ты придешь?

— Конечно, приду…

— О, это замечательно!.. Мы стали такими далекими друг для друга!.. Элис монашенка, Китти старая дева, я осталась одна с Томасом, Джейн избивает полицейский, ты скрываешься. Мы невероятно далеки друг от друга, и мы все такие несчастные! Почему только мы покинули остров? Нам ни в коем случае нельзя было уезжать с острова!..

Она сжала себе кончик носа двумя пальцами в черных перчатках, стараясь не расплакаться.

Гризельда негромко сказала ей:

— Но я не несчастна, Элен… Я счастлива, действительно счастлива…

* * *

Элен направилась по улице Мот-Пике в обратную сторону. Она собиралась остановиться на улице Клер, чтобы купить немного картошки, за которую там просили меньше, чем в Пасси. Крутя педали, она не переста-

вала думать. Похоже, что Гризельда разбогатела. Элен видела ее дважды, и каждый раз она была одета по-другому, но всегда во что-нибудь очень дорогое. Гризельда остановилась в одном из самых больших отелей Парижа. Происхождение ее денег казалось Элен загадочным. Она почти ничего не рассказала Элен о своей жизни с Шауном; пожалуй, только то, что они очень недолго оставались в Соединенных Штатах. Махараджа Марабанипура приобрел автомобиль, построенный Шауном. Шаун приехал с автомобилем в Индию, чтобы передать его радже, и они остались в Индии. Он участвовал в гонках, много путешествовал, посещал Америку и Европу, и она постоянно сопровождала его…

Махараджи в Индии обладают сказочными богатствами, это всем известно, но почему махараджа Маба… Мараба… Господи, как он там называется?.. Почему он заплатил такие огромные деньги Шауну? Можно не сомневаться, что Шаун не перестал сражаться за Ирландию. Поскольку Гризельда ничего не стала говорить об этом, Элен не решилась расспрашивать ее. Гризельда сказала, что она счастлива… Господи, хочется надеяться, что это правда… Боже, сделай так, чтобы это было правдой!.. Чтобы хоть одна из них была счастлива!.. Она красива, просто расцвела, как бывает с растением, растущим на подходящей ему почве… Когда женщина несчастлива, у нее не может быть такой лучистой улыбки, она становится серой…

Элен оказалась на улице Клер одновременно с дождем. Она укрылась под навесом торговца красками, прислонив велосипед к трубке для подачи газа, идущего на освещение. Небольшие группы образовались перед лавкой, торговавшей кожевенными товарами, и возле мясной лавки; казалось, улицу охватило необычное возбуждение, несмотря на сыпавшиеся сквозь солнечные лучи дождевые капли. Известно, что в лавке кожевника продаются товары для сапожников — кожа, гвозди, вар, дратва, инструменты. Это выгодная торговля, позволяющая неплохо зарабатывать, так что в ее кассе всегда имеются деньги: в Париже живет три миллиона пешеходов, изнашивающих шесть миллионов подметок.

Продавщицу кожевенной лавки нашли лежавшей без сознания за прилавком, касса оказалась пустой. Преступник действовал очень быстро, и никто не заметил, как он вошел в лавку и вышел из нее. Из комиссариата на улице Амели прибежали два полицейских, промокших под дождем. Они зашли в лавку. Почти сразу подошли еще двое полицейских, начавшие разгонять толпу любопытных.

Солнце, наконец, справилось с дождем. Продавщица картофеля, маленькая, круглая, красная, сдернула кусок старого брезента, которым накрывала небольшую тележку со своим товаром, и принялась расхваливать его.

— Посмотрите, какая замечательная картошка, прекрасная дешевая картошка!

Она стояла в галошах на доске, защищавшей ее ноги от холодной земли. Кроме того, доска позволяла держать весы выше.

Элен попросила у нее пять фунтов.

— Конечно, милочка… Вы не хотите взять еще один фунт? Тогда будет ровно три килограмма, и я сброшу вам пару су…

— Конечно, конечно, — согласилась Элен, которая никак не могла привыкнуть к килограммам вместо фунтов.

— Ну и правильно, моя красавица… Вот и все… Вот вам моя замечательная картошка! Прекрасная картошка с севера… Давайте сюда вашу сумку, мой цыпленок, держите ее открытой… Вот в эту большую я положу сверх трех килограммов… У меня отличный товар, это удачная покупка!

«Всемирная литература» в «Нёмане»

В добавок к картошке она протянула Элен пучок петрушки.

Потом Элен купила немного копченой грудинки и бараньей шеи, чтобы сделать немного баранины по-ирландски.

Продавщица кожевенных товаров пришла в себя и сейчас сидела на стуле в задней комнате. Полицейский заставил ее хлебнуть немного виноградной водки, и она начала отвечать на его вопросы. Да, она видела его… Это был совершенно обыкновенный человек… Довольно молодой… Симпатичный… В серой каскетке, с усами в стиле «коровий хвост». Она никогда его раньше не видела.

Она узнала его через пять лет, когда в газетах появилась фотография и фамилия Бонне…

* * *

— Конечно, она опаздывает, — сказала Элен.

— Может быть, она не смогла найти двери, — предположил Томас.

— Глупости! Она всегда опаздывает, иначе не может… На Сент-Альбане она всегда приходила к столу последней… Отец мог сколько угодно изображать, что сердится… Но он был таким добрым… Иногда она даже забывала поесть, когда сидела на своей скале, глядя на океан и, как всегда, погрузившись в мечты… Господи, я тоже опоздаю… Я больше не могу ждать ее… Когда ты услышишь, как она идет по мостику, спустись вниз, чтобы открыть ей… Я вернусь примерно часа через два, мне еще нужно время на обратную дорогу!..

Томас услышал шаги матери, удалявшейся по мостику, потом еще шаги кого-то, кто шел ей навстречу. Они встретились; через несколько секунд тишины можно было услышать, как они расходились.

Томас вихрем слетел по лестнице и распахнул металлические створки. Гризельда увидела его в дверях на темном фоне лестничной площадки, освещенного наружным светом с блестевшими от любопытства глазами, со слегка приоткрытым ртом и непослушными кудрями, окружавшими лицо.

Своими широко открытыми глазами Томас увидел стройный силуэт во всем сером, с лицом, скрытым тонкой серой вуалеткой, словно лондонским туманом.

Из уст серого призрака прозвучала фраза, ошеломившая его:

— Действительно, ты очень красив!..

Он сделал шаг назад, пробормотав неразборчивую смесь английских и французских слов; она двинулась к нему, ничего не ответив. Он стал подниматься по лестнице, то и дело оборачиваясь, чтобы посмотреть на нее. На третьей ступеньке она сбросила туфли, чтобы почувствовать себя удобнее.

Томас отстранился, чтобы позволить ей войти в небольшую комнату, одновременно столовую, гостиную и кабинет. Она сразу же подошла к столу, поставила на него свои лодочки, легкие, словно листья, положила муфту, перчатки, длинные булавки, удерживавшие шляпку на голове и, наконец, саму шляпу с туманной вуалеткой.

Стоявший возле камина Томас завороженно открывал для себя гостью, по мере того как она избавлялась от своих принадлежностей. Ее трансформация, одновременно естественная и волшебная, напоминала процесс освобождения каштана от колючей кожуры, когда в узких трещинах начинает проглядывать его круглое с теплым блеском тело.

Ее волосы, собранные в сложную структуру, которую пыталась навязать им хозяйка, рассыпались во все стороны. Она подняла руки, извлекла из волос новую порцию булавок, длинных, средних, коротких и двойных, и

«Всемирная литература» в «Нёмане»

встряхнула головой. Масса ее волос упала тяжелой волной темного золота до пояса.

Она вздохнула с облегчением.

— Ах, как приятно почувствовать себя свободной от всего этого! Так трудно придерживаться парижской моды, в особенности для волос! В Марабанипуре я сплетаю их и укладываю вокруг головы, вот так… Или распределяю волосы по бокам, вот так… Там нет никакой обязательной моды… Ничего, кроме обязанностей и запретов. Выглядит это достаточно жутко, но, по сути, сильно облегчает жизнь…

Она улыбнулась и добавила:

— Все это не имеет никакого значения… Но женщина вынуждена соблюдать эти правила!

Гризельда сняла шелковую накидку и бросила ее на стол. Подойдя к окну, она открыла его и посмотрела на парк и небо, по которому бежали вереницей апрельские облака. Пробормотав «весна… весна…», она закрыла окно и упала в кресло из переплетенных ивовых прутьев, окружившее ее завитками и спиралями. Потом подняла лицо к Томасу:

— Расскажи мне о себе… Сколько тебе лет?

Томас сглотнул и сказал:

— Семнадцать лет… Вот уже три недели…

— Весна… весна… — снова сказала Гризельда.

Поднявшись с кресла, она обошла комнату, останавливаясь перед фотографиями и портретами в больших и маленьких рамках, повсюду развешанными Элен и почти полностью закрывавшими обои гранатового цвета. Обломки прошлого, которым находилось при переездах место в багаже, или присланные сестрами. Элен тесно расположила их на стенах, пытаясь таким образом восстановить мозаику прежней жизни. Гризельда в двенадцать лет… Гризельда в четырнадцать лет… Задержавшись перед миниатюрой, она воскликнула:

— Мама! Какая ты была красивая!..

Странно, но она не испытывала печали; казалось, она радовалась возвращенному прошлому. На мгновение замерла перед акварелью, на которой Элен по памяти нарисовала пейзаж острова с белым домом. Потом подняла левую руку, коснулась тонкими пальцами изображения и легким движением погладила его. На ее указательном пальце был перстень, переплетение золотых нитей которого окружало большой изумруд. Томас не представлял цену драгоценных камней, но фантастическая стоимость перстня не вызывала у него сомнения. Он даже подумал, что изумруд может быть фальшивым и перстень — это просто игрушка для фей, и стоит ему закрыть и снова открыть глаза, как перстень исчезнет, а с ним, вполне возможно, исчезнет и Гризельда.

Он подумал, что Гризельду не интересуют картинки на стенах; ее взгляд блуждал где-то у горизонта. Безграничное пространство вошло вместе с ней в небольшой салон, стены которого исчезли. Она была кораблем с наполненными ветром и солнцем парусами или королевой огромных птиц с голубыми глазами, о которых ему рассказывал Леон. Она живет в джунглях Амазонки, и перед ней расступаются деревья, когда она идет.

Гризельда повернулась, чтобы взглянуть на Томаса.

— Действительно, ты очень похож на Джонатана… Но… Повернись… Так… Посмотри на окно… Хотела бы я знать… Хотела бы я знать, не на Фулька ли ты походишь? На Фулька, основателя… Первого графа Анжу… Того, кто взял в жены единорога… Мать рассказывала тебе о нем?

— Рассказывала, — ответил Томас.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

— Точно никто не знает, как он выглядел… Его портрета не существует… Ни одной резной геммы… Только воспоминания. То, что его дочери рассказали своим дочерям, а те передали эти рассказы дальше, и они повторялись на протяжении тысячи лет… Пятьдесят поколений женщин, обожавших своего создателя, постепенно изменяя со временем его облик… Я знаю, как он выглядел… Вот то, что я знаю…

Он выше ростом, чем все мужчины не только той эпохи, но и нашего времени … У него широкие массивные плечи, круглая голова с шапкой рыжих волос… Его даже называли Рыжим… У тебя более светлые волосы… Его также называли Львом… У тебя же пока облик львенка… Если у тебя такое же, как у него, сердце, ты тоже можешь встретить единорога… Его не видел никто из его потомков… Только Джонатан в день своей кончины увидел его в образе девушки. Но он не узнал единорога, его жизнь оборвалась раньше. Запомни, львенок, что если ты встретишь девушку-единорога, то сразу узнаешь потому, что она свободна… И запомни также ошибку Фулька: ты не должен позволить ей убежать, как бы быстро она ни бежала…

Внезапно образ Даллы разорвал сердце Томаса. Ведь он позволил ей убежать… Нет… Она не была единорогом… Она была ангелом, как говорил Леон… Но, возможно, это одно и то же… Нет, она все равно исчезла бы, даже оставшись… Детство не продолжается бесконечно…

— Ты хотел бы сказать мне что-нибудь? — спросила Гризельда.

— Нет… Да… Возможно, я… Кажется, я встретил ребенка-единорога. Бывают ли дети-единороги?

— Единорог вечно юн, — сказала Гризельда, — но он никогда не бывает ребенком… Ребенок нуждается в заботе взрослых, единорогу никто не нужен…

* * *

— И тогда, — продолжала Гризельда, — машину водрузили на спину слона. Дороги дальше не было, исчезла даже тропа, а до дворца оставалось еще миль пятьдесят. Проблема была очень серьезной — как затащить машину на спину животного? Шаун сказал: «Нужно сделать наклонную платформу из досок». Но где взять доски в джунглях?

В Индии существует привычка — перевозить самые разные грузы на спине слона; для этого существует большая сеть из толстых веревок. Такую сеть разложили на земле, на нее закатили автомобиль, а затем связали в узел четыре угла сети. Слон поднял сеть с автомобилем и положил ее на спину другого слона, опустившегося на колени. Шаун очень волновался, опасаясь за сохранность машины, но индусы только смеялись. Они надежно примотали сеть с машиной к спине слона, сами забрались туда же вместе с нами и бодро двинулись через джунгли. Стая обезьян мчалась за нами, перепрыгивая с дерева на дерево и испуская пронзительные крики.

Томас, сидевший на пуфе неподвижно, словно зачарованный, не отрывал взгляд от Гризельды, слушая ее рассказ. Она непрерывно говорила, то переходя от двери к окну, то обходя вокруг стола, помогая себе жестами и создавая вокруг себя образы Индии.

— Мы прошли через лес и увидели перед собой дворец. Он возвышался на противоположном берегу большого озера с зеркальной поверхностью застывшей воды. Приближался вечер; вода приобрела фиолетовый оттенок, такой же, как у неба.

С другой стороны воды и неба, на линии, по которой они соединялись, находился казавшийся миниатюрным дворец с множеством колонн, на

«Всемирная литература» в «Нёмане»

таком расстоянии выглядевших тонкими, словно спички. Над колоннами возвышались остроконечные крыши и купола из бронзы и золота. Дворец отражался в воде, отражавшей небо. Дворец на берегу и его отражение в воде соприкасались. За ними ничего не было, кроме переплетения чудес, отраженных небом сверху и небом снизу. Сопровождавшие нас индусы спрыгнули со слонов, опустились на колени и потом распростерлись, преклонившись перед дворцом. Не знаю, чему они поклонялись, но я повторила их молитвенные позы, потому что перед нами была такая красота, что любая благодарность не казалась чрезмерной.

Слонов быстро разгрузили, и они отправились купаться вместе со служителями, разбив фиолетовое зеркало озера на куски и волны. Вода стала пурпурной, затем потемнела. Мы устроились на ночь в больших палатках вместе с миллионами комаров. Но индусы зажгли в палатках какие-то травы, и комары тут же попадали. Всю ночь поблизости кричали обезьяны и рычали тигры; звуки также издавали какие-то другие животные, которых никогда не удается увидеть; известно только, что они существуют, судя по раздающимся ночью голосам. Неизвестно даже, ходят они по земле или летают.

На следующее утро озеро оказалось голубым; небо тоже было голубым, а находившийся между ними дворец был белым, словно сотканным из кружев.

Над Пасси и над Парижем опускался вечер. Небо, бывшее нежного серо-голубого цвета, стало слегка розоватым. По нему плыли толстощекие облака, и с одной стороны их щеки были розовыми, с другой — пепельными. Они передвигались медленно, почти незаметно, и скоро растворились в сумерках.

Мы заметили на озере три лодки, которые должны забрать нас. Высокие, с двумя рядами весел с каждой стороны, они были раскрашены фантастическими красками; на них изображались растения, люди и животные. Они отражались в зеркале воды и походили на плавающие цветочные клумбы…

В очередной раз весна заворожила Шаму, отдав ему невыполнимый приказ. Он рассердился, так как знал, что не сможет выполнить его, но так или иначе, он должен построить гнездо. Новое гнездо. На самом высоком месте. А самым высоким местом была верхушка круглого дома. И верхушка круглого дома тоже была круглой. На этой верхушке ничто не могло удержаться, с нее все сразу же соскальзывало. Он уже пытался построить на ней гнездо прошлой весной и многими веснами до этого, но безуспешно. И теперь опять решил заняться строительством с самого утра. Каждый раз, когда он собирался бросить это занятие, потому что понимал, какой это идиотизм, весна посылала ему в вены горячую, едва ли не кипящую кровь, и он снова брался за работу.

Шама прилетел, держа в клюве за середину веточку платана длиной около половины метра и слегка изогнутую. Он спланировал над домом и сел на его вершину, выложенную керамической плиткой. Посмотрев по сторонам со свирепым видом, чтобы всем стало ясно, что не стоит и пытаться отобрать у птицы эту веточку, он аккуратно положил ее на крышу. Порыв теплого ветра сдвинул ее, и веточка заскользила по куполу. Следующий порыв ветра подхватил ее и унес. Шама кинулся вслед за ней, испустив отчаянный вопль, и поймал ее на уровне окон гостиной. Сев на отлив, он забил крыльями, чтобы Томас понял, как он расстроен и как ему требуется поддержка.

— Это кто такой? — спросила Гризельда.

— Это Шама…

Томас открыл окно, и большой белый ворон перебрался на подоконник. Гризельда подошла к окну, и Шама от неожиданности выпустил веточку из клюва.

— Он умеет говорить, — сказал Томас. — Как дела у тебя сегодня, Шама? Все в порядке?

Шама не ответил. Он присматривался к Гризельде.

— Какой ты красивый, — сказала Гризельда.

— Круаааах! — согласился ворон.

Ему внезапно захотелось заворковать.

Он перелетел на стол и, наклонив голову набок, принялся рассматривать множество незнакомых предметов.

Он сразу же обнаружил предмет, прекрасно подходивший для гнезда, — это была вуалетка.

Он радостно каркнул: «Кроа!» — схватил вуалетку и устремился к окну. Но не понял, что вуалетка соединяется со шляпкой, тяжесть которой задержала его, и ворон едва не упал на пол. Он выпустил добычу и вылетел в окно, проклиная апрель, весну и все на свете.

Гризельда засмеялась.

— Я нарисовал его, — сказал Томас. Он достал свои рисунки и показал их Гризельде.

Она нашла их весьма удачными, умными, точными и выразительными.

— Ты хочешь стать художником?

— Не знаю. Я рисую, потому что мне нравится рисовать… Мама хочет, чтобы я работал в банке, чтобы стал дельцом и заработал много денег, чтобы выкупить остров…

— Она сошла с ума!.. В нашем роду никогда не было мужчины, способного зарабатывать деньги! Они всегда были способны только тратить их! Но иногда им удавалось завоевать деньги. Если ты станешь львом, ты не позволишь запереть себя в стенах банка. Ты уйдешь, как я…

Мостик закачался и заскрипел. Возвращалась Элен — с осунувшимся от усталости и забот лицом.

Мать сразу же заворчала на Томаса за то, что он не предложил тетке чаю, и быстро занялась им. Конечно, время для чая уже прошло, но выпить его никогда не бывает поздно.

Пока грелась вода, она убрала все, что Гризельда побросала на стол, зажгла висячую керосиновую лампу, задернула шторы, открыла какие-то коробки, расставила чашки, разложила серебряные ложечки, и через несколько минут все они оказались вокруг стола с настоящим английским чаем, с вареньем и разными пирожными в конусе теплого золотистого света, падавшего из-под опалового абажура. Свет падал и на собравшихся на стенах вокруг них членов семейства, сидевших или стоявших в своих рамках; иногда они были видны только до пояса, словно они, любопытные и внимательные, находились за окном.

— Почему ты не пришла с сыном? — спросила Элен. — Мы были бы рады познакомиться с Джонатаном.

— Мне пришлось бы многое объяснять ему, рассказывать про вас… Он слишком маленький, может проговориться, даже не желая этого, а это опасно… Он ничего не знает о себе, о нашей семье… Он уверен, что его фамилия Шеридан… Когда он станет взрослым, мы скажем, как его зовут в действительности, что он носит имя короля Ирландии, и тогда он будет готовиться к борьбе… К войне за Ирландию…

Гризельда повернулась к Томасу.

«Всемирная литература» в «Неймане»

— А ты? Ты скоро станешь мужчиной… Ты собираешься спокойно оставаться здесь, не думая о своей стране, которую англичане топчут вот уже восемь столетий?

Элен решительно оборвала ее.

— Оставь его! Он не должен вмешиваться в эти дела!.. У него отец англичанин!.. И ты забыла, что мы тоже англичане!.. Мы совершенно случайно оказались в Ирландии!..

— Это не совсем так, — негромко сказала Гризельда. — Ведь мы родились в Ирландии… Мы играли детьми на ее земле, мы выросли в Ирландии, мы ее дети! Мы пили ее молоко, дышали ее воздухом, мы жили под солнцем Ирландии!.. От нашего английского происхождения у нас не осталось ничего, кроме стыда…

— Мне нечего стыдиться! Томасу нечего стыдиться! Мы не отвечаем за историю!.. Впрочем, ты как раз родилась не в Ирландии…

Опираясь на стол сжатыми кулаками, Элен с яростью набросилась на тень опасности, которая могла угрожать ее сыну.

— Я хотел бы познакомиться с Ирландией…— задумчиво произнес Томас.

— Тебе не нужно для этого сражаться! Ты выкупишь остров, и мы будем жить на нем!

Волнение перехватило ее горло, она замолчала и потом тихо добавила:

— Это настоящий рай…

— Да, — согласилась Гризельда. — Да, ты права…

* * *

Гризельда еще дважды приходила в круглый дом, но… одна. Она не решалась захватить с собой Джонатана.

— Это очень печально! — сказала Элен. — Удивительная случайность, что я встретила тебя, когда твой сын находился в двух шагах от меня. Это единственный из моих племянников, которого я, возможно, никогда не смогу увидеть, потому что ты этого не хочешь.

— Случайность! — воскликнула Гризельда. — Ты нашла выход! Я пойду гулять с сыном, ты с Томасом придешь туда же, и мы встретимся благодаря случайности!.. Я представлю вас как моих американских друзей, с которыми не виделась много лет, и мы…

— Мне это не нравится, — оборвала ее Элен. — Это ложь, а ничто не может быть хуже, чем ложь. Томас на умеет лгать…

— Ему достаточно будет молчать!.. Но будет так, как ты захочешь, — или все, или ничего… К тому же, придется найти место, достаточно пустынное, но такое, чтобы в нашем появлении там не было ничего необычного…

— Может быть, музей? — предложил Томас.

— Я ненавижу музеи, — поежилась Гризельда. — А ты часто посещаешь музеи?

— Когда как… Обычно каждый раз другой…

— Очень хорошо! Мы не должны быть жестко привязаны к какому-нибудь из них… Я плохо знаю музеи!.. Как-то зашла в один, это было в Риме, где я сопровождала Шауна. Он должен был купить для махараджи новый автомобиль, фиат с объемом двигателя в двенадцать литров. Время было послеобеденное, я зашла в музей одна и сразу почувствовала, что мне душно. Показалось, что очутилась в сушилке для белья. Повсюду на стенах висели картины, почти вплотную друг к другу, было очень жарко, на

«Всемирная литература» в «Нёмане»

стуле дремал служитель, а в солнечном луче кружились четыре мухи. Да, именно четыре, потому что я сосчитала их. Мужчина в черном смокинге со складывающимся цилиндром в руке неподвижно стоял перед картиной. Я ждала, чтобы мухи сели на его голый череп, но они почему-то не захотели. Я начала задыхаться. Посмотрела несколько картин, не помню уже, каких, и мне показалось, что портреты или пейзажи, вся эта живопись представляли собой жизнь, порезанную на ломтики, затем положенные под пресс, удаливший из них все живое, после чего их повесили для просушки на стены, чтобы в них не осталось ни капли жизни… Я бросилась из музея едва ли не бегом! Мне казалось, что останься я в нем еще немного, меня тут же повесят на стенку в рамке, плоскую и засушенную!..

Томас смеялся. Глядя на Гризельду, он подумал, что такой результат показался бы ему весьма печальным. Даже Элен улыбалась, забыв свои возражения.

— Пусть это будет музей Виктора Гюго! — сказал Томас. — Там нет картин, хотя можно увидеть несколько фантастических рисунков. Я ходил туда, чтобы посмотреть на них. Музей размещен в доме, где он жил, на площади Вогез. В нем находятся только его мебель, рабочий стол, домашние предметы…

— Понятно, — кивнула Гризельда. — Трубка мастера и его комнатные туфли… Может быть, даже кот, спящий на кресле?.. И призрак, прячущийся под столом, когда в музее есть посетители… Ладно, это мне подходит!..

— И там никогда никого нет! Иногда появляются школьники со своим учителем. Если мы будем говорить по-английски, нас никто не поймет…

С некоторыми сложностями, учитывая часы работы Элен, сестры договорились о свидании в музее. Встречу назначили через четыре дня, в три часа.

Вернувшись в свой отель, Гризельда получила телеграмму от Шауна, отправленную из Бомбея во время стоянки в порту парохода «Туран», на котором он отправился в Китай вместе с другими участниками пробега и их автомобилями. Он коротко рассказывал о своем путешествии и сообщал, что у него все в порядке. Но телеграмма имела еще одно значение, и Гризельда знала, какое именно.

* * *

Элен и Томас сели в фиакр до площади Мадлен, где пересели на омнибус до площади Бастилии, с которого сошли на площади Вогез. Хотя это и не соответствовало их привычкам, Томас уговорил мать подняться на империал, на второй этаж омнибуса, чтобы лучше видеть Париж. Стояла прекрасная погода. Кафе на бульварах открыли свои террасы, и легкий аромат абсента в смеси с запахом двух першеронов, тащивших омнибус, достигал носа Томаса. Улицы были заполнены прохожими, и на них царило типичное воскресное оживление, хотя была всего лишь среда, и Элен пыталась понять, что происходит. Наверно, подумала она, был один из многочисленных французских праздников, о которых она никогда не помнила. Женщины в простых платьях вели за руку детей или держались за своих мужей. Несколько элегантных дам прятались от солнечного загара под яркими зонтиками. Фиакры и частные коляски пробирались сквозь толпу; казалось, никто никуда не торопится, наверное, под влиянием весны.

Когда омнибус останавливался, до пассажиров доносился похожий на рокот шум, с которым волны переносят с места на место гальку на морском берегу, бесконечный шум парижских улиц, создаваемый звоном подков на

«Всемирная литература» в «Нёмане»

копытах тысяч лошадей, постоянно перемещающихся по городским улицам, и множества колес, катящихся со стуком по неровным булыжникам мостовой. Потом махина омнибуса с грохотом трогалась с места, сопровождаемая волной лошадиного запаха, и фасады выходящих на бульвар зданий за завесой ветвей платанов, усеянных молодыми листочками, медленно уходили назад. Томас смотрел на льющийся с неба свет и отражающую его листву, на пятна света на тротуарах и мостовой. Цветные пятна смешивались, мерцали справа и слева, снизу и сверху, заполняли его голову. Ослепленный, он почувствовал головокружение, ощущение от бокала теплого вина наложилось на цветной бульвар, текущий мимо него, словно река. Аромат пряностей возник в глубине горла и смешался с запахами абсента, пыли и лошадиного пота. Он закрыл глаза и увидел в желтом пламени платанов голубое тело обнаженной Даллы, танцующей на спине пурпурной лошади. Стук копыт проезжающей мимо кавалькады вернул его к действительности. Кавалеристы муниципальной гвардии в касках и кирасах двигались двойной цепочкой мимо омнибуса, направляясь к площади Республики. Прохожие поспешно разбегались в стороны перед передней лошадью. Худой мужчина, сидевший на скамье справа от Томаса, вскочил и, с яростью глядя на проезжающих мимо солдат, принялся осыпать их ругательствами. Одетый в длинное черное пальто, он был без головного убора, что выглядело почти так же неприлично, как если бы он был без штанов. Довольно молодой, со светлыми вьющимися волосами, с небольшой неухоженной острой бородкой. Он сел, снова встал, опять сел и опять встал, глядя в дальний конец бульвара, где происходило нечто необычное. Томас тоже встал и принялся смотреть в том же направлении. Омнибус затормозил, движение вокруг остановилось, прохожие застыли на месте. С площади Бастилии на бульвар, на всю его ширину, выливалась темная масса, сопровождаемая глухими ритмичными звуками, которые показались Томасу песней. Море темных одежд, плотная толпа простого народа в праздничных костюмах с целлулоидными воротничками и в котелках, над которыми развевалось несколько красных знамен и пара черных. Двойная цепь полицейских в пелеринах не позволяла демонстрантам выйти на тротуары и приблизиться к витринам. Группа полицейских перегородила бульвар метрах в двадцати перед толпой с целью остановить ее, не позволив пройти дальше. Гвардейцы муниципальных частей остановились, готовые вмешаться в происходящее.

Омнибус остановился. Все пассажиры второго этажа вскочили и смотрели, сгрудившись у поручней.

— Господи, — сказала Элен, — что здесь происходит?

— Это демонстрация, — сказала пожилая женщина. — Сегодня первое мая! Я не должна была садиться в омнибус…

У нее были небольшие гневно сверкавшие карие глаза. Седые, слегка пожелтевшие волосы прятались под черной кружевной шляпкой, державшейся на голове благодаря ленте под подбородком. Ее старые подагрические пальцы сжимали ручку большой плетеной корзинки, накрытой чистым хорошо отглаженным куском ткани.

— Вы знаете, чего они добиваются? Еженедельного отдыха! Они требуют один день отдыха в неделю! Можно подумать, что я отдохнула хотя бы один день за всю мою жизнь!.. Не стоит оставаться здесь… Нужно уходить… Идите за мной!..

Толкая перед собой корзину, прижатую к животу, она попыталась пробиться к лестнице. Но омнибус неожиданно двинулся вперед, прямо к демонстрантам.

Элен уцепилась за руку Томаса.

«Всемирная литература» в «Немане»

— Он сошел с ума! Этот кучер свихнулся! Нужно разворачиваться в обратную сторону!..

Но кучер работал на маршруте Мадлен—Бастилия. Он выехал с площади Мадлен и должен ехать к площади Бастилии. Это был его маршрут, и он должен ехать, пока для этого имелась возможность. Он въехал в плотную массу полицейских и граждан в таких же котелках, как у демонстрантов. Сержант-полицейский схватил одну из лошадей за уздечку и остановил омнибус. Он крикнул кучеру:

— Ты что, ненормальный? Куда ты собираешься проехать?

Толпа демонстрантов остановилась в десяти метрах от полицейских. Наступила тишина, без единого возгласа, без шума хотя бы одной шагнувшей ноги. Единственным шумом был негромкий рокот тысяч дыханий и звуки негромких слов, сказанных соседу. Потом в плотной людской массе родилась песня, сначала вдали, очень тихая, но быстро приблизившаяся, словно бегущее по сухой траве пламя, подгоняемое ветром; она расширилась, поднялась, заполнила бульвар, ударилась о фасады зданий и, отразившись, упала в толпу красными волнами.

«Это наш после-е-е-дний бой…»

«…соединяйтесь, а затем…»

— Хулиганы, безобразники, — простонала старая гладильщица.

«С интер-на-цио-на-а-а-лом…»

Под напором скопившейся сзади массы первые ряды демонстрантов ринулись к строю полицейских.

Офицер, командовавший муниципальными гвардейцами, привстал на стременах и крикнул: «Вперед!», сопроводив свой возглас взмахом руки. Лошади врезались грудью в толпу. Полицейские работали дубинками, котелки разлетались во все стороны; с площади Республики продолжалось давление массы демонстрантов; люди, находившиеся в первых рядах, падали с криками; разлетелась вдребезги витрина, стекло посыпалось со звоном. С улицы Ланкри на бульвар высыпала с криками группа нападавших, смела столики террасы кафе «Двух морей», принялась забрасывать полицейских бутылками и керамическими кружками, а затем пустила в ход металлические стулья. Откуда-то примчалась еще одна команда конных полицейских. Из окон, с балконов на полицейских и на демонстрантов посыпалось множество предметов: цветочные горшки, кастрюли, поленья; на толпу упала зажженная лампа, вспыхнувшая прямо в воздухе; дождем падали дырявые сапоги, вазы с цветами, пустые банки, какие-то овощи… Схватка захватила омнибус, и дерущиеся закружились вокруг него, словно бурные волны вокруг скалы. Взъерошенный рыжий кот с воплями рухнул на империал, высоко подпрыгнул, свалился на кучера, спрыгнул с него на лошадь, затем на землю и исчез. Томас изо всех сил прижимал к себе мать, чувствуя, как у его широкой груди дрожит ее хрупкая спина. Смотрел на происходящее с любопытством и отвращением. Он ничего не понимал, происходящее казалось ему сплошной нелепостью. Блондин метался по империалу, бегал то вдоль него, то поперек, то по диагонали, бешено жестикулировал и что-то кричал на совершенно диком языке. Остановившись возле перил, он заорал еще громче, вытащил из кармана кокой-то черный предмет и направил его на конного полицейского. Раздалось несколько выстрелов: два, три, пять, шесть. В воздух с тротуаров, карнизов и крыш поднялась стая голубей и воробьев, до сих пор почти не обращавших внимания на суматоху на улицах. Полицейский и лошадь упали. До Томаса долетело облачко синего дыма, пахнувшее порохом. Полицейские кинулись к омнибусу, образовав пробку на узкой лестнице, стрелявший орал на них и бил их ногами по головам. Один из

полицейских схватил его за ногу и стащил на пол. Полицейские ворвались на империал, схватили блондина, оглушили его несколькими ударами и сбросили на землю. Он рухнул на мостовую, его тут же схватили и куда-то потащили, продолжая избивать. Полиция, получившая подкрепление, начала одерживать верх. Демонстранты в беспорядке отступали к площади Республики. Кучер омнибуса медленно двинулся по своему маршруту.

— Я обещала принести белье господину Бретону в четыре часа, — сказала старая гладильщица. — Но я никогда не доберусь до него с этими анархистами!..

Когда Элен и Томас добрались до площади Вогез, музей оказался закрытым. Гризельду они не увидели.

* * *

Гризельда уже исчезла из Парижа. Элен и Томас узнали об этом из записки, доставленной почтальоном. Гризельда прислала короткую записку для Элен и небольшую металлическую трубочку, на которой была наклеена этикетка с текстом:

ЗИДАЛЬ

Если рядом с вами находится больной, страдающий от неврастении, анемии, диабета, альбуминурии, ревматизма, истощения, связанного с отрицательными эмоциями, неумеренностью в еде и питье или сильной усталостью, или же человек с больным желудком, почками или нервами, он должен немедленно принять это удивительное лекарство:

ЗИДАЛЬ

Это лекарство излечивает от всех болезней. Помните: только это лекарство способно вылечить вас от любой болезни.

Элен с недоумением прочитала текст на трубочке и открыла ее. Она была заполнена ватой. Вата окутывала пакетик из бумаги, в которую было завернуто что-то, разбрасывающее зеленые и золотистые отблески. Это оказался перстень; Элен видела его на пальце Гризельды во время ее первого визита в круглый дом. Лежащий на столе на белой упаковке, окруженный сложным переплетением нитей из индийского золота, изумруд впитывал солнце, врывавшееся через окно, и превращал его в живое пламя, цветом напоминавшее лес или глубокое море. Лежавший на столе камень казался больше, чем на пальце Гризельды.

На бумаге, в которую был завернут камень, оказалось несколько строчек:

«Я уезжаю. Должна встретиться с Шауном. Мне нужно будет дождаться его в Москве. Потом я, возможно, вернусь вместе с ним в Париж, если не выберу другую дорогу. Не знаю, когда я вернусь, если так решит Господь. Надеюсь, он будет охранять вас обоих. Этот перстень немного поддержит вас. Я предпочла бы оставить вам денег, но деньги, которые есть у меня, мне не принадлежат. Не продавай перстень кому попало, тебя наверняка обманут. Постарайся найти честного ювелира. Камень прекрасен, и он настоящий. Твой Томас — красивый юноша. Он скоро станет взрослым. Говорят, что царь устроит большой бал в честь участников пробега. Вряд ли им захочется танцевать… А я потанцевала бы с огромным удовольствием…

До свидания, хотя, может быть, прощай…»

Томас положил на ладонь камень, вспыхнувший, словно луч солнца, пробившийся через листву. Изумруд был круглым, выпуклым, ограненным в виде купола так искусно, что вместо того, чтобы выступать над оправой, он казался углубленным в нее; перстень выглядел, словно небольшой сосуд, заполненный до краев ликером зеленого цвета, который неудержимо хотелось попробовать…

Он пробормотал:

— Интересно, сколько он стоит…

— Даже не представляю, — отозвалась Элен.

— Если ты продашь его, тебе, наверное, больше не нужно будет работать…

— Продать его? Ты сошел с ума!

Она поспешно и даже резко схватила перстень, светившийся на ладони Томаса, словно что-то угрожало этому сокровищу. Несколько мгновений Элен держала перстень двумя слегка дрожавшими пальцами и смотрела на него. Круглый и зеленый, словно остров… Но полученных за него денег будет недостаточно, чтобы выкупить остров. Да, конечно, их не хватит… Но это будет началом необходимой суммы… Кажется, ее мечты начинают, наконец, превращаться в надежду…

Она сказала:

— Зачем его продавать? Тебе чего-нибудь сейчас не хватает? Да и я умерла бы со скуки, перестань работать… К тому же, ты тоже скоро начнешь работать… Настало время для тебя избрать карьеру!

Она завернула перстень в бумагу, получившийся пакетик завернула в вату и положила его в металлический цилиндрик. После этого вышла из комнаты. Томас слышал, как она ходила по кухне, явно отыскивая надежное место, чтобы спрятать перстень. Вернулась мать с чашкой чаю на подносе. Цилиндрика у нее уже не было. Она улыбалась, довольная, словно кошка, налакавшаяся молока из блюдца и уверенная, что уж теперь-то никто не сможет ее опередить.

На следующее утро, когда мать уехала, Томас наткнулся на цилиндрик, даже не пытавшись найти его. Он просто лежал на выступе кухонной трубы, между коробкой с солью и банкой с мукой. Томас улыбнулся, подумав, что мать наверняка читала «Украденное письмо» Эдгара По. Чтобы надежно спрятать какой-либо предмет, его нужно оставить на виду. Он взял цилиндрик, чтобы еще немного насладиться зелеными лучами. Но в вату и бумагу был завернут орех.

* * *

Гризельда сошла с поезда в Берлине с сыном, служанкой и всем багажом. Служанка по имени Бетти в действительности была ее давнишней горничной Молли, покинувшей Сент-Альбан вместе с ней; с тех пор они не расставались. Горничная, подруга, едва ли не сестра, Молли была на несколько лет моложе Гризельды. Она начала служить хозяевам Белого дома на острове с радостью, будучи еще подростком; их совместные приключения начались после сражения 1892 года, когда едва не погибли Шаун и Аран Ферган, двое мужчин, которых они любили. Сейчас Ферган, ставший механиком, сопровождал Шауна, отправившись вместе с ним в Пекин. Из пяти существ, покинувших Сент-Альбан и устремившихся в океанские туманы, сейчас отсутствовал только Ардан, колли Гризельды. Вместе с двумя парами он проделал путешествие в Америку, а потом из Америки в Индию, климат которой ему не подходил. Он лишился легкости и живости, медленно бродил по комнате и то и дело забирался в тень, чтобы заснуть.

Он сам почти превратился в тень, стал воспоминанием. Несмотря на климат, или вопреки ему, он все же прожил долгую собачью жизнь. Он умер, оставаясь гордостью четырех стихий.

* * *

Фантастическое нагромождение облаков медленно выползало из-за горизонта вместе с восходящим солнцем. Это было признаком приближающегося с востока муссона. Прибыть он должен был через несколько часов, верный ежегодному свиданию, назначавшемуся ему махараджей. Все необходимое для жертвенной процессии было готово. Все обитатели дворца, как и окрестное население, уже несколько недель трудились над подготовкой. Накануне, посмотрев на солнце, махараджа сказал: «Завтра». И всю ночь в залах дворца, в стойлах слонов, в хижинах трех ближайших к дворцу деревень их обитатели с привычной медленной и спокойной радостью укладывали на землю цветы, обновляли рисунки на стенах, краску на животных и на лицах. Утром медленно кипящие облака заполонили небо от горизонта и до макушек деревьев.

Шаун поспешно переоделся и отправился осматривать автомобили. Он провел множество часов, наводя на них лоск с помощью Фергана и местных помощников. Гризельда сидела перед украшенным цветами зеркалом в своей комнате с сине-зелеными мозаичными стенами. Молли закончила причесывать ее, затем помогла облачиться в шелковое сари соломенного цвета, расшитое золотыми нитями, и надеть на голову вуаль с вышитыми на ней золотом квадратами, ромбами, розетками и множеством миниатюрных цветов лотоса. Обнаженный мальчик, загорелый до черноты, с огромными глазами и ослепительной улыбкой, дергал за веревку большого опахала, перемешивавшего горячий воздух. Закончив помогать хозяйке, Молли бросилась переодеваться.

— Идем, Ардан, — обратилась Гризельда к собаке, направляясь к дверям.

Но Ардан даже не пошевелился. Он лежал на белом ковре, положив большую голову между вытянутых вперед лап и подняв на Гризельду взгляд, полный любви и сожаления. Сидевший возле него Рам негромко твердил что-то очень печальное. Рам — это белая обезьянка ростом не выше сапога, легкая как перышко, с момента их приезда в Индию подружившаяся с Арданом. Едва пес вставал, чтобы пройти хотя бы несколько шагов, Рам вспрыгивал ему на спину, чтобы прокатиться. Когда Ардан ложился, Рам сначала с возмущением крутился вокруг него, потом садился рядом и начинал искать несуществующих блох. Он оставлял собаку только на пару минут, когда отбегал к столу, чтобы проверить, какие фрукты появились в вазе. Потом возвращался к Ардану и обязательно делился добычей с другом. Ардан, получивший кусочек апельсина, делал вид, что жует его, исключительно для того, чтобы сделать Раму приятное.

Гризельда опустилась возле Ардана на колени. Большой пес попытался вильнуть хвостом, но у него даже на это не хватило сил. И Гризельда сразу же поняла, что все кончено, что это последний день Ардана, что сегодня он умрет. Она никогда не хотела думать, что этот день рано или поздно наступит; Ардан давно стал частью ее самой. Ей казалось, что он всегда был рядом, что родился одновременно с ней. И что он сознательным усилием продлил свою жизнь только для того, чтобы не расставаться с ней. Но сегодня никак не мог удержаться на берегу, он должен уйти. Для него все было кончено.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

Она почувствовала необычную тоску. Огорченная, она обратилась к Ардану:

— Ах, Ардан!.. Это невозможно!..

Он печально посмотрел на хозяйку. Пес не очень хорошо понимал, что происходит с ним, но чувствовал, что оказался в чем-то виноватым Он должен был участвовать вместе с хозяйкой в торжественной процессии, но был не в силах встать на ноги. Возможно, он смог бы встать, если бы очень захотел, но у него не было сил захотеть.

Гризельда негромко сказала:

— Ты все же будешь рядом со мной…

Наклонившись, она взяла его на руки. Рам запрыгнул ей на плечо. Гризельда выпрямилась, подумав с удивлением, что Ардан стал невероятно легким, словно лишился всей своей материальной субстанции. Она вышла с двумя животными — одним на руках, другим на плече, — чтобы принять участие в торжественной встрече воды.

Слуги закрыли западные ворота, выходившие к озеру, и открыли восточные ворота, постоянно остававшиеся закрытыми, за исключением сегодняшнего дня. Прогремел гигантский бронзовый гонг, заставивший взлететь тучи птиц с крыши дворца. Из дворца вышла стража махараджи, наряженная в шотландскую униформу — мохнатые шапки, красные куртки и чулки, килт в зеленых квадратах, белые гетры. За ними появился первый слон в окружении музыкантов с бубнами, с обнаженными торсами и в бледно-голубых индийских юбочках. Первым был самый большой слон махараджи, невероятно старый и умный, как гуру. Его голову от макушки до конца хобота закрывала вышитая золотом парчовая маска с цветами лотоса, изображенными с помощью мелких жемчужин; на уши опускались кружева, вышитые серебром. Овальные отверстия в маске оставляли открытыми глаза, обведенные черной краской. Над правым ухом находилось изображение солнца, а над левым — сердце Иисуса и крест. Между глазами плясал серебряный Вишну, создававший своими движениями три направления в пространстве.

Большой слон размеренно шагал, своими плавными покачиваниями отражая движение нашего мира. В тот момент, когда его огромные бивни показались из ворот, на дворец обрушились первые раскаты грома и тысячи серебряных колокольчиков зазвенели, откликнувшись на гром. Дувший с озера ветер внезапно затих, но в это же время подул ветер из леса, принесший ароматы бесконечного зеленого пространства.

Толпа, издававшая радостные крики, бросала букеты цветов и пригоршни риса под ноги слону, величаво шагавшему в пурпурной попоне. На спине у него находился первый в этих краях автомобиль. Это был даймлер мощностью в 24 лошадиных силы, собранный в Америке Шауном, с деревянными колесами, резиновыми шинами и с наружной цепной передачей. Его полностью, включая шины, покрывала золотая ткань. За рулем сидел Шаун в кожаной куртке, каскетке и больших очках. Позади Шауна сидел махараджа на резном троне из слоновой кости, инкрустированном семью тысячами триста тринадцатью бриллиантами, похожими на дождевые капли. Его белые одежды и белый тюрбан были усеяны жемчужинами, и седая борода казалась белее его одежд. Он дважды нажал на грушу, и большая труба испустила два звонких крика.

Толпа заревела от восторга. Загремели бубны, десятки разновидностей духовых инструментов взвыли одновременно, создавая жуткую какофонию. Появился второй слон в красной с желтым попоне. На нем сын махараджи, черноволосый юноша в фиолетовых с красным одеждах, сидел за рулем синего одноцилиндрового автомобиля фирмы

«Де Дион-Бутон» мощностью 6 лошадиных сил[1]. За ним шел третий слон, укрытый зеленой с желтым попоной с голубым олдсмобилем на спине. В нем сидели Гризельда и Молли с Арданом на коленях; вокруг них прыгал верещавший Рам, то и дело дергавший Ардана за хвост, чтобы заставить его пошевелиться.

Затем появились и другие слоны с другими автомобилями на спине и с седоками, представленными местной знатью.

Каждый год у махараджи появлялись один или два новых автомобиля, за которыми он отправлял Шауна в Европу или Америку. Из-за отсутствия автомобильных дорог вся эта техника могла передвигаться только на спине у слонов.

Вместе со слонами в процессии участвовали сооружения из цветов и зеленых ветвей, увешанные фруктами и усыпанные рисом, статуи богов, сундуки с сокровищами махараджи, группы танцоров, танцовщиц и обнаженных детей, священные коровы, обезьяны… Завершал процессию слон с тигром на спине. Это был очень старый тигр с позолоченными клыками. Он сидел в клетке из брусьев сандалового дерева, покрытых искусной резьбой.

Эти сокровища и произведения искусства были выставлены на дождь, чтобы выразить ему благодарность за возвращение, и в надежде, что он подарит им свое расположение и обеспечит животным и людям плодовитость.

Торжественный кортеж, сопровождаемый кричащей, поющей и танцующей толпой, проследовал через три деревни, после чего вернулся к дворцу. На всем пути его сопровождали тучи. Теперь они затянули половину неба, тогда как вторая половина оставалась чистой. Тучи непрерывно пронизывали красные, розовые и белые вспышки молний. Гром гремел сильнее, чем сто тысяч барабанов и пушечных залпов; в краткие моменты затишья можно было услышать шум ливня, падавшего на лес.

Ардан на руках у Гризельды дышал с трудом. Она тихо беседовала с ним, и он слышал ее, несмотря на гром небесных фанфар.

Гризельда говорила:

— Не горюй, Ардан, мы расстаемся ненадолго… Ты попадешь в рай, а для тех, кто находится там, время не имеет значения… Там есть остров… Это Сент-Альбан, с белым домом и цветущими круглый год рододендронами… Там ты подождешь меня. Может быть, ты встретишь там Эми и своего приятеля, белохвостого лиса Уагу. Когда я присоединюсь к вам, мы снова станем резвиться под небом Ирландии, таким ясным и нежным… И Шаун приедет за нами на своей машине, и мы увидим, как мелькнет белый хвост Уагу в зарослях азалий… Ах, Ардан, не нужно горевать, не нужно…

Муссон добрался до дворца одновременно с процессией. Пучок молний обрушился на крышу. По путям из сплетений серебра небесное пламя достигло земли и укоренилось в ней. И вода рухнула на землю, словно сверху обрушилось море. Золотой колокол без языка, образованный спиралями змей времени с сидящим на нем Вишну, зазвенел, и все колонны, все своды дворца ответили ему. Десница бури нанесла удар по олдсмобилю, превратившемуся в шлюпку, подгоняемую волнами. Чудовищные удары грома и огромные массы воды обрушились на землю. Мокрая до последней нитки Гризельда прижимала к сердцу пустоту. Ардан, не сделавший выбора между двумя половинками неба — синей и черной, — устремился к острову под изумрудным небом Ирландии.

[1] Вероятно, имеются в виду так называемые фискальные лошадиные силы, применяемые для расчета величины налога.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

* * *

Гризельда провела в Берлине три дня в отеле, где у нее был забронирован номер. Днем она гуляла по городу вместе с сыном, а в первую же ночь ее посетили двое мужчин, остановившихся в этой же гостинице. Следующей ночью с ней встретились двое других мужчин. Когда она села в поезд, идущий в Москву, у нее с собой уже не было денег, оставленных Шауном. Через несколько дней из порта Гамбурга вышел пароход с грузом оружия для тайной ирландской армии.

Элен отнесла перстень с изумрудом, подаренный Гризельдой, в сейф «Бритиш Банка», потом, охваченная тревогой, забрала его. Она чуть ли не ежедневно перепрятывала его, сообщая Томасу в записке на клочке бумаги, куда она спрятала его, — на случай своей неожиданной смерти. Ее характер резко изменился. Короткие минуты хорошего настроения сменялись часами тревоги. У нее появилась надежда приобрести остров, пусть и очень нескоро. Если бы только Томас начал зарабатывать деньги, чтобы быстрее набралась требуемая сумма… Тогда она позовет Китти в белый дом, а может быть, и Джейн с ее детьми… Почему бы ей не оставить своего жуткого Эда Лейна? Не исключено, что когда-нибудь и Гризельда… Не станет же она проводить годы под чужой фамилией… Не исключено, что Шаун когда-нибудь оставит ее одну — ведь он гораздо старше ее…

Тревоги Элен были вызваны боязнью потерять камень… И его ведь могли украсть…

Она посетила банк, чтобы узнать у директора, не сможет ли он взять Томаса на работу. Перечислила его достоинства: знание английского и французского языков, его общий культурный уровень, достойный студента-третьекурсника Оксфорда. В этом нельзя было не увидеть и ее влияние… Мистер Виндон не нуждался в уговорах и просьбах. Он был бесконечно рад. Теперь ему будет гораздо проще следить за наивным юношей, чем за полной подозрений женщиной. И он сказал Элен, что может принять Томаса на работу немедленно.

Элен, охваченная радостью, вернулась домой. Она уже видела Томаса начальником отдела, потом руководителем отделения «Бритиш Банка» в Ирландии, желательно в Донеголе. Им не придется ждать, когда он станет директором, чтобы вернуть остров…

Томас начал работать 3 июня, так как 1 июня пришлось на субботу. «Бритиш Банк» в своем расписании применял «английскую неделю».

* * *

Саид, живший в Ботаническом саду слон, умер. В приступе бешенства он убил своего сторожа, старшего капрала Нефа. Потом он пытался повсюду найти его, отказываясь от пиши. В итоге умер от тоски.

Звуковой кинематограф, находившийся на бульваре Страсбург, объявил о своей новой семейной программе по утрам в четверг и в воскресенье.

Решительные возражения вызвал правительственный проект Жоржа Клемансо ввести налог на прибыль.

В Соединенных Штатах на выставке в шахте погибло сто человек.

В России граф Алексей Игнатьев был убит анархистом. Убийца покончил с собой. Еще один революционер, аристократ по происхождению, убил генерала Павлова. Суд приговорил его к повешению.

В Гренобле, в доме бакалейщика, появился призрак, сильно шумевший по ночам. Он тряс двери, стучал по перегородкам, швырял на пол кастрю-

«Всемирная литература» в «Нёмане»

ли. Допрошенный комиссаром полиции, призрак ответил с помощью азбуки Морзе, что он был артиллеристом.

После ряда происшествий на китайских железных дорогах участники пробега Пекин—Париж наконец прибыли со своими автомобилями в Пекин. Пока они не смогли выяснить, удастся ли им реализовать свой проект. Высший советник империи Вэй Ву Пу отказался выдать им паспорта, позволяющие проехать через Маньчжурию. Он считал, что Маньчжурия населена варварами и бандитами, способными убить кого угодно. В связи с этим посол Франции в Китае прислал телеграмму в МИД Франции. Он считал, что решение Вэй Ву Пу является для коренных китайцев всего лишь способом показать свое отношение к императрице Тсу Хи, родившейся в Маньчжурии. Посол считал, что проблема будет решена после того, как императрица примет участие в праздновании дня Пахаря, на который она пригласила все противодействующие стороны.

Что касается сведений о бандитах в Маньчжурии, у посла не было точной информации, хотя в целом он придерживался взглядов Вэй Ву Пу. Правда, он считал, что никакие бандиты не смогут помешать отважным автомобилистам. Гораздо существенней были сведения о полном отсутствии дорог как между Пекином и Маньчжурией, так и на территории последней.

* * *

Шаун и его соперники по пробегу Пекин—Париж, смешавшиеся с приглашенными к императрице, толпились на террасах, возвышавшихся над Полем Вспашки, поблизости от замка первых Пахарей. Поле для вспашки было квадратной формы, как и город возле него. Город, основанный за две тысячи лет до Рождества Христова, на протяжении столетий неоднократно разрушавшийся, сносившийся с лица земли, сжигавшийся, каждый раз восстанавливался, сохраняя все те же квадратные очертания, потому что он находился в центре Срединной империи, находящейся в центре Земли, имеющей квадратную форму.

Наступил первый день второго периода весны, и желтый ветер носившийся над Китаем с начала времен, приносил на западные равнины огромное количество мельчайшей пыли. Она покрывала площадь, на которой происходила церемония, холм и храм сухим туманом, набивалась в глаза, проникала в легкие, накапливалась в карманах; она закрывала солнце, походившее на бледный блин. Шаун жевал эту пыль подобно лошади, грызущей удила, и она постоянно скрипела у него на зубах.

Он гораздо меньше, чем в Европе, опасался, что его опознают, а поэтому отбросил свой поддельный индусский облик и сбрил неприятную ему бороду, рассчитывая, что у нее будет достаточно времени, чтобы отрасти во время пробега. На нем были костюм кремового цвета и мягкая соломенная шляпа. Его лицо, изменившееся под лучами южного солнца Индии, походило на тропическую древесину, а годы опасностей оставили на нем резкие морщины. Его светлые глаза казались окнами в тайну под защитой черных ресниц.

В толпе раздались крики, и одновременно заиграла пронзительная гремящая музыка, сопровождаемая таким же пронзительным пением. Императрица в желтом вышла из храма и двинулась по полю вслед за желтым быком, тянувшим желтый плуг, за рукоятки которого она ухватилась.

Ее сопровождали девять принцев, один из них держал в руках бич, второй нес зерно, а третий сыпал зерно в борозду.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

— Как вы думаете, что они решили посеять? — спросил у Шауна находившийся рядом человек.

Это оказался атташе британского посольства, представившийся как Эдвард Лайонс. Высокий, толстый, широкоплечий, он говорил, как чистокровный француз, и потел, как немец, выпивший по меньшей мере три литра пива.

— Вы не думаете, что это их кошмарная соя?

Шаун ответил неразборчивым ворчаньем. Мужчина не отставал от него ни на шаг. Шаун пытался избавиться от него, переходя от одной группы зрителей к другой, но этот атташе тут же появлялся рядом и начинал говорить. Его белый костюм пожелтел под мышками и на спине. Штанины его брюк казались широкими, словно мешки. Он не походил ни на английского дипломата, ни вообще на англичанина, если не считать рыжих усов и прекрасного произношения, хотя иногда он старался так, что подбородок почти опускался на грудь. Пыль пользовалась этой возможностью, чтобы забраться ему в горло. Он кашлял, вытирал платком пот, смеялся и продолжал говорить.

— Впрочем, я ничего не понимаю в сельском хозяйстве!.. Когда впервые увидел козу, я решил, что это осел!.. Ха-ха-ха!

По периметру террас на холме были расставлены скульптуры тигров и разнообразные каменные стелы. Синие и белые павлины, а также редкие королевские павлины с желтым оперением лениво бродили среди приглашенных. В толпе преобладали западные дипломаты и военные с иконостасом орденов и медалей на груди; встречались также мандарины в роскошных одеяниях, часто сидевшие на стуле под зонтиком в руках кого-нибудь из слуг, якобы защищавшим их от пыли, вельможи, начальники провинций, вожди внешних племен и генералы в сопровождении вооруженной охраны.

Генерал, командовавший французским гарнизоном, беседовал с принцем Боргезе, водителем принадлежавшей ему итальянской машины. Ему пришлось немного посторониться чтобы синий павлин смог пройти между ним и сидевшим на стуле мандарином. Из рукава мандарина высунулась голова собачонки, яростно залаявшей на эту громадную курицу. Павлин остановился, повернулся к собачке и прокричал трубным голосом:

— Хе-хон!

Все павлины, находившиеся на восьми террасах холма, остановились и дружно провозгласили:

— Хе-хон!

Звуки фанфар их голосов раскатились по окрестностям, заставив завихриться продолжавшую сыпаться с неба пыль.

Пожилая императрица с раскрашенным лицом без единой морщины под своей шапочкой-короной, с которой вдоль ушей стекали струйки из больших жемчужин, продолжала продвигаться вперед по борозде, такой же прямой, как и ее стан.

Месяц назад она получила поздравления и подарки в связи с днем рождения. Ей исполнилось семьдесят три года.

— Посмотрите на нее! — сказал Лайонс. — Она добралась уже до середины участка! Если бы могла, она начала бы подгонять быка, который идет слишком медленно для нее!.. Она способна шагать гораздо быстрее, ведь у нее такие большие ноги! Она родом из Маньчжурии!.. Вы знаете, что изуродованные маленькие ножки китаянок с большим пальцем, подвернутым под ступню, считаются эротическим символом для их мужей? Не знаете? Ах, эта ужасная пыль… Скажите, сколько воды вы возьмете с собой, если собираетесь пересечь пустыню?

«Всемирная литература» в «Нёмане»

Шаун чувствовал, как в нем растут одновременно гнев и тревога. Сначала он подумал, что толстяк всего лишь глупый болтун, но потом решил, что Лайонс старается разговорить его. Ему нужно было соблюдать осторожность. Он слишком мало времени провел в Соединенных Штатах, чтобы сойти за коренного американца, хотя бы и давно живущего в Индии. Стоит ему произнести несколько фраз, и любой человек сразу поймет, что имеет дело с ирландцем.

— А вы знаете, почему бык и плуг желтые? И почему императрица и ее окружение одеты в желтое? Потому что это цвет солнца!.. Мне кажется, вы сомневаетесь? Ха-ха-ха! Пожилая дама ведет свою борозду с востока на запад, в соответствии с движением солнца! Она играет роль солнца, когда оно оплодотворяет Землю, она напоминает Земле о ее обязанностях! Она является оплодотворительницей! Ха-ха-ха! Старый дракон-самка! Она была наложницей императора в семнадцать лет, оказалась у власти в тридцать пять, стала отравительницей в сорок шесть, императрицей в сорок семь, оказалась в тюрьме в шестьдесят четыре… Проведя в тюрьме всего три месяца, она ухитрилась вернуться на трон… Это умное, безжалостное существо… Империя держится только ее усилиями… Когда она умрет, все рухнет на ее труп… А этот французский автомобиль на трех колесах, как он называется? Кажется, «Мототри»? Нет? Разве это не безумие? Нет? Или это гениальная придумка… Она пройдет там, где вы не сможете проехать, но разве она сможет забрать с собой нужное количество бензина, воды, продовольствия? Куда все это поместится? Что вы об этом думаете? Это похоже на самоубийство!

Шаун был уверен, что мужчина пытается получить сведения о нем. Он что-то подозревает? Какое подтверждение требуется ему?

— Вы победите! — уверенно заявил Лайонс. — У вас лучшая машина!.. Я обязательно буду в Париже, когда вы окажетесь в двух шагах от финишной ленточки… Буду крайне рад приветствовать вас… Я могу узнать, в каком отеле вы собираетесь остановиться?

Шауну очень хотелось ответить ему по-ирландски — хорошим ударом кулака по физиономии, ударом, способным отправить его кувыркаться среди павлинов и мандаринов. Но он не мог доставить себе подобное удовольствие. Ему пришлось сказать: «Не знаю!», причем таким резким тоном, что в этой фразе пропал любой акцент и малейшая вежливость. Лайонс помолчал несколько секунд, глядя на Шауна с легкой улыбкой, затем сказал:

— Вы мне очень симпатичны…

Покачав головой, он повернулся к Шауну спиной и удалился.

На следующее утро, на заре, небольшая группа татарских всадников в красных халатах и черных шапках, предводитель которых присутствовал на церемонии вспашки, покинула Пекин через северные ворота. Все ворота города открывались на север, юг, восток и запад, потому что четыре стороны света являются главными направлениями, по которым можно попасть из Срединной империи в другие земные государства.

Татары ехали на небольших быстрых лошадях с длинными хвостами. Члены племени кочевников, они не только занимались разведением лошадей, но были также воинами и разбойниками. У их предводителя на шапке можно было разглядеть золотые буквы. Ночью у него в квартале, где обосновались дипломатические миссии, состоялась встреча с Эдвардом Лайонсом, передавшим ему сделанную накануне фотографию «Золотого призрака». Вместе с фотографией предводитель татар получил два кошелька; в одном из них находились золотые китайские монеты, а в другом — небольшие кусочки серебра, отрезанные ножом от большой серебряной пластин-

«Всемирная литература» в «Нёмане»

ки, используемые, после взвешивания при купле-продаже, как деньги у монголов. Китайские монеты были круглыми, с квадратным отверстием в центре. Они символизировали квадратную Землю, окруженную небом, которое, как известно, имеет круглую форму.

* * *

Как и предполагал посол Франции, Вэй Ву Пу в конце концов передал участникам пробега паспорта с написанными кисточкой китайскими иероглифами на бумаге из бамбука. Конечно, маньчжуры и монголы не умеют читать по-китайски, но можно было надеяться, что императорская печать внушит им уважение.

Старт пробега состоялся 10 июня. Теплый ясный день оказался праздничным для жителей столицы. Кортеж, возглавляемый оркестром, выехал из квартала дипломатических представительств и покинул город через северные ворота. За музыкантами, игравшими бравурную мелодию, ехал генерал, командующий французским гарнизоном, за ним следовали четыре колониальных стрелка, возглавляемые гигантом-сержантом, над которым развевалось трехцветное знамя. За ними тянулись автомобили в дыму и грохоте двигателей. Машины расположились в порядке, соответствовавшем очередности их занесения в перечень участников соревнования, что позволило поставить французов первыми. Поэтому в начале колонны оказались два «Де Дион-Бутона», за ними двигались «Мототри», голландский «Спайкер» и «Итала» принца Боргезе. «Золотой призрак», записавшийся последним, замыкал колонну. Таким образом, Шауну и Фергану доставался выхлопной газ, выбрасываемый всеми прочими автомобилями колонны. Но для них запах бензина и сгоревшего моторного масла был мужественным запахом действия и приключения. В багажнике «Золотого призрака» помещались три бочки с 200 литрами воды в одной из них и 400 литрами бензина в остальных, палатка, одеяла, продовольствие, покрышки, запасные части, веревки, цепи, инструменты, домкрат, доски для подкладывания под колеса при опасности увязнуть в песке или грязи и множество других предметов, которые Шаун посчитал необходимыми, в том числе два американских автоматических ружья, два револьвера с патронами и несколько шашек взрывчатки. С этим грузом Шаун должен был подняться на 1000 метров, чтобы преодолеть горный хребет с Великой Китайской стеной. Это была единственная машина с правым расположением руля.

Главный мандарин Пекина крайне предусмотрительно обеспечил поливкой улицы, по которым должны были проехать автомобили. Без этого по городу прокатилось бы огромное желтое облако пыли, так как проезжая часть на улицах Пекина была завалена пылью, падавшей с неба добрую сотню тысяч лет.

Конь генерала, нервный жеребец белой масти, напуганный шумом моторов, танцевал, едва подчиняясь уздечке. Всадник с трудом удерживался в седле, не позволяя коню сорваться в галоп, с ним или без него.

— Ты видел лошадь? — крикнул Шаун Фергану. — Это ирландец из Галвея! Бедняга! Что он делает в Китае?

— А мы? — крикнул в ответ Ферган.

Они рассмеялись.

Толпы китайцев заполнили улицы; они обменивались впечатлениями, смеялись, кричали, качали головами, что заставляло болтаться у них на спине длинным лошадиным хвостам. Их очень забавляла борьба генерала со своим конем, тогда как автомобили никого не удивляли. Они восприни-

«Всемирная литература» в «Нёмане»

мали машины как драконов, а грохот моторов — как непрерывные взрывы петард, всегда применяющихся на всех праздниках и на похоронах.

Министр провинций отправил курьеров всем мандаринам городов и деревень, через которые должны были проезжать участники пробега, с предупреждением, что они увидят появление повозок без лошадей с сильным грохотом и дымом в сопровождении сильного отвратительного запаха. Никто не должен был пугаться этих повозок, так как они никому не причиняли вреда.

После нескольких узких улочек процессия подошла к еще более узкой улочке, проходившей между крашеными фасадами домов с лавками на первых этажах. Шум двигателей заметно усилился благодаря отражению от стен домов. Объявления торговцев на полосах шелка скрылись в поднявшихся над улицей облаках пыли и синего дыма.

Со стен посыпались куски побелки и краски. Конь генерала встал на дыбы и прыжком взвился в воздух. Китайцы хохотали как сумасшедшие и затыкали уши. Оркестр играл «Проезжая по Лотарингии».

Генерал воспользовался моментом, когда его конь опустился всеми четырьмя копытами на землю, и постарался спрыгнуть с него. Конь помчался галопом, брыкаясь через каждые десять метров. Генерал запрыгнул в передовой «Де Дион-Бутон», но в нем не нашлось свободного сиденья, и он стал первым в мировой военной истории генералом, проехавшим в торжественной обстановке, стоя в автомобиле.

Колонна выбралась из Пекина в девять утра через ворота Тен-Чен-Мен. Отряд колониальной кавалерии с всадниками в белых шлемах ожидал здесь участников пробега, чтобы сопровождать их до Великой стены. Возле них в закрытом фиакре европейского типа сидел толстяк. Это был британский атташе Эдвард Лайонс. Он дружелюбно приветствовал всех участников пробега, уделив особенно пристальное внимание Шауну. Толстяк уже обливался потом, хотя утро не было жарким. Дул восточный ветер, подгонявший тяжелые серые тучи, собиравшиеся пролиться дождем над ближайшими горами.

Появление британского дипломата испортило Шауну настроение. Если выяснится, что английская полиция обнаружила его, ему придется покинуть Марабанипур и, по-видимому, вернуться в Америку. Или же отправиться в Ирландию, чтобы вступить в ряды тайных борцов против англичан, поскольку ему давно хотелось поступить таким образом. Этот вариант показался ему предпочтительным, и его настроение улучшилось. Он сейчас хотел бы надавить на педаль газа и помчаться на большой скорости, чтобы успокоить нервы, но такой возможности у него не имелось. Дорога была усеяна камнями, постоянно встречались рытвины и ямы. Водителю то и дело приходилось объезжать препятствия, тормозить, снова набирать скорость, карабкаться на бугор, огибать похожую на айсберг каменную глыбу, торчащую посреди дороги. В итоге скорость автомобиля вряд ли намного превышала скорость пешехода.

Вскоре повстречалось и первое серьезное препятствие в виде моста через ручей, раздувшийся после дождя. Замечательный мостик, построенный около двух тысяч лет назад, настоящее произведение искусства из мрамора, со статуями людей и животных, похожих на львов. Даже проезжая часть моста была выложена мраморными плитами. Но с каждой стороны мост возвышался на метр над подходящей к нему дорогой. Большая толпа кули ожидала подъезжающие машины. Они рассчитывали за хорошую плату выручить погонщиков повозок без лошади, сначала подняв машины на мост, а затем спустив их с моста на другой стороне с

помощью веревок, цепей, талей и досок. На всю операцию требовалось каких-то три-четыре часа.

Подобная странная методика строительства мостов была связана с мудростью одного из первых китайских императоров, управлявшего страной вскоре после изобретения колеса. Как только появилось колесо, как началось строительство колесных повозок, на которых предприимчивые горожане отправлялись в деревню, где скупали дешевое зерно, потом продававшееся в городе по высокой цене. Мудрый император приказал снести обычные мосты и заменить их мостами, недоступными для повозки на колесах. Одновременно он приказал построить на городских перекрестках и улицах в местах, где их невозможно было объехать, мраморные лестницы, уставленные скульптурами драконов и великих людей. В результате китайцы были вынуждены отказаться от транспортировки грузов на повозках и возобновили перетаскивание грузов на спине. А так как на спине много не перенесешь, сама собой прекратилась скупка зерна в сельской местности и спекулятивная его продажа в городах.

Первый этап закончился в городе Нан-ку. Водители и механики переночевали в корчме, в обшей комнате. Постели и изголовья были сложены из кирпичей, о подушках, матрасах или тюфяках здесь никто не слышал, но зато насекомые присутствовали в изобилии. Шаун и Ферган предпочли дремать, сидя в «Золотом призраке», поставленном во дворе рядом с остальными машинами. Выспаться им не удалось и здесь, так как двор был заполнен верблюдами и их погонщиками. Если погонщики спали мертвецким сном, не обращая ни на что внимания, то Шауну и Фергану всю ночь мешали верблюды, то и дело испускавшие апокалиптические вопли, а в промежутках между криками дышавшие ненамного тише.

После Нан-ку использование двигателей оказалось невозможным из-за гористой местности. Дорога походила на русло горного потока, заполненное щебнем, валунами и грязью. Кули обвязали машины веревками и тянули их с песнями, смехом и криками до следующего города. Ночь в Чао-тао оказалась такой же жуткой, как и предыдущая; утром офицер, командовавший кавалерийским отрядом, распрощался с участниками пробега и вернулся в Пекин. Перед автомобилистами распахнулись ворота Па-та-ли, через которые вот уже двадцать три столетия желающие могли выйти на другую сторону Великой стены. Шел бесконечный дождь. Кули протащили автомобили через ворота по колено в грязи.

Сама гонка, если считать таковой соперничество между автомобилями, еще не началась. Шаун спокойно держался в хвосте колонны, стараясь передвигаться в полном одиночестве. Его добровольная изоляция облегчалась тем, что только принц Боргезе знал английский язык, но он, как и Шаун, не спешил вырываться вперед. Боргезе с уважением и тревогой относился к «Золотому призраку», поскольку видел, что только он может оказаться серьезным конкурентом его «Итале». Он не мог догадаться, что Шаун, несмотря на свой боевой характер, не собирался привлечь к себе внимание, первым закончив пробег в Париже.

После спуска с холмов, на котором машины приходилось не тянуть, а спускать на веревках, кули тоже оставили караван и вернулись в Пекин. Впереди простиралась плоская равнина, на которой машины могли начать соревнование в резвости. Теперь, чтобы добраться до Европы, достаточно было пересечь всего лишь пустыню Гоби, Сибирь и Урал.

«Всемирная литература» в «Неймане»

* * *

Томас сидел за выделенным ему небольшим столом, застеленным темно-зеленым молескином. Началась вторая неделя его работы в банке. Он только что осознал весь ужас рабочего понедельника.

Накануне Леон предупредил его:

— Понедельник — проклятый день. Это день Луны, тогда как воскресенье — праздник, потому что это день Солнца.

— Но сейчас идет дождь!

— Ну и что? Конечно, можно думать, что по воскресеньям дождь не должен идти. И это правильно; но раз дождь все же идет, то это доказывает, что что-то нарушилось в нашей Вселенной после того, как Бог выгнал нас из Рая. Разумеется, это случилось в понедельник… Именно в этот день Господь сказал человеку: «Ты будешь в поте лица добывать хлеб свой», и именно с этого дня во всем мире мужчины потеют по понедельникам, где бы они ни находились, в школе или на кладбище…

— Ты веришь этому? Рай, дерево со змеем?

— Разумеется, я верю… И ты тоже должен верить в эту историю… Как и во все древние истории, даже если не понимаешь, что они означают. В начале каждой из них было нечто реальное, но со временем оно забылось. Представь, что ты вышел из кухни; до тебя доносится только запах отбивной; ты не видишь ее, ты не можешь дотронуться до нее, но отбивная существует, и ее запах пробуждает в тебе чувство голода. И ты можешь попытаться вернуться на кухню. В большинстве случаев человек умирает, прежде чем вернется на кухню и попробует отбивную, но ты все равно можешь попытаться найти ее… А по дороге не исключено, что ты наткнешься на листик салата или на ягоду малины. Они не избавят тебя от голода, скорее наоборот, но тебе будет приятно… Например, воскресный дождь меня часто заставлял задуматься. Ведь это день Бога, день Солнца. По логике вещей Бог должен дать нам в этот день Солнце. Ладно, он позволяет идти дождю, когда дети находятся в школе, а их родители на работе, но почему дождь идет в воскресенье? Ты не знаешь, почему?

— Просто так! Он идет, вот и все!

— Нет, не просто так! Ничего не бывает просто так… Все, что существует, существует для чего-то. Так и воскресный дождь… Он продолжает… Смелые рабочие с их забастовками и демонстрациями в конце концов добьются воскресного отдыха, но не воскресного Солнца, — как бы не так!

— Они никогда и не станут требовать его!

— Кто знает?..

Они сидели в гостиной на первом этаже. Леон в фиолетовом кресле вязал наколенники из желтой шерсти для Камиллы, жирафы, страдавшей от артрита. Хозяин назвал ее женским именем потому, что это животное хотя и было самцом, но все равно оставалось жирафой, то есть как бы существом женского пола.

Томас устроился с баночкой гуаши на ящике с удавом, который он предусмотрительно закрыл. Он спустился вниз, пока мать зашивала простыню с тщательностью паука-ткача. Сделанные матерью заплатки, четкие и даже красивые, похожие на вышивку, постепенно покрывали небольшой запас белья, захваченного из Англии, но чинить его было бесполезно, когда оно становилось прозрачным от многолетнего использования.

Держа на коленях большой альбом, Томас рисовал бороду Леона, залившую фиолетовое кресло, попугаиху Флору, затаившуюся в клетке,

в лесу из толстых прутьев, коня Тридцать первого, дремлющего, словно сонное озеро.

— Однажды, — сказал Леон, — я все понял. Наверное, я был идиотом, если не смог понять этого раньше… Когда в воскресенье идет дождь, то это делается для того, чтобы люди поняли: не только Солнце считается праздником, но и дождь!.. А также ветер, буря, холод, жара… Короче, все! Это праздник мира, праздник жизни!.. Если ты понимаешь это, ты будешь радоваться, а не хныкать, ты всегда будешь счастлив! Когда это дошло до меня, я понял, что все дни для тебя могут стать воскресными, если ты будешь любить их, даже самые несчастливые.

— Сходи завтра в банк вместо меня, — сказал Томас. — И ты сразу поймешь, как сильно ты любишь понедельник, вторник и все остальные дни недели!

Из ящика под ним послышался шум. Извивы тела удава пришли в движение, сопровождавшееся шелковым шорохом чешуек, а его голова скребла крышку ящика. Он вскочил, указав пальцем на свое сиденье.

— Там внутри что-то шевелится!

— Он проголодался. Последний раз перекусил в День всех святых… Я выпущу его на конюшне. Туда забегают крысы, питающиеся оставшимся у лошадей овсом. Когда он проглотит нескольких крыс, напугает остальных, и те убегут.

Леон положил на кресло вязанье, снял с ящика крышку и наклонился над ним.

— Вылезай, Сифон, вылезай, мой красавчик…

Он выпрямился, держа в руках несколько витков тела змеи. Распределив их по плечам и груди, он снова наклонился, чтобы извлечь остальное, обмотав на этот раз удава вокруг бедер. Потом наклонился в третий раз, и последняя порция удава обвилась вокруг него, а его голова с правого плеча, сделав несколько витков вокруг руки, протянулась к ладони. Напрягая все мышцы, Леон тяжело зашагал к двери.

— Ты останешься в банке, если создан для него… Но ты должен понять, хочешь ли свить свое счастливое гнездо в клетке, как Флора, или на вершине тополя, как Шама…

— Да, — сказал Томас, — Шама вьет гнездо наверху, но спит он внизу, где теплее!

— Это то, что называют компромиссом. Так поступает художник, когда ему не удается…

Он толкнул двустворчатую дверь, и запах мокрой зелени ворвался в гостиную; в нем преобладали ароматы туи и дрока.

— Этот дождь прекрасен! Нарисуй дождь!

Томас опустился на колени перед открытой дверью и положил альбом на пол перед собой. Несколькими быстрыми штрихами он нарисовал человека с грузом змеи на плечах, удалявшегося сквозь струи желтого дождя.

Сегодня он весь понедельник был заперт за столиком, плоским, пустым и зеленым, словно ночная темнота в глубине трясины, и даже не представлял погоду снаружи, потому что сидел спиной к окну, лицом к помещению банка, одинаково залитому электрическим светом, какой бы ни была погода.

Он извлек из ящика стола несколько пачек бланков и водрузил их высокой стопкой перед собой. Потом на столе появились два резиновых штампа и пахнущая чернилами плоская коробочка, которую он открыл. Бумаги перед ним были бланками чеков с напечатанным в верхней части листа лондонским адресом банка.

Томас взял самый верхний бланк, положил его на стол, придерживая левой рукой, схватил правой рукой первый штамп, смочил его в черни-

лах, приложив его к коробочке, а потом опустил на бланк, напечатав на нем таким образом адрес парижского отделения банка. Отложив первый штамп, он схватил второй, снова обмакнул его в чернила и напечатал на бланке справа сверху, затушевав слово «Лондон», слово «Париж» с длинной цепочкой точек, над которыми при заполнении бланка должна была появиться рукописная дата.

Он положил штамп, схватил бланк, положил его справа на стол, взял второй бланк, прижал его к столу левой рукой, схватил первый штамп…

Томас уловил, что у него за спиной остановился господин Паризо, заведующий отделом.

Он смочил первый штамп в чернилах, прижал его к бланку, положил его, схватил другой штамп, поставил его на бланк, положил, схватил бланк…

— Стоп, стоп, стоп! — произнес господин Паризо.

Томас задержал движение руки, собиравшейся снять третий бланк со стопки.

— Я уже говорил, чтобы вы не действовали таким образом, господин Анжье… Ваш способ не рационален… Вы теряете много времени… Поставьте сначала первый штамп на все бланки, потом точно так же поставьте на все бланки второй штамп. Таким образом, вам не понадобится каждый раз брать по очереди оба штампа. И не делайте стопку бланков такой высокой… Работайте с небольшой стопкой… И не стоит лизать кончики пальцев, чтобы взять бланк со стопки… Это негигиенично как для наших клиентов, так и для ваших коллег, которым придется работать с этими бланками…

Господин Паризо склонился над столом. Невысокий человечек лет пятидесяти, в серых брюках и черном пиджаке, с однотонным серым галстуком — все совершенно безупречно. Его усы и приглаженные волосы с пробором цветом соответствовали галстуку. Он протянул к лежавшему на столе бланку мертвенно-бледную пухлую руку.

— Вот видите, — произнес он.

Кончиком пальца он постучал по слову «Париж» с точками после него.

— Вы держали штамп криво, поэтому слово и точки перекосились, получилось очень неаккуратно… Кроме того, парижский адрес должен находиться точно над лондонским адресом на расстоянии в пять миллиметров и идти параллельно ему, а не наискосок!.. Будьте внимательны, господин Анжье, небрежно оформленные бланки могут вызвать у клиентов недоверие к нашей фирме и повредить ее репутации…

Господин Паризо был парижанином. Он обращался к Томасу как к «господину Анжье». Томас не привык к тому, чтобы к нему обращались по фамилии. А произношение его начальника делало обращение к нему еще более странным. Ему казалось, что обращаются к кому-то другому, к незнакомому ему юноше, сидящему за зеленым столиком под электрической лампочкой и занимающемуся чем-то крайне нелепым: штамп, бланк, смочить штамп, приложить к бланку, убрать бланк, взять другой, смочить штамп, приложить штамп к бланку, действовать правой рукой, действовать левой рукой, действовать правой рукой, приложить штамп к бланку… Работа не столько для человека, сколько для механического манекена, к которому обращался другой манекен с фонографом, спрятанным за его галстуком… И все происходило в странных декорациях у стены, обклеенной обоями; манекен, фонограф, картон, электрический свет, приложить штамп, лизнуть, приклеить, смочить штамп, приложить штамп… Господин Анжье… Господин Анжье…

— Я знаю, господин Анжье, что поступить на работу в банк в вашем возрасте можно только с надеждой вскоре стать крупным банкиром… Но, поверьте мне, господин Анжье, вы никогда не станете крупным финансистом, не зная основ этой профессии, не освоив умения правильно ставить штамп на бланк…

Томас штамповал бланки на протяжении десяти часов в понедельник, во вторник, в среду… Он занимался этой деятельностью всю предыдущую неделю. Начиная с этого четверга его движения стали автоматическими, и отштампованные бланки выглядели идеально. Они уже заполнили половину металлического шкафа. Их никто не собирался использовать, так как у каждого сотрудника банка уже имелись бланки, отпечатанные на французском языке. Но господин Паризо, как заведующий отделом, был счастлив, создавая дополнительный резерв бланков, никому не нужный, но существующий. В субботу он сообщил Томасу:

— В понедельник я переведу вас на работу с финансами. Желаю вам хорошо отдохнуть в воскресенье, господин Анжье.

Потом он нацепил металлические прищепки на свои брюки, сел на велосипед с рулем, напоминающим рога нормандской коровы, и устремился в сторону Клиши. Он жил в небольшом домике с миниатюрным огородом, в котором, начиная с полудня пятницы и все воскресенье, выращивал картофель, морковь и немного петрушки, а на деревьях у него созревали груши. Кроме того, на пятачке у дома цвели маргаритки и гладиолусы.

* * *

Пустыня напоминала громадную окаменевшую бурю. Застывшие волны красных скал высотой в сотни метров тянулись, сталкиваясь и разбиваясь, до самого горизонта, раскаленные и, как казалось, кипевшие на безжалостном солнце. Телеграфная линия на деревянных столбах, связывавшая Пекин с Россией, уходила вдаль, перепрыгивая с одной гряды на другую. Самым идеальным вариантом для участников пробега было следовать за ней, но для этого автомобили должны были превратиться в кузнечиков.

Служба, обеспечивающая создание в пустыне пунктов снабжения бензином, распределила бочки с горючим вдоль обычного пути передвижения, тысячелетней тропы, петлявшей от одного колодца к другому через бесконечное пространство скал и песка, не заботясь о необходимости придерживаться прямой линии. И автомобили были вынуждены придерживаться маршрута верблюдов.

С первых же километров мощность моторов обусловила существенные различия в положении машин. Шаун вышел на первое место, затем, с трудом сдерживая свой темперамент, пропустил вперед князя Боргезе. Правда, ему пришлось сразу же пожалеть об этом, так как пыльное облако за итальянской машиной долго висело в воздухе в промежутках между скальными волнами. Наконец дорога выбралась на голое плато, на котором пыльный след «Италы» протянулся до самого горизонта. Водителям, впечатленным окружавшей их бесконечностью, показалось смешным тупо следовать за идущей впереди машиной, ссылаясь на то, что она прошла какой-никакой, но все же дорогой. Шаун заметил, когда поднял на лоб свои автомобильные очки, далеко в стороне пунктир телеграфной линии и повернул машину в ту сторону. Имея с собой запас бензина на два дня, он мог позволить себе небольшое отклонение от традиционного маршрута.

Под тонким слоем пыли и песка находилось твердое основание. Шаун и Ферган, сменяя друг друга, поддерживали высокую скорость; однако

незадолго до вечера машина остановилась. Бензобак оказался пустым, хотя горючего в нем должно было остаться не меньше трети объема. Очевидно, бензин быстро испарялся из-за сильной жары, чего никто не предусмотрел при подготовке автопробега. Шаун воспользовался имевшимся у него резервом и решил оставить телеграфную линию, чтобы вернуться на главную трассу.

Стемнело. Ферган установил палатку, и это был их первый ночлег в пустыне, под небом, усыпанным таким множеством звезд, что казалось странным, почему небо не рушится под весом звезд и их света.

Прежде чем уснуть, Ферган долго смотрел на небо. Лежа с полуоткрытым ртом, с блестящими в свете походного фонаря рыжими волосами, он выглядел наивным ребенком. Собственно говоря, он и оставался наивным человеком, несмотря на все приключения и схватки.

— Ах, Шаун, — прошептал он, — как это прекрасно!.. И звезд здесь в десять раз больше, чем у нас дома…

— Их ничуть не больше, просто воздух здесь гораздо прозрачнее, и поэтому звезды видны лучше…

— Как ты думаешь, их можно сосчитать?

— Не знаю…

— Их пришлось бы считать по ночам всю жизнь… Но с какой начинать? Ты наверняка вскоре забыл бы…

— Да уж, можно не сомневаться…

— Но сам Бог должен же знать, сколько у него звезд? Скажи, Шаун, он знает это?

— Да, Ферган…

— Конечно, ведь он невероятно велик, правда, Шаун?

Они замолчали и вскоре уснули. Ночь была полна множеством звуков, едва слышных, близких и отдаленных. Потрескивал охлаждавшийся двигатель…

На заре первым проснулся Ферган, ему показалось, что он услышал крик петуха на ферме отца.

Он сел, не сразу сообразив, что находится совсем не в Ирландии.

— Тише! — предупредил его Шаун.

Ферган разглядел внутренности палатки и сразу же вернулся к реальности. Шаун стоял на коленях возле входа и всматривался наружу через узкую щель. Ферган прислушался. Снаружи доносились странные звуки, какие-то шорохи и как будто легкие шаги. Он заметил, что Шаун держит наготове свой револьвер. Упрекнул себя, что оставил свой револьвер в автомобиле. Бесшумно подобравшись к Шауну, он внезапно заметил, что тот негромко смеется. Выглянув наружу, он увидел «Золотой призрак», стоявший в нескольких метрах от палатки. Его медные детали сверкали в лучах восходящего солнца. Вокруг машины собралось несколько антилоп, напомнивших ему стайку любопытных девушек. Животные принюхивались к незнакомым запахам, царапали копытом потухшие угли костра, лизали кожаные чехлы. Одна из антилоп забралась в машину, где принялась жевать угол зеленой ткани.

— Это же моя рубашка! — заорал возмущенный Ферган и выскочил из палатки, осыпая антилоп гэльскими ругательствами. Антилопы сыпанули в стороны, словно испуганные блохи, и исчезли, оставив за собой облачко пыли.

Шаун тоже выскочил из палатки и стоял в стороне, пока Ферган рассматривал свою рубашку, у которой не хватало почти половины полы.

— Мерзкие коровы! — сказал Ферган. — Ведь это моя рубашка из Донегола! Она всегда была со мной!

«Всемирная литература» в «Нёмане»

— Не жалуйся, — сказал Шаун. — У тебя все же осталось чем прикрыть задницу…

Со всех сторон на каменистом плато возникали небольшие облака пыли, постепенно смещавшиеся в южную сторону. За ними в воздухе продолжало висеть немного пыли. Это были стада антилоп, охваченных общей тревогой.

— Никогда бы не поверил, что в Гоби столько зверья, — сказал Ферган, сворачивая все, что осталось от его рубашки.

— Верить можно только тому, что ты видишь, — заметил Шаун.

Он уже разглядел, что местами почву покрывала короткая колючая трава, пробивавшаяся сквозь пыль и песок. Ее было достаточно, чтобы служить кормом антилопам.

— Очевидно, неподалеку отсюда есть колодец или какой-нибудь другой источник воды…

Они наткнулись на воду через пару часов. Это оказалось небольшое озерцо с прозрачной водой, образовавшееся в углублении, куда вода просачивалась из-под вертикальной скальной стенки.

Сюда подходила караванная тропа. В тени под скалой стояло пять бочек с бензином. Две из них уже были почти пустыми. Шаун и Ферган разглядели следы шин, оставленные «Италой» и двумя «Де Дион-Бутонами». Ферган заполнил все освободившиеся канистры, а Шаун решил захватить с собой одну полную бочку. Он не хотел оказаться привязанным к маршруту, которым передвигалась команда, обеспечивавшая снабжение гонщиков горючим. Предпочитал сам выбирать свою дорогу.

Погрузив бочку на машину и пополнив запас воды, они двинулись дальше и вскоре вернулись к телеграфной линии, ведущей в сердце Гоби. Это слово на маньчжурском языке означает «пустой, полый», что соответствует характеристике пустыни. Она возникла в депрессии, оставленной древним высохшим морем, и в ней царила страшная иссушающая жара, к которой не может приспособиться ни одно живое существо. На обочинах дороги постоянно встречались скелеты верблюдов, лошадей и быков. Только движение на большой скорости позволяло участникам гонки выдерживать жару. На гребнях скальных волн возвышались пирамиды из камней, воздвигнутые путниками, использовавшими эту дорогу на протяжении многих тысячелетий. Они завершались водруженными на макушку отбеленными солнцем черепами лошадей или быков с широко расставленными рогами. Вереница пирамид, казавшаяся бесконечной, уходила вдаль и терялась, не доходя до недостижимого горизонта. Караваны осмеливались проникать в эту смертоносную часть пустыни и передвигаться по ней исключительно ночью, стараясь преодолеть пекло в часы между сумерками и утренней зарей. Шаун и Ферган увидели во впадине, выстланной солью, блестевшей на солнце, словно зеркало, скелеты целого каравана, передвигавшегося недостаточно быстро.

Они молчали. Человеку нечего было сказать перед нечеловеческими размерами пустыни, перед могуществом природы. Солнце здесь уже не было творцом и защитником жизни; это было адское излучение, каждый день снова и снова поджаривавшее и убивавшее мир. Ощущения человека, пересекающего эту пустыню, были более чем волнующими, они находились на грани ужаса. Сердце Шауна, как казалось ему, раскалилось почти так же, как и пустыня.

Они очутились там, где линия телеграфных столбов продолжалась дальше по прямой, тогда как тропа отклонилась к северу и спустилась во впадину, заполненную солью. Казалось, воздух в ней был на точке кипения. Шаун решил следовать за телеграфной линией. В этом направлении

«Всемирная литература» в «Нёмане»

не было никаких следов, но местность была совершенно ровной. Обогнув скалу, они въехали в песок, хорошо выдерживавший вес машины. Проехали в этом направлении несколько миль, стараясь не смотреть на мелькающие сбоку столбы и бесконечно ныряющие вниз и тут же снова поднимающиеся провода. Это проявление человеческой цивилизации, не складывающееся на абсолютную пустоту раскаленного мира, только увеличивало нереальность обстановки. Исчезли каменные пирамиды, перестали попадаться скелеты верблюдов, вообще исчезли все признаки не только человеческой деятельности, но и жизни вообще; только камни и красный песок продолжались в бесконечность, да еще тончайший волосок, прикрепленный к стоящим вертикально спичкам, исчезавший за горизонтом впереди и сзади…

Внезапно «Золотой призрак» резко клюнул носом и уткнулся в песок. Сидевший за рулем Ферган сразу же затормозил, включил заднюю передачу и попытался сдать назад. Однако колеса крутились вхолостую, а машина быстро погрузилась в текучий, словно вода, песок, сев на днище.

Шаун и Ферган, обливающиеся потом под палящим солнцем, принялись откапывать машину, используя подкладываемые под колеса доски, но им никак не удавалось выбраться из ловушки. Пытка солнцем была невыносима. Они чувствовали, как влага уходит из тела, и почти непрерывно пили воду, обливали себе голову и тело, но им не удавалось охладить себя, как невозможно охладить полено, сгорающее в печи, побрызгав на него водой. Они полностью разгрузили машину, чтобы облегчить ее, но, продвинувшись на несколько метров, снова увязли.

Солнце, похожее на раскаленное пушечное ядро, опустилось за горизонт, и жар доменной печи мгновенно сменился суровой прохладой. До предела измотанные путешественники уснули, завернувшись в одеяла и тесно прижавшись друг к другу. Проснувшись до рассвета, они позавтракали, воспользовавшись услугами полумесяца, заливавшего пустыню нереальным зеленым светом. Перекусив, продолжили схватку с песком. Им пришлось максимально облегчить машину, сняв с нее все, что удалось отсоединить. Когда от машины осталась только рама с двигателем, да еще колеса, Шаун сел за руль, Ферган принялся толкать сзади; только таким образом им удалось выбраться из трясины на твердую почву. Небо стало светлеть, когда они, разложив на одеяле все детали, что им пришлось снять с машины, начали чистить, смазывать и ставить их на место, заново собирая машину. Поднявшееся над горизонтом солнце снова принялось обжигать их, хотя воздух некоторое время оставался холодным. Приведя машину в порядок, они двинулись дальше, оставив все, кроме воды, бензина, продовольствия, оружия и нескольких одеял. Через час осторожной езды они добрались до идеально ровного каменистого плато. Мотор после вынужденной профилактики работал безупречно. Телеграфная линия походила на выпущенную из лука стрелу, вонзившуюся в горизонт. Солнце жгло им головы, проникая сквозь головные уборы. Шаун постепенно увеличивал скорость, и «Золотой призрак», легкий как ветер, мчался по твердой дороге сквозь горячий и совершенно сухой воздух. Стрелка спидометра сдвинулась с цифры 50 миль в час и быстро добралась до отметки в 80.

Одинокий в центре мира, пустого, плоского и круглого, как тарелка, далеко от конкурентов, судей и зрителей, отважный маленький автомобиль побивал все рекорды скорости, когда-либо достигнутые колесным механизмом с бензиновым двигателем.

— Ура! — заорал Ферган. — Подумать только, что это сокровище создали мерзавцы англичане!

И он принялся распевать во все горло боевую песню, которую пели повстанцы Донегола. Шаун счастливо улыбался, несмотря на болевшую, в

трещинах, кожу лица. Пустынный орел, поднявшийся так высоко, что его нельзя было увидеть, заинтересовался облачком пыли, пресекавшим его царство.

Вечером они наткнулись на дом.

Это был обыкновенный китайский дом с крышей из глазурованной черепицы, приподнятой по углам. Разумеется, дом был окружен квадратной оградой. Телеграфная линия подходила к дому, а затем выходила из него и продолжалась дальше. Это была промежуточная станция-ретранслятор. Внутри ограды находились колодец, цистерна для воды и небольшой огородик, защищенный от солнца решеткой из стеблей бамбука на четырех столбах. Под этой крышей росло даже сливовое деревце, на котором висела позолоченная клетка; в клетке сидела розовая птичка с синим горлышком.

В доме обитали китаец с женой и котом и стоял аппарат Морзе. Кот отличался густой шерстью, легкой, словно пух, цветом, близким к песочному с палевым оттенком. Морда и уши у кота были темно-коричневые, а глаза голубые, как небо пустыни на утренней заре.

Сюда поступали новости из Пекина, почти затухшие из-за большого расстояния, и аппаратура телеграфиста усиливала их и отправляла дальше в Россию. Точно так же он переправлял в Пекин новости со всего света, в том числе и из России. Два часа в сутки телеграфист крутил педали велосипеда, подключенного к динамо-машине, чтобы запасти необходимое количество электричества в своих аккумуляторах. Время от времени проходившие мимо караваны доставляли ему продовольствие; иногда его посещали кочевники-монголы. Он встретил иностранных гостей очень любезно, долго рассматривал повозку без лошадей и сообщил известные ему новости об автопробеге. Шаун и Ферган узнали, что два гонщика — на «Мототри» и «Спайкере» — сошли с маршрута.

Для работы на станции столичная администрация должна были найти человека не просто грамотного, но знающего несколько иностранных языков и разбирающегося в основных направлениях современной науки. Кроме того, человек должен был согласиться на продолжительное одиночество в пустыне.

Шаун отправил телеграмму Гризельде в московский отель «Метрополь». После этого телеграфист с поклоном поблагодарил его, так как это была первая телеграмма, отправленная с этого пункта за восемь лет его службы.

С наступлением ночи птичка в клетке принялась распевать. Ее песенка очень походила на соловьиную.

С зарей Шаун и Ферган двинулись дальше. По совету хозяина, они не стали придерживаться телеграфной линии, так как она должна была снова привести их к зыбучим пескам. Они направились точно на север, где надеялись снова выйти на основную трассу.

После многих часов монотонной езды по унылой равнине под палящим солнцем они достигли гигантского скального массива. Огромные скалы образовали кольцо, внутрь которого они проникли по узкому ущелью. Внутри кольца находился город.

Шаун остановил машину над обрывом. Под ними простиралось множество небольших белых зданий; в центре города располагалось четыре храма под коническими куполами, облицованными золотыми пластинами. Это оказался легендарный город, о котором им много рассказывали в Пекине. За все время его существования в город не входила ни одна женщина. Его обитателями были монахи-буддисты, и их жизнь была посвящена исключительно медитации. Город со стороны выглядел необитаемым. Шаун спустился в город и остановился в его центре, на большой квадратной площа-

ди. Из домов первыми выскочили с лаем собаки, потом появились монахи в желтых одеждах, с куском материи на голове для защиты от солнца. Они осторожно приблизились к машине с негромко ворчавшим двигателем. Их любопытство можно было сравнить со страхом перед повозкой без лошадей, поэтому на каждые два шага вперед приходился один шаг назад. Шаун и Ферган обратились к ним с дружелюбными жестами, заставившими окружение рассмеяться. Когда Ферган сел за руль и тронулся с места, монахи с криками разбежались, словно стая испуганных воробьев, но тут же остановились и вернулись на площадь. Ферган описал несколько кругов и восьмерок по площади, рыча мотором и выпуская из выхлопной трубы синий дым. Монахи смеялись и хлопали в ладоши. Один древний бонза с доброжелательной улыбкой на мудром морщинистом лице произнес непонятную фразу, тут же повторенную всеми присутствующими. После этого монахи перестали веселиться и молча покинули площадь. Через несколько минут город снова выглядел безлюдным. «Золотой призрак» двинулся дальше, проехал через ущелье и на полной скорости устремился на север.

Шаун не знал, с какими словами обратился к своим соотечественникам мудрый бонза. А его фраза вполне могла заинтересовать Шауна, знай он местный язык:

— Самый быстрый в мире конь, что найдешь ты в конце своего пути? Самого себя…

Они вернулись на дорогу, где заправились из попавшихся им бочек. Самая трудный отрезок пути по пустыне остался позади. Теперь они двигались на северо-запад через саванну; из травы в небо то и дело взлетали жаворонки, распевающие песни. Они обогнули болото с дежурившими в воде цаплями и белыми фламинго. Перед машиной то и дело взлетали стайки красных куропаток. Равнина простиралась к горизонту, на котором появилась горная цепь, отмечавшая границу Монголии.

Вскоре они должны были повстречать ждущих их татарских всадников.

Продолжение следует.

Перевод с французского Игоря НАЙДЕНКОВА.

Петро ВАСЮЧЕНКО

Андрей Мрый, его мир и его тень — странное создание Самсон Самосуй

К 135-летию со дня рождения белорусского писателя-сатирика

Один из наиболее загадочных белорусских писателей, член литературного объединеия «Узвышша», намеревавшегося создать литературу, которой удивились бы века и народы, неистовый и неутомимый сатирик, черпавший вдохновение в деформациях сталинского режима, просто человек, прошедший через душевные и физические испытания, ссылку, каторгу, вычеркнутый из литературы и вернувшийся в нее, — таким видится на расстоянии лет Андрей Мрый (1893—1943), настоящее имя которого — Андрей Андреевич Шашалевич.

Не имел безупречной репутации пролетарского писателя, родился в семье чиновника, учился в духовной семинарии, готовился стать священником. Религия, вера своеобразным образом войдет в его творчество, преломившись, как и все остальное, в призме его универсального сатирического видения. По возрасту и убеждениям мог бы стать и молодым писателем-нашенивцем, но судьба увлекала его в иные сферы.

Участвовал в Первой мировой и гражданской войнах, на тех же основаниях, что и его современник Максим Горецкий, принадлежит к «потерянному поколению», представленному именами Анри Барбюса, Эрнеста Хемингуэя, Ричарда Олдингтона, Эрих Марии Ремарка, Ярослава Гашека. Военную карьеру окончил в звании прапорщика, вернулся к мирной профессии учителя, после демобилизации преподавал с 1921 по 1926 годы уроки французского языка и истории в Краснопольской школе второй степени.

Семья будущего сатирика была артистической. Как вспоминал поэт Сергей Граховский, «Шашалевичи создали первый в районе драматический театр, в школе организовали драматический и литературный кружки, издавали рукописный журнал «Пралеска». Сатирический раздел в нем вел Андрей Шашалевич… Они ставили спектакли по пьесам Островского, Горького, Чехова для школьной самодеятельности, писали одноактовки, там же Василь Антонович начал писать свою знаменитую «Апраметную». Василь Шашалевич, брат сатирика, стал

известным белорусским драматургом, автором оригинальных, смелых по замыслу пьес «Апраметная», «Рой», «Змрок», «Сімфонія гневу», «Воўчыя ночы». Его ожидала трагическая судьба — он был осужден в 1936 году и погиб в сталинском ГУЛАГе за два года до смерти брата Андрея. Андрей, также наделенный артистической натурой, любивший шутки, розыгрыши, избрал своей карьерой литературу, сатиру». Ошибся или нет?

Литература в нем не ошиблась. Но ошиблось время, беспощадное к тем, кто шел вразрез с ним, игнорировал его стандарты и штампы.

Начинал с зарисовок, образков, юморесок и очерков, которые с 1924 года высылал в газету «Савецкая Беларусь», журнал «Наш край» и литературное дополнение к нему «Чырвоны сейбіт». Селькор, казалось бы, бесхитростно повествовал о случаях на колхозном рынке, о крестьянских разборках.

Перелом в его творчестве случился по приезде в Минск, где он поступил на работу в Центральное бюро краеведчества. Именно в этот момент в литературной жизни Беларуси происходит знаковое событие: раскол в литературной организации «Маладняк». Наиболее одаренные представители массового литературного объединения выражают нежелание ориентироваться на вал, на конвейер, политическую конъюнктуру и изъявляют желание творить для вольной Беларуси.

Вступить в литературное объединение «Узвышша», представлявшее литературную элиту, было непросто. И тем не менее, Андрея Мрыя, автора нескольких рассказов («Калектыў Яўмена», «Рабін», «Няпросты чалавек», «Камандзір»), приняли. Как приняли и молодого Кузьму Чорного, и совсем юного Лукаша Калюгу, видимо, потому, что они выделялись не только талантливостью, но и способностью идти «против течения».

Например, рассказ «Камандзір» (1927) посвящен отнюдь не образу красного военачальника, который на боевом коне врывается в стан белополяков, как того требовала конъюнктура. Командирами становились зачастую полуграмотные крестьяне, один из которых предъявляет следующую самохарактеристику: «А мы, ведаеце, ні бэ, ні мэ! Ні ойча наш, ні багародзіцу. Толькі, праўда, лаянкаю добра крылі». Новоиспеченные командиры с удовольствием участвуют в погромах революционного времени, хотя автор готовит для них надлежащую кару. «Скінулі мяне з камандзірства, засадзілі ў турму. Судзілі мяне. Суд, пабачыўшы мае маладыя леці, дараваў мне, вярнуў у часць. А там накіравалі мяне на курсы, дзе я зразумеў, які я гад быў і што няправільна разумеў усё».

По мере того как Андрей Мрый из автора, изобличавшего человеческие недостатки, превращается в сатирика универсального масштаба, его вера в справедливый суд минимизируется. Он сам претендует на роль судьи — но только в области литературы.

На своем пути от зарисовок, юморесок, новелл к сатирическому роману А. Мрый следовал литературному опыту своих современников, избравших путь великого обобщения, независимо от того, были они сатириками или нет. Подобным образом картины своего времени создавали И. Бабель, А. Платонов, М. Булгаков, И. Ильф и Е. Петров, М. Зощенко, М. Горецкий, К. Чорный, К. Крапива.

Автор избрал путь универсальной сатиры, иначе говоря, примкнул к таким классикам мировой литературы, как Аристофан, Лукиан, Эзоп, Брант, Эразм Роттердамский, Рабле, Мольер, Крылов, Гоголь, Салтыков-Щедрин, которые создавали гротесковый, смеховой образ всего мира, а не охотились на отдельные человеческие недостатки.

Судьбы универсальных сатириков разные. Результаты их творчества очевидны и похвальны, но не оптимистичны. За те несколько тысячелетий, на протяжении которых в литературе работали сатирики, мир не переменился к лучшему.

Власть всегда панически боялась сатириков. В либеральных своих проявлениях власть стремится приручить сатириков, по крайней мере, терпеть их. Сентиментальная русская царица Екатерина II пролила немало слез над шпильками,

которые отпускал в ее адрес издатель «Трутня» Николай Новиков, хотя ей проще было бы, казалось, не обращать на него внимания или, на худой конец, бросить его в какую-нибудь крепость.

А не очень либеральные режимы просто уничтожали сатирика — морально или физически. Ибо кому хочется созерцать свое отражение в созданных сатириками гигантских зеркалах. Зеркала разбивались, а их творцы подвергались гонениям.

Существование сатиры во время эпохи тоталитаризма в СССР стало одним из ее парадоксов. Иосиф Сталин в свойственной ему парадоксальной манере объявил, что Советам нужны новые Салтыковы и Гоголи. Может быть, он надеялся на обоюдоострость лезвия сатиры — она уничтожает и своих, и врагов.

Может быть, не все сатирики советского времени правильно поняли высказывание кремлевского мыслителя. По крайней мере, многие дали повод к устранению себя из литературного процесса: Платонов, Зощенко, Булгаков, даже бывший любимец Сталина Демьян Бедный — «мужик вредный». Чудом уцелели Ильф и Петров.

А в Беларуси тем временем смертью казнили сатириков Леопольда Родзевича, Анатоля Дзеркача. Чудом уцелел Кондрат Крапива.

Андрея Мрыя ожидала своя драматическая планида. Он неуклонно приближал ее, создавая роман «Записки Самсона Самосуя», который, начиная с 1929 года, печатался в номерах журнала «Узвышша».

Сатирик создал художественный хронотоп, в котором нет разделения на положимтельных и отрицательных персонажей. В нем царит смех — гротескный, алогичный, абсурдистский. Вырастает новый для литературы художественный мир — райцентр Шепелевка.

Он населен не заурядными местечковцами или советскими обывателями, а человеческими единицами со странными именами, обозначающими зверей, или птиц, или рыб, или вообще неизвестных науке существ: Сом, Линь, Самчик, Куропат, Белорыбка, Курица, Зязюлькова, Круторожка, Торба, Крейна, Юрлик, Головастик, Сметана-Бурчайла… Под этими говорящими именами прячется вся шепелевская номенклатура.

Я не очень люблю говорящие имена, считаю их простолинейным ходом, литературным моветоном. Однако думается, А. Мрый не просто маркировал отдельных персонажей, а создавал свой литературный зверинец, наподобие того, что сконструировал в романе-антиутопии «Скотный двор» английский сатирик Джордж Оруэлл.

Существование номенклатурной среды, по А. Мрыю, организовано по законам зоологизма, примитивных инстинктов.

Разные имена — разные персонажи. Товарищ Сом, возглавляющий районную вертикаль, неуклюжий, но солидный, основательно мыслящий. Товарищ Линь (рыба с таким названием считается у белорусов королевской) изворотливый, скользкий, похотливый, король адюльтера. Товарищ Крейна — подвижная, экзальтированная «рыбка», замеченная в любовных приключениях, но нередко — добрая, отзывчивая. В Шепелевке двигаются, проявляют активность, подсиживают друг друга суетливый Мамон, экзальтированный поэт Гарачы, проповедующий революционную радость, «сінюю і кіслую», ехидный философ Торба, и их суета напоминает броуновское движение пассивных частиц, хаотичное, бесцельное.

В то время, когда процветала Шепелевка, еще был актуален лозунг свободной любви, предложенный немецкими марксистками (мол, вступить в связь с мужчиной — это все равно что выпить стакан воды). Еще был в моде фрейдизм, признавались открытия менделизма-морганизма (генетики). Амурные приключения Линя, Сома, любовные игры Крейны — в них просматриваются проявления описанного Фрейдом «либидо», способного проникать во все сферы жизни, в том числе и в бытие советской провинции.

Жизнь шепелевской номенклатуры представляет собой гремучую смесь марксистских лозунгов, партийных директив и старых как мир, утробных инстинктов. Материализм в разумении шепелевцев — это поглощение еды, которое совершается во время новых ритуалов — так называемых «маевок», когда «вочы ўсіх аўтаматычна накіраваліся на клункі з ежай. Агульнае жаданне напоўніць сябе матэрыяй выказаў страхагент».

Шепелевская номенклатура не обновляет бытие, а омертвляет его, в том числе через творение таких чудовищных структур, как «райліт», «райМОПР», «райхім» и районная абортная комиссия. Создается монотонный и сомнительный новый рай.

На фоне большинства представителей шепелевской номенклатуры странным образом выделяется философ Торба, Диоген местечкового масштаба, который доверяет свои крамольные измышления записной книжке. «Не давай ёлупу агонь у рукі», — намекает на личность Самсона Самосуя философ Торба. Он спорит со стереотипами своего времени, утверждая: «Свет вялік, а дзецца недзе», и извлекает из своей «Торбы смеха» (было произведение с таким названием белорусского автора эпохи барокко Короля Жеры) следующие афоризмы: «Што пішы, а што ў галаве насі», «Увесь век вывучай наменклатуру». Эх, слушал бы он сам себя!..

Самсон Самосуй бухнулся в Шепелевку, как водяной в тихий омут. У него неукротимый холерический темперамент, колоссальный заряд энергии, которую флегматичный товарищ Сом определяет как «дурную».

Свои «Записки…» Андрей Мрый пишет от первого лица. Получается, что сатирический герой должен изобличать сам себя. Это гениальная находка автора и в то же время его наибольшее затруднение. Потому что герой, едва успев родиться, начинает расхваливать себя, предается практике нарциссизма. Вот зеркало, в котором Самосуй рассматривает сам себя: «Матка зірнула на мяне, статнага, бялявага, з вельмі пухнатымі вуснамі і дужа кірпатым носам мужчыну…»; «я выцягнуўся і стаяў перад дзяўчынай, высокі, уважысты, з свежым, мужным (праўда, кірпаносым) тварам чалавек». Самосуй свято верит, что «в здоровом теле здоровый дух», и его любимая книга называется «Культура трох памераў цела».

Свою неистощимую энергию он не расходует на крестьянскую работу. В личной анкете он не забывает написать, что «з мужыкоў», но уже не умеет запрячь кобылу, а родителям презрительно бросает: «Як жа? Буду калупацца ў пясочку вашым? Няхай троху пачакае! Якое тут жыццё? Бачыўшы цывілізацыю, які разумны чалавек пачне рабіць калупайства ваша?»

Цивилизованность Самсона Самосуя раскрывается в его автобиографии, из которой мы узнаем, что этот субъект «трынку, валынку, свету палавінку» объездил и нигде как следует не прижился. Он доверительно повествует про свою бурную молодость: «Я чалавек бывалы… Некалькі разоў сядзеў я пад арыштам і карміў сваёй чырвонай кроўю блох ды іншых шасцікрылых і шасціногіх херувімаў і сарахвімаў. Дый і не магло быць іначай з маім тэмпераментам».

Социальный статус Самосуя определить невозможно, он человек — «перекати-поле», которого можно разве что с кем-нибудь сравнивать. Например, с коллежским регистратором Микитой Зноском из трагикомедии Янки Купалы «Тутэйшыя» или с товарищем Горшком из повести «Две души» Максима Горецкого. Объединяет этих героев их безыдейный карьеризм, инстинктивное желание «выбиться» в начальство.

Вышеупомянутый Микита Зносак усвоил практику переодевания, в прямом и переносном смысле: при немцах носил форму пожарного и учил немецкий, при поляках одевал конфедератку и учил польский, при Советах размахивал красным лоскутом, насаженным на палку, учился произносить политические спичи и приторговывал самогонкой. Гардероб Самсона Самосуя больше говорит о герое, чем его поступки: «Дзве хутры, адна лісіная, другая ваўчыная, дзве бекешы, шынелька вельмі пралетарскага крою, прастрэленая ў некалькіх мясцох; пахаджэнне

гэтых дзірак я добра ведаў і ўсім гаварыў, што кулі белагвардзейскай сволачы прастрэлілі яе на дзянікінскім фронце. Было яшчэ паліто даімперыялістычнай эпохі, куртатае і цеснае для маёй асобы… Шмат было ў мяне і нагавіц: галіфэ розных колераў і фасонаў, рэйтузы, клёшы, спрынджыкі (апошні крык амерыканскай моды), шаравары і нават беларускія споднікі з «сеслам» для эфектыўных выступленняў у тэатрах».

Имя героя говорит о нем больше, чем справка о социальном происхождении. Самосуй — эгоцентрик, стремящийся показать себя во всей красе всем и вся, самовыдвигающийся элемент; Самсон — это уже библейская аллюзия, воспоминание о герое, наделенном недюжинной силой, дикой энергией, спрятанной в его волосах. Кто же та коварная Далила, которая острижет кудри библейскому богатырю? Даже обаятельная Крейна не способна на такое. Впрочем, это и не входит в ее планы.

Приехав в Шепелевку, Самсон Самосуй убеждается, что инертному бытию местечка не хватает «грамадскай рошчыны», той самой энергии, которой он наделен свыше всякой меры. Она изливается при первом же публичном выступлении героя на шепелевской маевке: «Для свайго першага дэбюту ў Шапялёўцы я апрануў белую шаўковую з шырокімі адваротамі кашулю і замест гальштуку звязаў шырокім бантам чырвоную шаўковую істужку. Я ўпэўнены, што ўсе заглядаліся на гэты нечувана-вялізны, крывава-прыгожы, бліскучы бант! Мяне гэта ўзносіла на нечуваную вышыню, і я з захапленнем вітаў усіх. Грудзі шырока ўздымаліся, думкі шпарка варушыліся ў галаве, цэлы вадаспад слоў, моцных, запальных, ліўся сам сабою. На вялікі жаль, мне далі толькі 5 хвілін! Ці ж можна было ўкласца ў гэты нікчэмна малы тэрмін? І я, забыўшыся на ўсё, разышоўся на ўсю моц! Я страціў успрыманне часу, і мяне прымушаны былі спыніць, паслаўшы піянера з папярэджаннем…»

Самосуй — создание не только без корней, но и без профессии. Для него нет разницы, куда применить энергию, которая бушует в нем. В Шепелевке он делается «рычагом культуры». Он тренирует пожарников, устраивает облаву на бродячих собак, организует «солнечную кампанию», устраивает товарищеский суд над своим приятелем философом Торбой, занимается «шалёнай барацьбой» с религией, читает лекцию на тему «Аб гангрэнах нашага часу», которая начинается следующим образом: «Капіталістычныя рапухі шкваруцца, яны хочуць праглынуць нас. Імперыялістычная вантроба, ці, па-нашаму кажучы, імперыялістычны каўбух, жарэ ды жарэ чалавечае мяса пад прыкрыццём папяровага бюракратызму Лігі нацый…» Шепелевцы при виде такой активности не знают, смеяться им или плакать. А товарищ Сом, разбирающийся в людях, делает заключение: «Дурыла ты ва ўсесаюзным маштабе! Паглядзіш на цябе, здаецца, нічым прырода не пакрыўдзіла. А толькі розум нейкі дзівацкі!» И в то же время осторожный Сом не воюет с Самосуем, ибо убежден, что самосуи нужны обществу, «каб якую дзірку заткнуць». Той же мысли придерживается и философ Торба, который поддерживает с ним приятельские отношения, хотя и убежден: «У людзей дурні здыхаюць, а ў нас як з вады вылазяць». Убежден в своей непотопляемости и сам Самсон Самосуй: «Ат! Пройдзе ўсё, а я застануся».

Останется. Останется вместе со своей тайной. Кто он: авантюрист, патологический дурень, талантливый имитатор или кто-нибудь еще? Правда, его литературная жизнь была приостановлена: из первой книжки («скрутка») романа он перешел во вторую, но тут печатание произведения прекратилось, рукопись третьей части романа не сохранилась.

И тогда Самсон Самосуй со всей тяжестью своей энергии обрушился на судьбу своего создателя. В 1934 году Андрей Мрый был осужден на пять лет лагерей по делу учителей Краснопольского района БССР. Ему же вменялась в вину клевета на Советскую власть и ее представителей, которую обнаружили в «Записках Самсона Самосуя». В 1940 году по обвинению в создании анти-

советской организации получил еще пять лет лагерей. Умер, возвращаясь из ссылки.

Получилось так, что литературный герой погубил своего же создателя. Такое часто происходит в литературе, когда ее герои выходят из-под контроля, начинают жить своей самостоятельной жизнью.

Писатель пробовал защищаться. Даже написал оправдательное письмо «другу працоўных Іосіфу Вісарыёнавічу Сталіну», в котором пытался убедить вождя всемирного пролетариата в том, что не имел никаких плохих намерений, изображая житие отдельно взятого проходимца и карьериста, предлагал Иосифу Виссарионовичу самому ознакомиться с романом и посмеяться вместе с его автором. Ответа не получил.

Возвращение репрессированного романа произошло в 1988 году, когда произведение было опубликовано в журнале «Полымя», а потом вышло отдельным книжным изданием. Роман был экранизирован. Мне довелось быть одним из рецензентов возвращенного произведения. Помню разговор, который случился у нас по этому поводу с Иваном Антоновичем Брылем, который заметил, что роман Андрея Мрыя не вызывает у него смеха. Я согласился, что сатира не всегда должна быть смешной, она может быть пугающей, зловещей, в ней могут преобладать гротеск, карикатура, травестация, парадокс, абсурдизм. Их полно в творении Андрея Мрыя. Однако есть и место чистому комизму, народному смеху, который искрится в главе «Гойстры гастрыт», который настоятельно рекомендую перечитать тем, кто любит юмор.

К числу художественных открытий А. Мрыя следует отнести и созданный им бюрократический «новояз», где нормалный человеческий язык перемешивается с канцеляритами. «Калі гляджу я ў твае вочы, дык забываюся на прафсаюз...» — так признается в любви к товарищу Крейне товарищ Самсон Самосуй. А. Мрый перетащил в созданный им языковой мир все, что попадалось под руку, — газетные лозунги, фразы из агиток, даже цитаты из речей «друга ўсіх працоўных», например: «Кадры решают все».

Недавно свет увидела монография исследователя литературы Валерия Назарова «Тайнопись Андрея Мрыя» (Минск, Белорусская наука, 2016). Автор небезосновательно считает, что тексты Андрея Мрыя представляют своего рода художественный шифр, и пытается его дешифровать. Многое в наблюдениях литературоведа убедительно, кое-что вызывает сомнения, но текст монографии показывает неисчерпаемость художественного мира, созданного Андреем Мрыем.

Искусство суждения

Александр БЕРЕЗКО

Исповедально-дневниковая проза писателей фронтового поколения

(Н. Лобан, О. Берггольц, Д. Гранин)

Исповедь как особая жанровая модификация документально/мемуарно-(авто)биографической литературы является уникальной формой авторского самопознания в искусстве слова. Эта потенциальная возможность, казалось бы, открывала перед писателями-фронтовиками широкие горизонты для фиксации собственного трагического жизненного опыта. А между тем данный ресурс в полной мере оказался невостребованным ими до настоящего времени. Поколение писателей, вернувшихся с Великой Отечественной войны, в течение долгих лет, на первый взгляд, незаслуженно и необъяснимо игнорировали в своем творчестве такую благодатную художественную форму, побуждая нас, потомков, задуматься: что же было причиной этой непозволительной расточительности?

С окончанием Великой Отечественной войны в литературе наблюдалось заметное оживление интереса к мемуаристике, что, вероятно, должно было вызвать грядущий интерес писателей и к иным формам данного литературоведческого комплекса. Однако эта наметившаяся тенденция в литературном процессе была жестоко пресечена цензурой, выполнявшей указание Сталина, не пожелавшего обнародования правды о войне. «Первые мемуары о войне были написаны вскоре после ее окончания, — вспоминал маршал А. Василевский. — Я хорошо помню два сборника воспоминаний, подготовленных Воениздатом, «Штурм Берлина» и «От Сталинграда до Вены» (о героическом пути 24-й армии). Но оба эти труда не получили одобрения И. В. Сталина».

Давление советского идеологического аппарата ослабевает лишь после XX съезда КПСС в феврале 1956 года, создав благоприятные условия в том числе и для так называемой «военной» литературы. «Брестская крепость» С. Смирнова стала катализатором нового витка интереса к преодолению привычного, ставшего уже каноническим, парадного изображения войны. Однако и в этих условиях писатели-фронтовики не спешили обращаться к созданию исповеди в ее классическом виде, оставаясь в рамках художественного автобиографизма. Основной художественной формой для представителей «лейтенантской» прозы стала фронтовая лирическая повесть с доминирующей формой повествования от первого лица. Таким образом, авторы по-прежнему избегали прямого, искреннего общения с читателем, доверяя свой жизненный опыт вымышленному литературному герою.

С середины 1960-х годов после очередного съезда КПСС правда о войне на долгие годы опять стала запретной темой для искусства. Как вспоминал Л. Лазарев, «при Главпуре создали специальную комиссию, которой на откуп отдали мемуарные книги о войне, она решала, что можно, а что нельзя вспоминать. <…> …мемуары были как надравшие до блеска форму солдаты, занимающиеся строевой подготовкой перед предстоящим парадом. Эти унылые, лишенные серьезной информации рассказы, причесанные на один манер, <…> были пронизаны пустопорожней риторикой, угодничеством, лестью и подхалимством».

Тем не менее, период «оттепели» можно рассматривать как начальную точку соприкосновения литературной исповеди и творческой энергии писателей-фронтовиков. Это сближение происходило на фоне процесса активного влияния лиризма на драматургию и прозу, в результате чего в произведениях отчетливо зазвучал голос самого автора — непосредственного участника и свидетеля исторических событий. Литература периода «оттепели» демонстрирует все многообразие вариантов реализации исповедального начала в искусстве слова. Так, например, М. Шолохов выстраивает свой рассказ «Судьба человека» в форме исповеди главного героя Андрея Соколова. Представители сформировавшейся в это время так называемой «исповедальной прозы» используют последнюю в качестве особой авторской интонации (А. Кузнецов, А. Гладилин, В. Аксенов и др.). Высокая степень проявленности исповедального начала характеризует лирические дневники (О. Берггольц, «Дневные звезды», В. Солоухин, «Владимирские проселки», Ю. Смуул, «Ледовая книга» и др.).

Подлинным периодом расцвета исповедальной прозы среди писателей фронтового поколения стал конец XX — начало XXI века. В это время вышли в свет целый ряд предельно откровенных книг-признаний непосредственных участников военных событий: «Vixi» А. Адамовича, «Долгая дорога домой» В. Быкова, «Жизнь, подаренная дважды» Г. Бакланова и др. Для многих из них создание исповеди стало венцом не только творческого, но и жизненного пути: в 1994 году умер А. Адамович, в 2000-м — В. Дементьев, в 2003-м — В. Быков, в 2017-м — Д. Гранин.

Возникший интерес писателей-фронтовиков к исповедальной прозе не остался без внимания и самих авторов. Так, например, В. Дементьев отмечал в этой связи: «Что-то такое появилось в современной литературе, чему и названия нет. Какая-то тяга к тому, чтобы услышали, прочитали. Своеобразная исповедальная проза. Выговориться за долгие годы молчания». Приведенная мысль не только объективно отражает современное положение дел в литературе, но и позволяет ощутить ту меру растерянности, которая неизбежно возникает у каждого литературоведа, занимающегося изучением произведений документально/мемуарно-(авто)-биографической прозы. Эта методологическая трудность объясняется отсутствием системных научных исследований исповедальной прозы как своеобразного феномена искусства слова. Данное понятие только начинает входить в активный литературоведческий обиход, приобретая терминологический характер. Теоретическая нерешенность многих вопросов документально/мемуарно-(авто)биографической прозы оказывает существенное влияние на художественную практику. По этой причине авторы нередко используют универсальное жанровое обозначение «мемуары» либо заведомо отказываются от такового вовсе (например, А. Адамович сопровождает «Vixi» подзаголовком «Законченные главы незавершенной книги»). Книга Даниила Гранина «Все было не совсем так» также лишена точного жанрового обозначения. И причина здесь не в желании автора создать пелену загадочности вокруг своего произведения, а в его специфической поэтике, где органично сочетаются воспоминания и признания писателя, его размышления, пришедшиеся по вкусу мысли классиков и современников и т. д. Изданная в 2010 году книга «Все было не совсем так» стала своего рода продолжением предшествующего исповедального опыта Д. Гранина «Причуды моей памяти» (2008 г.). На ее страницах автор стремился еще раз повторить сокровенное, досказать то, что было невольно упущено, забыто, обойдено вниманием.

Размышления Д. Гранина о природе исповедальной прозы, неоднократно встречающиеся в книге, являются свидетельством мучительного спора автора с самим собой на вечную тему — способен ли писатель быть абсолютно искренним в художественном произведении. Они являются бесценным материалом, отображающим психологию автора, приступающего к созданию исповеди. Д. Гранин стремится преодолеть ставшее стереотипным в советской литературе клише при

описании собственной жизни: «Сколько я их [автобиографий. — *А. Б.*] написал за свою жизнь… Из чего они состоят — из сообщений: родился, учился, родители, женился, поступил, где жил, был, служил. Все просто. Лучше, когда бедно. И бледно. Этакая справка… Не нужно ни про любовь, ни про ошибки, сомнения, раскаяния. Ни о том, как я хотел покончить с собой. Излишние надежды. Разлука… извините, это никому не интересно». — «Почему, ведь это и есть главное, история чувств, душевные поиски», — недоумевает Д. Гранин. С надеждой отобразить собственные душевные поиски, то есть то «главное», в чем и заключается уникальность и привлекательность человеческой жизни, он приступает к созданию книги «Все было не совсем так»: «С жадностью изголодавшегося накидываюсь я на собственную жизнь». Определяющим фактором успешной реализации этого замысла, по мнению писателя, является открытость авторской души, сохранение текстом главного для исповедальной прозы свойства — искренности: «Талант искренности дает результаты не меньшие литературного».

Д. Гранин отчетливо осознает безусловную востребованность живого человеческого свидетельства о себе, традиция которого насчитывает в литературе не одно тысячелетие: «Почему тянет к дневникам, мемуарам, воспоминаниям? Почему? Почему литература такого рода не стареет? Она долгожитель». Ответ на этот вопрос писатель видит в универсальности человеческого опыта, фундаментальные основы которого (страсти, слабости и т. д.) имеют вневременной характер, являясь точкой сближения представителей разных исторических эпох. Д. Гранин не скрывает своего желания исповедаться, написать искреннюю книгу о себе: «Иногда хочется исповедаться, признаться в плохих поступках, в подлых желаниях и мыслях. Признаться кому? Близким, другу, да как-то стыдно, потеряю уважение. Хорошо бы иметь своего духовника». Однако за кажущейся, мнимой легкостью в достижении поставленной цели для каждого автора-исповедника скрываются трудности, подчас для него непреодолимые.

Создание подлинной исповедальной прозы, затрагивающей сугубо личное, потаенное в жизни автора, как правило, становится для него моментом истины, когда на прочность проверяются достоинство и человечность. Так, например, завершив работу над книгой «Долгая дорога домой», В. Быков в интервью сделает следующее признание, показывающее, насколько разнилось представление о процессе написания исповедальной прозы с его непосредственным осуществлением на практике: «А вообще, скажу я вам, это ужасно сложное дело — писать мемуары». К такому же заключению Д. Гранин приходит значительно раньше. В 2005 году, еще только вынашивая замысел создания собственной исповеди, писатель отметил: «Мемуары, конечно, заманчивая вещь, но чрезвычайно опасная. Писать мемуары достаточно честные — безумно трудно. А заниматься саморекламой неохота». Непосредственно столкнувшись с подобными трудностями, Д. Гранин вносит существенные коррективы в свои творческие планы, связанные с чистосердечным изложением собственных душевных исканий: «…знал, что предстоит вспоминать и открывать слишком много плохого».

С этого мгновения рассуждения автора об исповедальной прозе приобретают иную тональность: «Написать о себе всю правду невозможно. Не могу представить писателя, который осмелился бы вывернуть наружу свою душу со всеми ее мерзостями. При исповеди, на ухо священнику говорится только часть греховного». И далее: «Сладость автобиографии состоит не в исповеди, кому она нужна, кому дело до моих ошибок, сладость в том, что можно вспомнить хороших людей, прелесть прошлого, заполнить живой жизнью пространство между моим отцом и моим внуком, течение жизни не должно прерываться». Д. Гранин ставит под сомнение саму возможность создания произведения-исповеди в чистом виде, объясняя свою точку зрения отсутствием в русской литературе исповедальной традиции: «Наверное, есть культура исповеди, понятия о собственных нормах морали. Система запретов. Опыт оценок, самоанализа непрост (поздно спохватился)». Эту мысль

писатель поясняет в одном из своих интервью: «Я вот недавно перечел «Исповедь» Руссо. Он совершил первый такой подвиг в истории литературы — попытался рассказать о себе все, плохое и хорошее. Рассказать о себе хорошее — это у нас умеют. Рассказать же о себе откровенно плохое — это очень трудно. Особенно нам, людям, у которых нет культуры исповеди». Более того, в книге «Все было не совсем так» Д. Гранин демонстрирует невозможность автора воссоздать уникальность собственной личности, представить свое земное существование в виде хронологического жизнеописания. Этому противится сама человеческая природа, несовершенная в силу ограниченности памяти: «Как человек появляется на свет Божий, как он растет в первые свои годы, как становится человеком — ему самому неведомо. Начало жизни в памяти у него не остается». Человек лишен возможности самостоятельно рассказать о своем раннем детстве. О биографических фактах этого времени он может «узнать по рассказам родителей, нянек, какие-то сценки, словечки…». Поэтому воспоминания человека о начальных годах своей жизни необходимо воспринимать с изрядной долей осторожности.

Суммируя систему взглядов Д. Гранина по вопросам поэтики документально/мемуарно-(авто)биографической прозы, можно сделать вывод, что в конечном счете писатель констатирует существенное отличие русского и европейского исповедального опыта: «Все дело в степени откровенности. Распахнуть душу, да так, чтобы не преувеличить, ничего не замолчать, передать свой ужас, свою глупость, свой стыд, ничего не утаивая…». «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо как эталон исповеди в европейской литературе, являясь исключительно интимным произведением, характеризуется подчеркнутым вниманием автора к индивидуальным, личностным началам своей жизни. Исповедальные опыты представителей русской литературы отличает присущая им социальность, соединение самоанализа с самотипизацией. Специфику восточнославянской исповедальной традиции, по нашему мнению, уместно охарактеризовать с помощью понятия «национальное покаяние», предложенного К. Льюисом: «Главная прелесть национального покаяния в том, что оно дает возможность не каяться в собственных грехах, что тяжко и накладно, а ругать других». Исповедальная составляющая книги Д. Гранина «Все было не совсем так», в целом представляющей собой сложное синтезированное жанровое образование, не поддающееся однозначному определению, в полной мере соответствует специфике восточнославянской исповедальной традиции, яркими примерами которой являются произведения Н. Гоголя, С. Граховского, Л. Гениюш и др. авторов. Такие выводы становятся правомерными исходя из содержания книги Д. Гранина, а также из следующего авторского признания: «Я хотел бы поверить в Бога, но боюсь… …я боюсь, потому что не хочу страдать. За неправедные поступки, за суету, эгоизм, за грехи… Неприятно будет оглядываться на свое прошлое, испортишь остаток жизни. Исправить нельзя, отмолить времени не хватит. Перечисление — это еще не покаяние. Да и покаяние — не искупление».

На страницах книги «Все было не совсем так» Д. Гранин обращается к важнейшим событиям российской истории (роль и значение Петра I, Великая Отечественная война, «Ленинградское дело», развал СССР, путч 1991 года и т. д.), стремится отыскать причины и проанализировать последствия случившегося. Как Н. Гоголь в середине XIX века обличал «страхи и ужасы» России, так Д. Гранин в начале XXI-го кается в грехах своей страны. Значительно меньше внимания автор уделяет осмыслению собственного жизненного опыта. Показательным в этом отношении является мысль Д. Гранина, взятая автором в качестве эпиграфа к книге: «Мне достался мир постоянно воюющий, суровый, где мало улыбок, много хмурого, мало солнца. Обилие талантов и запретов. Я попал в него не в лучшую пору. В этом мире мне тем не менее повезло. Мне достались времена трагические, весьма исторические, главное же, от них осталось сокровенное чувство счастья — уцелел!» При этом в произведении Д. Гранин обращается не только к прошлому России, но и к ее настоящему. Современное состояние дел в

стране вызывает у писателя такие же горестные мысли, как и ее прошлое. Автор акцентирует внимание на болевых точках российской действительности: снижение уровня гуманитарного образования, ЕГЭ, утрата нравственных ориентиров в обществе и т. д. Безрадостные размышления Д. Гранина об исторических путях развития России предопределили заглавие книги — «Все *было* не *совсем* так», в котором автор с помощью выделенных курсивом слов объединил два временных плана — прошлое и настоящее.

Логика подобного рода построения книги неминуемо приводила к появлению в ней исповедальных страниц. События, ставшие объектом размышлений Д. Гранина, в большинстве случаев оказываются тесно сопряженными с авторской судьбой, становясь поводом для откровенного, углубленного анализа. Так, например, воспоминание о путешествии по Енисею позволяет Д. Гранину не только покаяться в национальном грехе (экологическое состояние реки в силу бездумного отношения людей вызывает нескрываемую тревогу писателя), но и совершить еще одно горестное признание, немалую степень личной вины за которое тяжело переживает уже и сам автор: «По радио сообщили — 21 июня 1969 года — люди высадились на Луне, и все у нас на пароходе хранят молчание. Потому что не наши, американцы. <…> Вспоминаю с удовольствием. И стыдом. Себя стыжусь». Стремясь не нарушить принцип подлинности, Д. Гранин в книге «Все было не совсем так» рассказывает о своем детстве в третьем лице. Для этого в первой части произведения он дистанцируется от изображаемого «я», что достигается путем введения в художественную ткань повествования главного героя, обозначенного как Д.: «Как бы то ни было, Д. появился на свет в собственном сознании поздно»; «Он был первенец, и наверняка его можно считать желанным ребенком». С взрослением героя способ самообъективизации автора в книге претерпевает изменения. Доминирующей становится форма повествования от первого лица. Однако произведение Д. Гранина так и не приобрело вид последовательного авторского жизнеописания. Уже в конце первой части автор снимает с себя эту задачу: «Если бы я писал подряд свою жизнь, многое бы вспомнилось, зацеплялось и можно было вытащить из прошлого связную последовательность. Пробовал, не получилось». Вследствие этого книга Д. Гранина приобретает фрагментарный характер, лишаясь, как и сама человеческая память, цельности, завершенности.

Жизнь Д. Гранина, как свидетельствуют факты биографии и страницы книги, представляет собой путь, в котором потерь было значительно больше, чем обретений. Ко многим из них автор не желает возвращаться. Ключевым историческим событием поколения людей Д. Гранина стала Великая Отечественная война, к размышлениям о которой автор неоднократно обращается в своей книге. Однако, как и для большинства писателей-фронтовиков, индивидуальный фронтовой опыт для Д. Гранина — это табу, запретная тема, не предполагающая подробных публичных откровений: «Всякое со мною бывало на войне, но об этих часах и минутах я старался никогда не вспоминать». Лишь о незначительной части своего военного прошлого рассказал в книге признаний «Долгая дорогая домой» и В. Быков, который, как свидетельствуют воспоминания А. Петкевича, «не любил рассказавать, да и особенно и не рассказывал о войне». Аналогичные мысли в собственном исповедальном произведении «Жизнь, подаренная дважды» запишет еще один непосредственный участник Великой Отечественной войны Г. Бакланов: «…те, кто был на войне, всего про войну не расскажут. И не надо. Я тоже не мало из того, что видел и знаю, унесу с собой». Отдельные авторские признания, встречающиеся в книге Д. Гранина, становятся не исключениями из общего для писателей-фронтовиков правила, а скорее его дополнительным подтверждением: «Я все больше чувствовал потерянные четыре года войны»; «Сколько раз на войне я трусил, не хотел подниматься после обстрела, заляжешь в окопе, и никакие команды не помогают, лежишь, засыпанный землей, вроде

как контужен, оглушен». Они как незаживающая рана в душе писателя, которая начинает кровоточить от малейшего прикосновения к ней.

«Все было не совсем так» — книга подведения жизненных итогов Д. Гранина. Мотив прощания с жизнью пронизывает книгу писателя, еще более повышая ее исповедальный накал. 93-летний автор физически ощущает приближение смерти: «Долго ходить не могу, слышу хуже, путешествия кончились, запреты обступают со всех сторон…». Смерть уже забрала самого дорогого и близкого для Д. Гранина человека — жену Римму, породив в его душе чувство беспредельного одиночества: «Смерть жены после многолетнего брака — это потрясение. Сметаются все устои, все привычки. Прежде всего обнаруживается пустота». Предчувствие близкой смерти освобождает автора от всевозможных компромиссов с совестью, позволяя без опасений за свою репутацию откровенно высказать, проговорить вслух сокровенное: «Судьба подарила мне долголетие. Как я использовал это? В конце жизни, подводя итоги — недоволен». Центральная идея жизни Д. Гранина — идея справедливого коммунистического общества, та идея, которой он свято верил на протяжении всей своей жизни, ко времени подведения итогов лопнула, словно мыльный пузырь, оставив после себя горькое послевкусие, ощущение пустоты, разочарованности, несбывшихся надежд: «Большая часть моей жизни прошла в СССР. Мне там привили «идею жизни» — коммунистическое общество. Идея была красивая. Затем начались сомнения, разочарования. Идея все время осыпалась, рушилась, трескалась. Годами я избавлялся от нее». Уже не сомневаясь в ложности своих жизненных идеалов, Д. Гранин тем не менее остается честным перед самим собой: «Чем дальше уходит в забвение эта страна — тем она становится для меня интереснее и даже, признаюсь, — милее».

Аналогичные чувства значительно раньше были пережиты Ольгой Берггольц, о чем красноречиво свидетельствуют ее дневниковые записи. В 1949 году она запишет у себя в дневнике: «…жизненной миссии своей выполнить мне не удастся — не удастся написать того, что хочу: и за эту-то несчастную тетрадочку дрожу — даже здесь». В этой короткой фразе — катастрофа человека, в тридцать девять лет окончательно разочаровавшегося в жизни. На долгие годы причина душевной драмы О. Берггольц, как и сам факт ее присутствия, были надежно скрыты от посторонних глаз в архивах спецслужб. Пролить свет на трагические страницы жизни «ленинградской Мадонны» в настоящее время позволяет запретный дневник поэтессы, впервые вышедший в свет отдельным изданием в 2010 году.

О безусловном доверии к данному источнику биографии О. Берггольц можно говорить определенно, без сомнений, поскольку ее дневник — это совершенный образец жанра, обжигающий своей откровенностью и глубиной авторского самораскрытия. Именно эти особенности жанра дневника становятся тем необходимым условием, позволяющим на его основе возникнуть особой жанровой модификации документально/мемуарно-(авто)биографической прозы — исповеди.

В истории литературной исповеди встречаются разные целеустановки обращения авторов к данной жанровой модификации. Однако в большинстве случаев классическая исповедь в литературе — это произведение, отличающееся установкой на полную авторскую откровенность. Как справедливо отмечает А. Горячева, «жанр исповеди на сегодняшний день — это единственный возможный, последний, не обесценивший еще сам себя, прозаический жанр». Уточним лишь, что данная мысль, верная по своей сути, едва ли применима к постмодернистской литературе, представители которой в целях эпатажа публики меньше всего заботятся о сохранении жанровой «чистоты» исповеди.

Если обратиться к основным вехам творческого пути О. Берггольц, то перед нами предстает достаточно типичный портрет преуспевающей советской поэтессы: в четырнадцать лет в стенгазете «Красный ткач» опубликовано первое стихотворение «Ленин», за которым последовали новые с такими же красноречивыми названиями («Песня о знамени» и др.); участие в деятельности литературной

группы «Смена», входящей в состав Ленинградской ассоциации пролетарских писателей; знакомство с М. Горьким, который высоко оценил талант начинающего автора; принятие в 1934 году в Союз Советских писателей. К 1936 году О. Берггольц — известная поэтесса, автор множества книг: «Зима-лето-попугай» (1930 г.), «Глубинка. Казахстанские рассказы-очерки» (1932 г.), «Стихотворения» (1934 г.), «Книга песен. Стихотворения» (1936 г.). В это время О. Берггольц избавлена от внутренних противоречий. Своим творчеством она приветствует коммунистический миропорядок.

Спокойное течение жизни прерывается в трагическом для советской истории 1937 году. За «связь с врагом народа» Б. Корниловым (первый муж поэтессы) О. Берггольц исключена из кандидатов в члены ВКП (б) и Союза писателей, а в ночь с 13 на 14 декабря 1938 года по сфабрикованному делу арестована как участница контрреволюционной деятельности. «Я провела в тюрьме 171 день», — запишет в дневнике О. Берггольц на двенадцатый день после освобождения. Именно с этого дня — 15 июля 1939 года — она начнет вести свой тайный дневник, отличающийся открытой исповедальностью. Пребывание в тюрьме лишит О. Берггольц внутреннего покоя, внесет в ее жизнь раскол. Дневник станет отдушиной, где поэтесса сможет оставаться самой собой — не лгать и не лицемерить. Параллельно, с постоянными цензурными затруднениями, будет продолжаться официальное творчество, отвечающее господствующей идеологии.

В 1939 году О. Берггольц приступает к работе над книгой «Дневные звезды» — «открытым дневником», где «смешается прошлое, настоящее и будущее». По замыслу автора, она должна была стать ее самой заветной, «Главной книгой». На страницах «Дневных звезд» поэтесса неоднократно рассуждает о так называемой «Главной книге», предлагая ее теоретическое обоснование. В жанровом отношении контуры книги весьма размыты, но содержательный аспект определен четко: «Писатель может не знать заранее, в какой форме она воплотится — в поэме ли, в стихах ли, в романе, в воспоминаниях ли, но твердо знает, чем она будет по главной сути своей: знает, что стержнем ее будет он сам, его жизнь, и в первую очередь жизнь его души, путь его совести, становление его сознания — и все это неотделимо от жизни народа». Личное, индивидуальное в ней должно быть неотделимо от жизни всеобщей, что, по мнению О. Берггольц, снимает «нелепое противопоставление исповеди и проповеди», так как «коммунистическая пропаганда-проповедь в таких книгах — это прежде всего действенная передача личного душевного и жизненного опыта, приобретенного в общенародной борьбе за создание нового, справедливого общества…». Идеальным текстом-ориентиром для «Главной книги» в предшествующей литературе для О. Берггольц представляется «Былое и думы» А. Герцена: «…в представлении моем она ближе всего подходит… к «Былому и думам», гениальному роману о человеческом духе…». В запретном дневнике писательница развивает эту мысль: «Боже мой, для того чтобы писать то, что я задумала, то, что мы все пережили, надо обладать герценовской широтой, глубиной и свободой мысли…»

В «Дневных звездах» О. Берггольц стремится предстать в облике идеального советского писателя, который в первую очередь заботится о воспитании коммунистического мировоззрения читателя. Поэтому так часто на ее страницах можно встретить безупречные для социалистического субъекта мысли: «Мы верны зову Партии: помнить, знать и писать о нашей жизни, о нашем советском человеке, о его душе — всю правду и только правду»; «…И это дает мне до сих пор силы… жить всем существом — это вера в то, что я не нарушила своей давней, отроческой клятвы, сознание, что я принадлежу к Партии, сплавленной с именем Ленина…».

Абсолютно иной взгляд на природу «Главной книги» отражен в запретном дневнике — потрясающем человеческом дневнике, где поэтесса имела возможность говорить от своего имени, говорить на пределе искренности. В нем О. Берггольц руководствуется уже не коммунистической идеологией, а катего-

рическим императивом совести, позволяющим объективно осмыслить трагедию художника слова в советском обществе: «Ну, а вывод-то какой мне сделать — в романе, чему учить людей-то? <…> А как же писать о субъекте сознания, выключив самое главное — последние два-три года, т. е. тюрьму? Вот и выходит, что «без тюрьмы» нельзя и с «тюрьмой» нельзя… уже по причинам «запечатанности». А последние годы — самое сильное, самое трагичное, что прожило наше поколение, я же не только по себе это знаю»; «Я задыхаюсь в том всеобволакивающем, душном тумане лицемерия и лжи, который царит в нашей жизни, и это-то и называют социализмом!!»

Задача изображения человеком самого себя, являясь сложнейшей проблемой не только литературы, но и всего искусства в целом, в исповеди приобретает особенную актуальность. Причиной этого является присущее человеку самолюбие, нежелание выставлять себя в неприглядном виде на суд публики. Вероятно, для многих писателей эта проблема становилась камнем преткновения при реализации замысла по написанию собственной литературной исповеди. Содержание запретного дневника, где отражены многие личные тайны О. Берггольц, давать оценку которым мы не имеем никакого морального права, свидетельствует о том, что эта трудность была преодолена автором. Однако в советскую эпоху перед писателем-исповедником неминуемо вставала иная преграда, в меньшей степени зависящая от особенностей его человеческой природы. Тоталитарный режим, ежеминутно грозящий человеку серьезной опасностью, порождал в душе автора своеобразную внутреннюю цензуру, заставляя его постоянно оглядываться, держать в уме возможного читателя, в первую очередь недоброжелательного. Все вышесказанное сковывало исповедника, оказывало существенное влияние на степень его искренности. На преодоление этого идеологического препятствия внутренне настраивает себя О. Берггольц, по-доброму завидуя писателям XIX века: «Читаю Герцена с томящей завистью к людям его типа и XIX веку. О, как они были свободны. Как широки и чисты! А я даже здесь, в дневнике (стыдно признаться), не записываю моих размышлений только потому, что мысль: «Это будет читать следователь», — преследует меня. Тайна записанного сердца нарушена. <…> И что бы я ни писала теперь, так и кажется мне — вот это и это будет подчеркнуто тем же красным карандашом, со специальной целью — обвинить, очернить и законопатить, — и я спешу приписать что-нибудь объяснительное — «для следователя» — или руки опускаю, и молчишь, не предашь бумаге самое наболевшее, самое неясное для себя…»

Два дневника — «Дневные звезды» и запретный дневник. Один — для печати, другой — для себя, без малейшей надежды на публикацию. Между ними пропасть в плане искренности, внутренней правды человека с самим собой, что еще раз доказывает: дневник дневнику рознь, а механическое зачисление дневника в разряд исповедальной прозы — неправомерно. Уж не поэтому ли в финале «Дневных звезд» — произведения, изначально задумывающегося как та самая «Главная книга», — в подтексте звучат нотки сожаления, творческой неудачи, надежды досказать невысказанное: «И если вы увидите хоть часть себя, хоть часть своего пути, — значит, вы увидели дневные звезды, значит, они зажглись во мне, они будут все разгораться в Главной книге, которая всегда впереди…»

Завершив в 1959 году работу над первой частью «Дневных звезд», О. Берггольц сразу же готовит материалы ко второй, мечтая создать подлинную «Главную книгу», где не будет запретных тем: «…Но если я не расскажу о жизни и переживаниях моего поколения в 37—38 гг. — значит, я не расскажу главного и все предыдущее — описание детства, зов революции, Ленин, вступление в комсомол и партию, и все последующее — война, блокада, сегодняшняя моя жизнь — будет почти обесценено».

Запретный дневник фиксирует состояние души О. Берггольц в переломный момент ее жизни. Нахождение в тюрьме становится для нее той точкой невозвра-

та, после которой ложность прежних убеждений, бесцельно растраченные годы начинают осознаваться особенно напряженно и болезненно: «Все или почти все до тюрьмы казалось ясным: все было уложено в стройную систему, а теперь все перебуравлено, многое поменялось местами, многое переоценено». «Блокадная муза» переживает глубочайший духовный кризис. Она не может забыть того ужаса, не может вернуться к прежней жизни. На протяжении многих месяцев О. Берггольц вновь и вновь возвращается к этим событиям практически в каждой из своих записей: «Я еще не вернулась оттуда, очевидно, еще не поняла всего…»; «Все еще почти каждую ночь снятся тюрьма, арест, допросы»; «Да, я еще не вернулась оттуда. <…> Все отзывается тюрьмой — стихи, события, разговоры с людьми. Она стоит между мной и жизнью…». Дневниковые записи демонстрируют растерянность автора. У человека словно выбили почву из-под ног. Дневник принимает вид сверхчувствительного барометра души поэтессы, где сухая констатация фактов внутренней жизни сменяется вспышками вполне обоснованного гнева: «…Да, но зачем все-таки подвергали меня все той же муке?! <…> И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности? Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: «Живи»».

О. Берггольц балансирует в пограничном состоянии на грани жизни и смерти: «Сегодня, в первый раз за довольно долгое время, у меня не тюкает в голове. <…> Уже не помню, но чуть ли не с десятого числа началась у меня отчаянная невралгия, такая, что я света не взвидела. Глотала всякую дрянь, и сейчас еще ем на ночь люминал и от дикой головной боли, от лекарств совершенно отупела». В минуты полного отчаяния появляются мысли о самоубийстве: «Надо было бы самой покончить с собой — это самое честное. Я уже столько налгала, столько наошибалась, что этого ничем не искупить и не исправить».

В начальных записях дневника поэтесса еще сохраняет верность своим прежним жизненным идеалам, отказывается верить в их ложность: «…Я буду до гроба верна мечте нашей — великому делу Ленина, как бы трудна она ни была! Уже нет обратного пути». Как и многие обманутые советские люди, она искренне полагает, что великая идея коммунизма исковеркана исполнителями, о чем даже не подозревает их идол — великий Сталин. В надежде восстановить историческую справедливость у О. Берггольц возникает наивная мысль о написании письма к Вождю: «И вдруг мне захотелось написать Сталину об этом: о том, как относятся к нему в советской тюрьме. О, каким сиянием было там окружено его имя! Он был такой надеждой там для людей…» Спустя двадцать лет А. Карпюк, исповедуясь в собственном избавлении от иллюзий коммунистической идеологии («Прощание с иллюзиями»), признается в такой же романтической мечте: «Товарищ Сталин — очень занятой человек. Он, конечно, газет не читает. Он даже в глаза их не видит, потому что так, бедный, занят делами, поэтому и не знает, что подхалимы вытворяют. <…> Меня и самого разбирало желание — вот бы добраться как-нибудь до Москвы, прошмыгнуть в Кремль и подсказать Сталину!»

Мучительно, болезненно проходит процесс освобождения сознания от идеологической лжи. О. Берггольц непросто отречься от того, чем она жила и во что свято верила. Во второй половине XIX века Л. Толстой измучился поиском ответа на «детский», по его мнению, вопрос: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» Подобный «наивный» вопрос начинает терзать О. Берггольц: «Оглядываюсь на прошедшие годы и ужасаюсь. Где все? <…> Где все и зачем все? И что же вместо того, что было когда-то? Какой наполненной жизнью жила я в 31 году. Сами заблуждения мои были от страстного, безусловного доверия к жизни и людям…»

К концу марта 1941 года иллюзии окончательно развеялись. О. Берггольц приходит к неутешительному для себя выводу: «Я круглый лишенец. У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти, больше, даже

к идее ее…» Ее охватывают чувства беспросветного одиночества, обманутости и пессимизма. Поэтесса уже осознала глубину трагедии, случившейся с ее поколением, и поэтому выносит жестокий приговор официальной идеологии: «Я вышла из тюрьмы со смутной, зыбкой, но страстной надеждой, что «все объяснят», что то чудовищное преступление перед народом, которое было совершено в 35—38 гг., будет хоть как-то объяснено… <…> …я жила эти полтора года в какой-то надежде на исправление этого преступления, на поворот к народу — но нет… Все темнее и страшней, и теперь я убеждаюсь, что больше ждать нечего».

Идеалы, в которые верила О. Берггольц, не были для нее разменной монетой, поэтому их утрата воспринимается как «вторая смерть» («первая» случилась со смертью дочери Ирины). Оказавшись в тюрьме, Ольга Федоровна переживает смерть «общей идеи»: «Я не живу; я живу вспышками, путем непрестанных коротких замыканий, но это не жизнь. Я живу по инерции, хватаюсь, цепляюсь за что-то: и за работу, и за пижаму, но это непрестанное бегство от самой себя». В сложившихся условиях дневник становится для нее единственной возможностью для сохранения человеческого достоинства, поддержкой в минуты отчаяния: «Все лучшее, что я делаю, не допускается до людей, — хотя бы книжка стихов, хотя бы Первороссийск [поэма О. Берггольц. — *А. Б.*]. Мне скажут — так было всегда. Но в том-то и дело, что я выросла в убеждении (о, как оно было наивно), что «у нас не как всегда»…». Физическая и духовная смерть преодолевается О. Берггольц через творчество. В состоянии полной обреченности она продолжает творить, осмысливать царящий в стране хаос. Наряду с дневником, «тюремными» и «посттюремными» стихотворениями, изначально создающимися «в стол», руководствуясь инстинктом самосохранения, поэтесса продолжает свое официальное творчество, объективно осознавая его ценность: «Надо закончить эту муру — «Ваня и поганка»…»

День ото дня пути О. Берггольц и официальной идеологии расходятся: «…довольно заказов, «Ванек и поганок», песенок к дурацким фильмам. За дело жизни, за роман, удачей ли неудачей он кончится». В десятках дневниковых записей она отстаивает право писателя на свободу слова, формулируя свое авторское кредо: «Нет, не должен человек бояться никакой своей мысли. Только тут абсолютная свобода»; «…буду писать так, как будто бы решительно все и обо всем можно писать, с открытой душой, сорвав «печати», безжалостно и прямо…» и т. д.

Мировоззренческий кризис О. Берггольц усиливается в годы Великой Отечественной войны. Находясь в блокадном Ленинграде, ежедневно наблюдая за неисчислимыми бедствиями, она еще раз убеждается в несостоятельности руководства страны. Потрясения усиливают события личной жизни: умирает муж Н. Молчанов; как «социально опасный элемент» по решению властей из Ленинграда в Красноярский край выслан отец поэтессы Федор Христофорович: «Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия — это без всякой иронии». О. Берггольц страдает из-за все разрастающейся пропасти в отношениях между людьми и правительством. Гитлер и Сталин в сознании поэтессы сливаются в единую зловещую силу для русского народа: «Я не знаю, чего во мне больше — ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью, — к нашему правительству». Дневник военных лет наполнен записями осознанного неприятия официальной идеологии: «Кругом смерть. Свищет и грохает… А на этом фоне — жалкие хлопоты власти и партии, за которые мучительно стыдно».

Едва оправившись от тюремного потрясения, О. Берггольц вновь оказывается в состоянии растерянности. Обостряется болезнь, наступает «полное душевное отупение». В течение трех месяцев не ведется даже дневник. Запись от 8—9 сентября 1941 года свидетельствует о возвращении поэтессы к заказной, пропагандистской деятельности: «Мне надо к завтрему написать хорошую передовичку. <…> Я обязательно должна написать ее из самого сердца, из остатков веры». Измени-

лась стратегия поведения, но мысли остались прежними: «…я пишу «духоподъемные» стихи и статьи — и ведь от души, от души, вот что удивительно! Но кому это поможет? На фоне того, что есть, это же ложь». О. Берггольц продолжает скрытую от посторонних глаз ежедневную работу над своим дневником, материалы которого впоследствии должны были составить основу подлинной «Главной книги». Военные события в записях этого времени неразрывной нитью связаны с тюремными размышлениями. Уже в мирное время «блокадная муза» назовет тюрьму (и шире — ситуацию внутренней несвободы личности в советском обществе) одним из важнейших факторов победы в войне: «Тюрьма — исток победы над фашизмом, потому что мы знали: тюрьма — это фашизм, и мы боремся с ним, и знали, что завтра — война, и были готовы к ней».

В послевоенное время власти поспешили свести счеты с О. Берггольц. На X пленуме СП СССР 1945 года поэт А. Прокофьев в своем докладе резко осудил творчество поэтессы за доминирующую в нем тему страдания. В 1946 году на собрании писателей Ленинграда поэтесса становится объектом травли за восхваление творчества А. Ахматовой, согласно августовскому постановлению ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», «чуждых народу». В стране начинается новая волна арестов, набирает обороты «Ленинградское дело». Над О. Берггольц, которая к этому времени успела опубликовать свои блокадные стихотворения, «Ленинградскую поэму», поэму «Твой путь», нависает реальная угроза нового ареста.

Последние дневниковые записи О. Берггольц, ставшие результатом поездки в село Старое Рахино Новгородской области, датируются 1949 годом. Как и весь дневник в целом, они не сводятся только к личным переживаниям. Это предельно правдивый портрет эпохи, переданный ее непосредственным свидетелем.

В старорахинских записях автор размышляет над судьбой народа-победителя в послевоенное время. Увиденное в колхозе лишь подтверждает предыдущие выводы поэтессы: «…полное нежелание государства считаться с человеком, полное подчинение, раскатывание его собой…»; «Колхоз все более отчуждается от крестьян». Картина настолько привычная, что уже не вызывает у О. Берггольц возмущения. Отсюда почти протокольный стиль письма, где сухие факты говорят сами за себя: «Весенний сев… превращается в отбывание тягчайшей, почти каторжной повинности; государство нажимает на сроки и площадь, а пахать нечем: нет лошадей (14 штук на колхоз в 240 дворов) и два, в общем, трактора… И вот бабы вручную, мотыгами и заступами, поднимают землю под пшеницу, не говоря об огородах. Запчастей к тракторам нет. Рабочих мужских рук — почти нет. В этом селе — 400 убитых мужчин, до войны было 450. Нет ни одного не осиротевшего двора — где сын, где муж и отец. Живут чуть не впроголодь». Но главное — и особенно трагичное для автора — это ощущение полной бесперспективности, угнетенности, отсутствия у человека желания жить, когда практически нормой становится самоубийство как единственный выход из замкнутого круга: «Третьего дня покончил самоубийством тракторист П. Сухов. Лет 30 с небольшим. Не пил. <…> Написал предсмертную записку: “Больше не могу жить, потерял сам себя”».

Положение крестьянина в колхозе идентично положению писателя в рамках тоталитарной культуры. Эту родственную связь О. Берггольц ощущает особенно остро, отказывая себе в праве творить «на заказ»: «Баба, умирающая в сохе, — ужасно, а со мною — не то же ли самое! И могу ли я… быть при этой бабе — «пустоплясом»…».

«Записки о Старом Рахино» — это и исповедь обреченного человека, уставшего от бессмысленной борьбы с системой. О. Берггольц подводит итоги своей жизни, которые могли бы быть предварительными, но, как показало время, оказались окончательными: «…я одна, и только одна знаю, что все со мной кончено». Читая эти последние признания, осознаешь, как мучительно превозмогала себя

поэтесса, чтобы начать жить как все, принять и смириться с идеологией государства: «Тут много отрадного. <…> Есть и позиция: осознать себя в тюрьме и так спокойно жить. <…> Осознать и пропагандировать, что это — единственный принцип жизни и общежития». Пребывание в состоянии постоянной внутренней несвободы, страха за свою жизнь убивает поэтический талант О. Берггольц: «Никогда такого не было: ощущение, что все слова не те. Вроде как вкус не тот… <…> Дыхания в стихе нет, вот что, воздуху нет. Дыхания души, дыхания внутренней гармонии…» Как отмечает А. Рубашкин, «кризис, который переживает Берггольц в конце сороковых, вполне сравним с предвоенным, и может быть, даже сильнее».

Событие, случившееся в конце октября 1949 года, навсегда обрывает запретную исповедь. К даче, где отдыхали О. Берггольц и ее муж Г. Макогоненко, подъехали черные машины. Угроза вновь оказаться в тюрьме из гипотетической возможности приобрела реальные очертания. «Макогоненко сделал единственно возможное в той ситуации: схватил «крамольную тетрадь» и прибил ее к внутренней стороне садовой скамейки». Тоталитарный режим, принеся неисчислимые бедствия человеку, наносит колотую рану в сердце самого запретного дневника, в результате чего последний приобретает статус выразительного символа, характеризующего отношение советских властей к инакомыслию.

Запретный дневник О. Берггольц подчеркнуто исповедален. Он органично вписывается в восточнославянскую исповедальную традицию, в рамках которой автор не замыкается на собственной личности. Авторское «я» трансформируется в ней в коллективное «мы», а исповедь выступает личным свидетельством о судьбе целого поколения: «Забвение истории своей родины, страданий своей родины, своих лучших болей и радостей, — связанных с ней испытаний души — тягчайший грех. Недаром в древности говорили: — Если забуду тебя, Иерусалиме… Забвение каралось немотой и параличем — бездействием…». Вместе с тем дневник О. Берггольц занимает особое место в пространстве исповедальной прозы, давая наглядное представление о путях развития данной жанровой модификации в русской литературе середины XX века. В отличие от других образцов исповеди, повествующих о сталинском ГУЛАГе (Л. Гениюш, С. Граховский и др.), он был создан непосредственно в годы террора, система цензурных запретов которого автоматически грозила автору самыми серьезными неприятностями, а сам художественный текст зачисляла в разряд социально опасного инакомыслия.

Еще одним знаковым текстом в пространстве исповедально-дневниковой прозы писателей фронтового поколения являются записи Н. Лобана.

Николай Павлович Лобан (1911—1984) относится к числу тех писателей, к которым загадочная и непредсказуемая госпожа Литература не проявила особого внимания и заботы. Творчество яркого прозаика к началу XXI века почти забыто: оно не изучается ни в школе, ни в университете, а его имя даже не упоминается на страницах академической четырехтомной «Истории белорусской литературы XX в.». В иерархии национальной литературы Н. Лобану отведена роль автора так называемого «второго» (если даже не «третьего»?) ряда.

В творческом наследии Н. Лобана, вершинным достижением которого принято считать романную трилогию «Шеметы», особое место занимает автобиографическая проза, и в первую очередь, его дневниковые записи. Более двадцати лет (1941—1965) писатель стремился фиксировать ход повседневной жизни, оставив потомкам в назидание историю своих душевных исканий. Отличительной особенностью записей Н. Лобана, придающих им уникальность, становится тот временной период, который стал предметом авторского осмысления.

Дневник Н. Лобана 1941—1945 гг. — одно из немногих сохранившихся и опубликованных «живых» свидетельств очевидца и участника Великой Отечественной войны. Как известно, в то время существовало негласное постановление главкома, категорически запрещающее ведение дневников воинскому

составу Красной Армии. Специфические условия ведения дневниковых записей Н. Лобана во многом обусловили особенности их поэтики.

Дневник, который ведется в годы крупных исторических событий, a priori не может замыкаться на сугубо личных переживаниях отдельного человека. В таких экстремальных условиях «понимание нерасторжимой связи своей собственной судьбы с общим ходом исторического процесса» целиком овладевает сознанием автора, обуславливая содержание каждой сделанной записи. Однако в отличие от официальных исторических свидетельств военных лет, рассчитанных на массового читателя и содержащих в конечном итоге сухую статистику, личный дневник отражает человеческое измерение этого события. Он наполняет его жизнью, раздвигая границы времени, предоставляя возможность каждой клеточкой своего тела ощутить все то, что испытал и перенес человек на войне и во время войны.

Первая запись дневника Н. Лобана датирована 22 июня 1941 года — днем вероломного нападения Германии на территорию СССР. На примере этой короткой записи одного дня из жизни автора проследим, как на наших глазах оживает история более чем семидесятилетней давности. Индивидуальная история автора дает полное представление о том, как война врывается в спокойное течение жизни каждого человека. Известие о начале войны застает Н. Лобана в «холодный июньский день», который он планирует посвятить подготовке к экзамену по истории СССР, загорая в загородном парке. Еще ни о чем не догадываясь, в переполненном трамвае он следит за привычной суетой минчан в выходной день. Внимание автора привлекают «красноармейцы с винтовками наперевес в полной боевой готовности», а проверка документов тогда еще вызывает у него удивление. Чувство тревоги нарастает у Н. Лобана по пути в университет, когда он наблюдает картину паники, которая охватывает мирных жителей: «На улице Карла Маркса стояла милиция. Загудела сирена, объявляя тревогу. Все бежали на улице, минуя милиционеров, которые загоняли в подъезды». Встреча с соседом по интернату Вальштейном окончательно проясняет сложившуюся ситуацию: «Вы ничего не знаете? Война!» Реакция автора на услышанную новость показывает то потрясение, которое испытал каждый житель Минска в июне 1941 года: «Я чувствовал себя, как упав с луны».

В целом же оценочные авторские характеристики редко встречаются на страницах военных дневников Н. Лобана. Как правило, каждая запись — это мгновенная фиксация того, что происходило с ним в конкретный день. Телеграфный стиль ведения записей в полной мере передает ощущение растерянности человека в условиях войны. У автора нет возможности осмыслить случившееся, история в буквальном смысле творится на его глазах. Эта особенность дневника Н. Лобана, с одной стороны, в определенной мере обедняет его содержание, а с другой — наделяет чертами подлинного, классического образца данного литературного жанра.

Значимость и ценность избранной автором организации повествования особенно ярко обнаруживается при сравнении дневника Н. Лобана с его воспоминаниями «Поэма моего детства». Созданные в 1980-е годы, они в значительной мере утратили ощущение авторской искренности и правдивости. В процессе многократного переписывания отдельных эпизодов автор, живущий в новое историческое время, был лишен той свободы самовыражения, которая присуща дневниковым записям. Как отмечает А. Ващенко, «в отдельных случаях менялся не только текст, но и смысл конкретного события. Что-то «причесывалось» — такие были времена. Так, из окончательного варианта исчезли эпизоды с высылкой «кулаков», не нашлось места для воспоминаний о слуцком *збройном чыне*, довольно коротко говорится о коллективизации и голоде двадцать первого и тридцатого годов».

Сухая констатация фактов ужасов первых дней войны в дневнике Н. Лобана не является помехой для их сильного эмоционального воздействия на читателя. Отсут-

ствие авторских комментариев на увиденные трупы безвинных жертв кровопролития не понижает градус трагедии и абсурдности происходящего: «По дороге попадались воронки от взрывов бомб. У одной из них, как раз напротив завода «Большевик», лежал убитый мужчина. На переезде железной дороги стоял патруль».

На пятый день войны Н. Лобан, как и тысячи его сверстников по всей стране, решает пойти добровольцем на фронт. Ежедневные записи автора дают полное представление о том, как жители Беларуси восприняли начало войны, как нарушился их привычный ход жизни, какие глобальные изменения в экстремальной ситуации в одночасье произошли в сознании советского человека. Наблюдения над тем, что происходит вокруг, встречи и беседы с местными жителями по пути в Чаусы, где, по слухам, осуществлялась мобилизация, подталкивают Н. Лобана к неутешительному выводу — война затянется на долгие годы, а военное руководство оказалось к ней совершенно неподготовленным. Автор все еще отказывается верить в то, что происходило на его глазах. Особенно тяжелые мысли одолевают его от беседы с отступающими красноармейцами, рисующими неприглядные картины военных сражений: «Командиров нет, первые сбежали. Отрывают петлицы и убегают кто куда. А ты, рядовой, как себе хочешь, хоть с голоду пропади»; «Вчера полковник на моих глазах расстрелял 10 лейтенантов. Но это ничему не поможет. Красноармейцы также расстреливают своих командиров. <...> Очень просто, выстрелит который в спину, да и только».

Запись от 9 июля 1941 года впервые в дневнике представляет собой развернутый внутренний монолог автора, отражающий его взгляд на неутешительные итоги первых дней войны и пути выхода из сложившейся ситуации: «Что может спасти нашу родину, дело Ленина? Этим одним является быстрый демократический переворот, умная, дальнозоркая декларация, коренной пересмотр крестьянского вопроса. Нужно вызвать у народа чувство патриотизма, подлинного, а не бумажного, веру в перспективу. Бросить призыв добровольчества. Тогда перед лицом захватчика встанут миллионы мужественных, храбрых до конца сынов нашей родины, появятся легендарные герои-полководцы, возникнет грандиозная партизанская война. Так, это может быть партизанская война больше, чем война армий, война всего народа против техники. Вполне реальной может быть надежда и на помощь Запада, на поддержание революционного движения в самой Германии. Это может вылиться во всемирную освободительную войну».

Запись добровольцем на пункте формирования, бесконечная изнуряющая муштра, неквалифицированная подготовка руководящего состава — все это лишь убеждало Н. Лобана в горькой правде сделанных ранее выводов: «Прошел месяц войны, а никакого поворота в лучшую сторону. Где противник, где мы — мы ничего не знаем. Знаем одно, что на фронте очень трудно»; «Вечные отборы и списки — нет порядка и организованности. Надоело валяться где попало без толку».

Моральные страдания Н. Лобана в скором времени дополняются и усиливаются физическими от голода, отсутствия сна и антисанитарии — неизменных спутников войны: «Весь день прошел в заботах о еде»; «Чувствую слабость и утомление»; «Уже настойчиво поговаривают о быстром отправлении на фронт, а еще ходим не обмундированные, не имеем оружия. И кажется, самое главное, что мы до того обовшивели, что больше уже нельзя терпеть». Однако переносимые тяготы и лишения не в силах повлиять на благородную мечту Н. Лобана: «А я, может, сделаю большую пользу родине». «Я же действительно обучен: винтовку знаю, умею неплохо стрелять, правда, из мелкокалиберки, бросал гранату, правда, болванку вместо гранаты, умею ходить в строю, окапываться, делать перебежки, колоть штыком чучело», — в этих словах автора заключена горькая правда войны. Чудом сохранившиеся записи заставляют восхищаться патриотизмом людей того времени и одновременно задуматься, какой ценой была добыта победа над фашизмом. Подобно толстовскому Пете Ростову, добровольцы 1941-го года, лишь в теории представляя себе все ужасы войны, мечтают совершить

подвиг, воспринимая происходящее с ними как праздник: «Весь день ждали отправки. <...> В вагоне-теплушке 40 человек, тесно, но весело: ребята поют песни, будто не на фронт едут. Я тоже пою. Гремит «Катюша» по всему составу. Ощущение такое, будто мы едем на далекую гулянку. Женщины подносят подарки, машут руками, провожают». Читая дневниковые записи Н. Лобана с позиций сегодняшнего дня, невольно вспоминаешь слова В. Быкова, поведавшего суровую правду о тех днях и событиях: «Из тыла, из многочисленных пунктов формирования и обучения непрерывным потоком шло к фронту пополнение — массы похудевших, обессиленных от тыловой муштры людей, которые немножко были обученные владеть винтовкой, но не всегда понимали по-русски. Все они пополняли поредевшие в непрекращающихся боях части, чтобы завтра же под шквалистым немецким огнем подняться в атаку и тут же и упасть наземь». Сам того не ведая, В. Быков рассказал не только о жуткой судьбе многих солдат советской армии, но и о трагедии сержанта Н. Лобана. В одной из первых своих атак в конце сентября 1941 года около станции Мга он был ранен гранатой: «Вскочил, и... что-то невидимое рубануло меня по лицу, и голова зазвенела мелодично миллионами колокольчиков». Интересно, что в описании ощущений от ранения авторы исповедально-дневниковой прозы едва ли не дословно повторяют друг друга. Так, например, А. Адамович в книге «Vixi» писал: «А когда оглушила в засаде у деревни Устерхи, как колоколом (нет, колом), по башке автоматная пулька, сособлившая кожу и клочок волос на макушке головы (зато зимнюю шапку в клочья!), и я удивился: «Кто это меня палкой по голове?» — оказалось, что почти так же подумал и Андрей Болконский на Аустерлицком поле, когда его ранило».

Война оставляет свой след не только в памяти писателя, но и в его теле — вечными молчаливыми напоминаниями о жутком прошлом станут два гранатных осколка. Дорога жизни в Москву к профессору Бурденко — единственному, кто может сделать операцию находящемуся на грани жизни и смерти Н. Лобану, — оборачивается для него новой бедой. Авиационная бомба, попавшая в санитарный поезд, на долгие месяцы приковывает его к кровати: «Просветили мои ноги — суставы раздавлены, пяточные кости разбиты на 7 и 11 частей». На протяжении семи месяцев Н. Лобан лечится в госпиталях Кирова и Иркутска, продолжая делать ежедневные записи в своем блокноте.

Содержание «госпитального» дневника претерпевает существенные изменения. На его страницах увеличивается процент личной, интимной информации (история любви к лечащему врачу Ольге Федоровне Латышевой). Тем не менее размышления над военными событиями по-прежнему не теряют своей актуальности. Писатель осмысливает свое нынешнее положение, осознавая всю его противоречивость. Запись от 16 октября 1941 года передает ту внутреннюю борьбу, которая происходит в душе солдата: «Как хорошо, что я не слышу этого смертоносного запаха пороха! Может, через несколько месяцев меня выпишут негодным для фронта? Как тогда я смогу продолжать борьбу за родину?» Каждая запись дневника этого периода строится по строго определенному плану: вслед за описанием событий прожитого дня в обязательном порядке фиксируются последние сводки с фронта. Несмотря на огромные человеческие потери, ошибки военноначальников, Н. Лобан свято убежден в неминуемом разгроме германской армии: «Я никогда, даже в самые тяжелые минуты, не терял уверенности в нашей конечной победе. Тяжелой она будет, но придет. По-другому не может быть». Подвергая суровой критике отдельных «спасителей Отечества», писатель не видит недостатков системы в целом, восхищаясь умелыми решениями Сталина: «Нужна исключительная, титаническая, феноменальная сила воли, железная выдержка и гениальный дух, чтобы так быстро отступить, сохранить армии и в такой короткий срок нанести сокрушительный удар по всей этой грандиозной боевой машине. <...> Сталин в этой неравной борьбе доказал, что он достойный преемник великого Ленина».

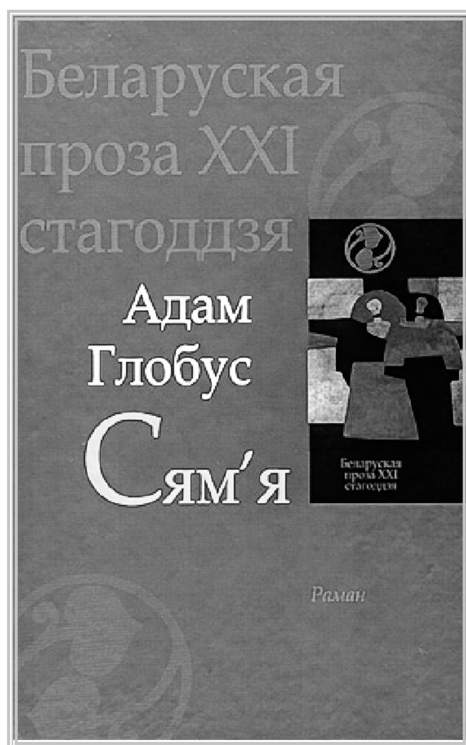
После демобилизации по инвалидности в апреле 1942 года Н. Лобан решает целиком посвятить себя литературе. Он мечтает повторить подвиг Л. Толстого, создав такую же великую эпопею, но уже о Великой Отечественной войне: «Монументальное произведение об Отечественной войне должно появиться в белорусской литературе в первую очередь, и это произведение должно быть исключительным по силе художественного отображения, по эмоциональности. С сегодняшнего дня я приступаю к работе над этим произведением». Совсем не случайно, что в это время произведения Л. Толстого привлекают самое пристальное внимание автора: «Взял в библиотеке дневники Л. Толстого. <...> Читаю дневники Льва Николаевича, поражаюсь мощности записей». Однако жизнь со всеми ее повседневными заботами (работа учителем русского языка и литературы в школе поселка Келеровка Северо-Казахской области, окончание учебы в университете, написание и защита диссертации, работа в журнале «Беларусь», в Академии наук) не позволяет автору сконцентрироваться на поставленной цели. Из-за постоянной загруженности делами, отвлекающими от главного, у Н. Лобана нарастает недовольство собой. Под влиянием дневников Л. Толстого записи его приобретают новые задачи — способствовать самовоспитанию и самосовершенствованию автора. Дневник становится планом действий и расписанием на каждый следующий день: «Буду записывать на отдельном кусочке все, что делаю за день, чтобы вечером прочитать и подвести итог. Корю себя за слабость характера». С помощью дневника автор мечтал упорядочить свою жизнь. На первых страницах дневника за 1952—1965 гг. Н. Лобан составляет для себя подробный план каждодневной работы и режим дня, в которых практически не остается времени на отдых. Однако существенных подвижек к лучшему в своей жизни и творчестве писатель не наблюдает. В результате в дневнике Н. Лобан все чаще и чаще обрушивается на себя с гневной критикой: «Самые лучшие годы — и они проходят впустую, во всяком случае, не в полную загрузку»; «Прошел год. Подводить нечего»; «Результаты 1952 года меня удовлетворить не могут» и т. д. Неудовлетворенность собой, отсутствие ожидаемых результатов сказываются и на практике ведения дневника. Если записи 1941—1947 гг. велись регулярно, то в последующие годы Н. Лобан обращается к ним лишь от случая к случаю.

После XX съезда КПСС существенные изменения происходят и в мировоззрении писателя. С горечью Н. Лобан вынужден был признаться самому себе, что все, во что он так свято верил и во имя чего служил, оказалось обманом: «Если начнешь думать про все, что делается вокруг, то приходишь к выводу, что никто не знает, что такое коммунизм и как к нему идти. И те, кто ведет, сами не верят в возможность его построения». Последняя запись в дневнике Н. Лобана от 8 декабря 1965 года воспринимается не иначе как покаяние человека, осознавшего свои идеологические ошибки, как его суровый приговор всему коммунистическому строю: «До чего же мы запутались! <...> Это что? Полный разброд? Наши догматики считают, что Маркс непогрешимый на тысячелетия вперед. Современное положение — во многом плод нашего догматического мышления».

До конца своей жизни Н. Лобан сумеет реализовать давний и заветный замысел — создаст трилогию романов «На пороге будущего» (1961—1963), «Городок Устронь» (1967—1968), «Шеметы» (1981). Как и у классика русской литературы Л. Толстого, изначально задумывавшего «Войну и мир» как произведение о событиях 1812 года, план трилогии в процессе работы над ней претерпит у Н. Лобана существенную трансформацию, превратившись в конечном итоге в летопись истории Беларуси начала—середины XX века (революция, гражданская война, Великая Отечественная война). Незаслуженно забытый труд всей жизни писателя, как и его уникальные дневниковые записи, в настоящее время находятся в ожидании вдумчивых читателей и будущих исследований литературоведов и критиков.

С точки зрения рецензента

Ценность семьи незыблема



Адам Глобус, современный белорусский писатель и издатель, не нуждающийся в особом представлении, поскольку достаточно хорошо известен как в Беларуси, так и за ее пределами, написал новый роман «Семья» (Глобус, А. Сям'я: раман: / Адам Глобус. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2017. — 159 с.) — своеобразный опыт лирической прозы, цикл отрефлексированных раздумий автора о самых дорогих и близких для него людях, которых объединяет такое важное и значимое для всех слово «семья». Эти раздумья были зафиксированы в различные отрезки времени и вполне конгениальны констатациям В. Розанова, представленным в «Уединенном»: «Шумит ветер в полночь и несет листы… Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, получувства… которые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту значительность, что «сошли» прямо с души, без переработки, без цели, без преднамеренья, — без всего постороннего…»

В первую очередь автор книги говорит об отце, знаменитом белорусском писателе, переводчике, кинодраматурге Вячеславе Владимировиче Адамчике, авторе известного романа «Чужая бацькаўшчына», и говорит о нем без пафосности и лести, прекрасно осознавая при этом всю значительность его личности и творчества. Для А. Глобуса важно отразить образ родного человека в границах обыденности, зафиксировать моменты их общения, дискуссий и долгих разговоров на актуальные темы, которые щедро подбрасывали жизнь и искусство: «Тата любіць сядзець на канапе насупраць кніжных стэлажоў і разважаць пра літаратуру. Я магу гадзінамі стаяць побач і слухаць, слухаць… Завязваецца спрэчка. Няма такога, каб не распачалася палеміка. З-за Камю, ці з-за Дастаеўскага, ці з-за Вавенарга... Спрачацца каля паліц з кнігамі — сямейная традыцыя. Мы даводзім адзін аднаму сваю праўду з томікамі ў руках… Мы розныя, але страшэнна любім сядзець на канапе насупраць кніжных паліц і весці дыялог пра літаратуру».

Размышляя об отце, А. Глобус невольно сравнивает себя с ним, фиксируя существенные отличия и в характерах, и в эстетических представлениях, и в творчестве, для сына важно и вполне естественно понимание собственной сущности через осмысление такой родной, но все же иной личности: «У таты няма і не было сяброў у маім разуменні гэтага паняцця. Можа, у юнацтве ён і меў сябра, але я пра тое нічога не ведаю. Дый калі ўважліва прачытаць татавы творы, наўрад ці знойдзецца яскравы матыў сяброўства. Тата шмат з кім падтрымліваў добрыя стасункі, але каб ён на роўных з кімсьці сябраваў — такога не было. Ён больш за мяне еўрапеец, бо заўсёды трымаў людзей на адлегласці».

В отличие от отца, который оставался несколько дистанцированным от детей в силу творческой занятости и специфики характера, мама А. Глобуса с самого его раннего возраста всегда находилась рядом, заботливо и бережно храня очаг семьи, принеся в жертву собственные карьерные устремления: «Дзеля татавай творчасці, дзеля мяне з братам мама адмовілася ад кар’еры… Мама заўсёды выбірала сям’ю… Мама заўсёды жыла болей дзеля нас, чым дзеля сябе… Тата быў суцэльна сур’ёзны… Мама, наадварот, любіла і любіць жыццё такім, як ёсць тут і цяпер. Яе аптымізм ураўнаважваў татавы песімізм і нігілізм… На мамінай, а не на татавай сур’ёзнасці трымалася і трымаецца наша вялікая сям’я. Наша сур’ёзнасць у творчасці — толькі цень вялікай любові да мамы».

Много проникновенных слов сказано в книге о матери, удивительны и пронзительны признания автора о своих детских ощущениях, связанных с неожиданными страхами и тревогами, охватывающими мальчика в его маленьком жизненном мире, устранить которые под силу только маме, метафизически неразрывно связанной со своим ребенком: «Адзін з самых даўніх успамінаў пра маму звязаны з яе рукою. Я, двухгадовы, ахоплены страхамі і не магу заснуць. Прашу: «Мама, дай мне руку». Маці сядае на ложак і кладзе далонь на падушку. Я абдымаю цёплую руку, супакойваюся і засынаю». А сколько неподдельной искренности отражено в детском желании всегда быть рядом с матерью, вечном тревожном и бесконечно длительном по ощущениям ожидании мамы, подчеркивающем неразрывную экзистенциальную связь родственных душ: «Самым цяжкім у дзяцінстве было чаканне мамы. У дзіцячым садку чакаў, калі ж яна прыйдзе і забярэ. У летніку — калі яна прыедзе, каб пагуляць са мною… Я высоўваўся у фортку, каб далей бачыць вуліцу, па якой вярталася мама… Самая шчырая радасць, якую толькі давялося адчуць за жыццё, гэта хваля цяпла, што накрывала мяне з галавою пры сустрэчы з маёю мамай Нінаю».

Рано или поздно в жизни каждого наступает неотвратимое время постепенного исчезновения семьи, когда сначала уходит один, потом другой родной человек, и тяжесть утраты невозможно устранить или ослабить, и исчезновение это навсегда с тобой, и никто, кроме писателя, не сможет наиболее адекватно это состояние душевного потрясения отразить: «Я так доўга збіраўся напісаць лірычны твор пра тое, што знікае. Адкладваў, адкладваў. Лічыў сябе не падрыхтаваным да тэмы… А тут — татава паміранне… Нават у кроплях дажджу, што скочваюцца з лістоў ліпы за акном, я бачу свае слёзы, свой плач па тату… Першыя гадзіны пасля татавай смерці прамінулі для мяне ў істэрычным паўсне». Смерть всегда неожиданна, даже если она очевидна и неотвратима, смерть родного человека всегда неожиданна вдвойне, даже невзирая на неизлечимую тяжелую болезнь, на очевидную обреченность болеющего; и принять ее приход крайне трудно: «Можно испытать заботу и страх перед болезнью близкого человека и опасностью смерти, но когда наступает минута смерти, заботы уже нет и нет обыденного страха, а есть мистический ужас перед тайной смерти,

есть тоска по миру, в котором смерти нет» (Н. Бердяев).

Автор книги достаточно сложно воспринимал удары судьбы, тяжелую болезнь любимой матери, а осознание собственной беспомощности и невозможности что-либо изменить в этой ситуации не только усугубило мучительное внутреннее состояние, но и не оставило надежд на будущее избавление: «Калі гляджу на маці, у мяне адчуванне, што мы з ёю ў пекле. Яна пакутуе, я таксама ўвесь змучаны. Калі зыходжу з бальніцы, дык увесь час чакаю званка з весткай пра яе смерць. Даводзіцца хавацца ў творчасць, у маляванне… Усё гэтае пекла маці пакідае мне, яна сыходзіць, а пекла застаецца, і я яго малюю ў тры фарбы — белая, чорная і вогненна-чырвоная». В романе широко представлено субъективное восприятие боли, обращаю внимание — именно мужского восприятия, это очень важно, поскольку очень часто недооценивается этот вполне понятный, но тщательно скрываемый представителями сильного пола факт. Мужчины ищут различные способы преодоления душевной боли и тоски, например, такой, который озвучивает А. Глобус в одном из своих интервью: «Есть такие сферы жизни, в которых ни на одном языке не выскажешься. Ни по-китайски, ни по-русски, ни по-белорусски. Например, когда кричишь от боли. Это состояние можно назвать «безназоўнае», «бязмоўнае». Когда очень больно — любой язык заканчивается, остается только крик». Или откровенно признается в романе: «Каб не плакаць, не рыдаць і не крычаць, я выходжу на сярэдзіну майстэрні. Моцна заплюшчваю вочы і раскрываю рот. Не крычу. Стаю ціха. Крык бязгучна сыходзіць з мяне. Робіцца крыху лягчэй, нібыта выкрычаўся і выплакаўся. Можна зноў ісці ў бальніцу да маці, якая слабне і аддаляецца ад мяне ў незварот».

Откровенное авторское признание о том, что он всегда стеснялся собственных слез, поскольку объяснял это проявлением банальной слабости, заслуживает уважения, но является отражением весьма распространенного стереотипа, достаточно прочно укоренившегося в мужском сознании. Нет ничего трогательнее и пронзительнее мужского лица со слезами в глазах, в которых безмолвно «кричит» боль, как бы парадоксально это ни прозвучало; никогда не стоит скрывать своих слез, это не слабость и не женские штучки, это свидетельство того очевидного факта, что мужчина наделен чутким и отзывчивым сердцем, тонко чувствующей душой, способной к сопереживанию: «Заўсёды саромеўся сваіх слёз. Такі менталітэт: мужчына мусіць хаваць пачуцці, стрымліваць слёзы, быць злым і жорсткім. Такія героі ў нашых казках і аповесцях. Такіх мужчын нашы жанчыны хочуць бачыць у жыцці. Збольшага мы такія і ёсць. Я вельмі перажываю з-за таго, што прылюдна заплакаў на татавым пахаванні. Праявіў слабасць замест таго, каб з каменным тварам рабіць выгляд новага галавы сям'і… Плач — мацнейшы за слова».

Как ни странно, но детские страхи остаться без матери, прочно зафиксированные в авторском сознании, плавно перешли во взрослое состояние, являясь верным подтверждением интуитивного понимания экзистенциального (но не метафизического) сиротства, на которое неизбежно обречен человек, оставаясь один в этом мире с уходом той родной души, которая подарила жизнь. К сожалению, никто не способен заменить для человека родную мать, ее всепобеждающую любовь, ее всепрощение и понимание, и осознание этих очевидных вещей просто и ясно отражено в тексте романа: «Баюся застацца без маці; падобны страх узнікаў у самым далёкім дзяцінстве, калі я баяўся заблукаць у лесе, на які павольна і несупынна апускаецца ноч». «Сыходзіць, прападае вялікая любоў, з якой мама да мяне ставіцца. Ніхто мяне так не любіў і не стане любіць, як любіць яна. Ад страты матчынай любові асабліва балюча, нібыта гэты боль вылучаны ў нейкую своеасаблівую пакуту.

Зрэшты, так яно і ёсць». «Маці няма, і няма каму паскардзіцца на боль… Маці выслухоўвала скаргі, і мне рабілася лягчэй. Яна нібыта забірала сабе частку маіх хвароб і боляў, нібыта іх несла паперадзе мяне і ведала паратункі ад шмат якіх нягод. Цяпер я не магу падзяліць свой боль, нават маленечкую яго частку няма каму перадаць, а яшчэ я адчуў, як да майго болю паціху пачаў дадавацца і боль маіх дзяцей».

А. Глобус достаточно проницательно отмечает отсутствие родственной связи со своей женой, которая на протяжении долгого времени является для автора самым близким и дорогим человеком, к тому же, высоко оцениваемым профессионалом своего дела. Супруг, объективно воспринимающий свою жену во всех аспектах, способный радоваться ее достижениям, выстраивающий межличностное общение внутри семьи, не ущемляя интересов супруги, понимает неустранимую главную черту, разделяющую их и вместе с тем определяющую возможность нахождения в браке, — отсутствие кровной связи: «Пішучы і думаючы пра жонку, я не чуў голасу крыві. Яна някрэўная. У нас з ёю розная кроў. Яна самы блізкі мне чалавек, але з удакладненнем — сярод някрэўных». Именно поэтому для автора так дорога мать, которая всегда у человека одна и другой никогда не будет, в отличие, например, от жены или мужа, которых может быть и несколько, но, конечно, это нежелательно. Поэтому никогда не следует бестактно вторгаться в автономный мир взаимоотношений матери и ее детей, у них своя тайна, навсегда связующая их в жизни. Не случайно О. Бальзак так выразил понимание этой неразрывной связи: «Ясновидение матери не дается никому. Между матерью и ребенком протянуты какие-то тайные невидимые нити, благодаря которым каждое потрясение в его душе болью отдается в ее сердце, и каждая удача ощущается как радостное событие собственной жизни». Именно поэтому с такой горечью А. Глобус констатирует невозвратимое, навсегда утраченное: «Маці — першы чалавек, хто раніцай віншаваў мяне з днём нараджэння. Гэтага страчанага назаўсёды віншавання мне будзе моцна не ставаць, заўсёды».

Автора романа связывают очень доверительные и близкие отношения с братом, о котором с теплотой и любовью повествуется в произведении; брат для писателя и друг, и соратник, и жесткий руководитель, человек, которому можно поведать абсолютно все: «Тата памёр, мама састарэла, і я аберагаю яе ад перажыванняў, давяраю толькі брату. У мяне ад брата сакрэтаў няма… Я ганаруся тым, што ёсць чалавек, якому можна верыць. Звычайна, каб схаваць сваю няверу ў людзей, гавораць пра веру ў Бога, у Цуд, у Лёс. А як можна верыць у Найвышэйшае, калі сваім родным не давяраеш?.. у сям'і галоўнае — разуменне і дараванне недаравальных учынкаў. Таму так лёгка, адносна лёгка, гаварыць пра нашыя недахопы і памылкі, ведаючы, што можна не толькі сказаць, а паверыць, што цябе пачуе хоць бы адзін чалавек. А яшчэ з братам магу пагаварыць пра мару. Не саромеючыся, сказаць пра самае патаемнае, якім бы прымітыўным і плыткім яно ні выглядала звонку…»

В фокусе художественного сознания автора также находятся собственные дети и внуки, нежное и трепетное отношение к которым ощущается в каждой строке, посвященной им: «Адзін з самых радасных дзён у маім жыцці — дзень, калі нарадзілася Ядзя… «У мяне нарадзілася дачка. У мяне ёсць дачка…» — я паўтараў і паўтараў гэта рознымі словамі і ў розных інтанацыях, уголас і сам сабе, як запавет, як заклінанне, як малітву… Калі мне цяжка, млосна, маркотна, невыносна жыць, я ў думках вяртаюся ў той дзень, у той стан, да сініх дрэваў, да чырвона-жоўтага неба, да глыбокага чыстага снегу. Кажу: «У мяне ёсць дачка». Супакойваюся і радуюся гэтаму свету». «Узяў Вову на рукі. Іду з ім праз вераснёвы парк. Яму толькі тры месяцы. Яму яшчэ цяжка трымаць галаву. І я прыціскаю яго лоб да свёй шчакі. Водар…

У дзяцей пяшчотны водар». Как тут не вспомнить мудрые слова Янки Брыля о том, что именно отношение к детям является «безошибочной мерой духовного достоинства человека».

Важно отметить, что автору романа удалось очень верно выразить суть собственного существования в системе семейных межличностных взаимоотношений и ту меру личной ответственности, которая является необходимой составляющей самосознания каждого здравомыслящего человека: «Думка таты значыла для мяне больш, чым развагі ўсіх начальнікаў разам узятых. Развагі мамы былі, дый застаюцца больш каштоўнымі за дыдактыку настаўнікаў. А кожнае значнае рашэнне я прымаю, параіўшыся з братам і ацаніўшы яго вачыма дачкі. Гэта погляд не зусім цяперашняй Ядзі, а Ядзі праз дзесяць гадоў. Ну не хачу я, каб ёй было сорамна за татавы ўчынкі ні праз дзесяць, ні праз дваццаць, ні праз пяцьдзясят…»

Следует также добавить, что роман представляет собой своеобразную исповедь автора, выступающего одновременно в качестве и субъекта, и объекта повествования, предназначенную не для кого-то одного, а для всех и каждого, в которой отражены раздумья о родителях и близких людях, о неизбежности жизненных утрат, о душевных переживаниях и прозрениях; это максимальная открытость, обращенная в вечность. Произведение А. Глобуса является не только важным и интересным автобиографическим источником для филологов и историков литературы, но оно также способствует осознанию важнейших семейных ценностей, затрагивающих духовно-нравственные и эмоционально-психологические аспекты межличностных отношений, сохраняющих свою остроту и актуальность на современном этапе развития социума.

Инесса МОРОЗОВА

С точки зрения рецензента

Уникальность поэтической серии «Светлые знаки»*

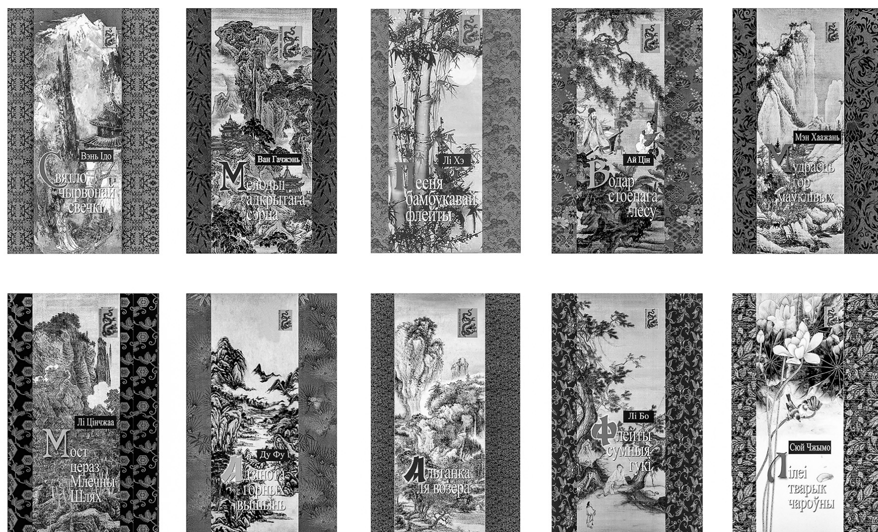
По мере развития отношений между Китаем и Беларусью в различных сферах жизни гуманитарные, литературные связи между нашими странами также стали еще более оживленными и крепкими. Ярким проявлением интереса белорусов к литературе Китая, и в частности к поэзии, является появление поэтический серии «Светлыя знакі: паэты Кітая». Работа над серией началась в 2014 году по инициативе Министерства информации Республики Беларусь. За четыре года свет увидели десять книг, каждая из которых обладает уникальностью в плане выбора переводческого материала, особенностей перевода, поэтического прочтения, а также сопровождения текста иллюстрациями, ярко визуализирующими поэтические образы. Серия совершенствуется с выходом каждой новой книги. Если в первых поэтических сборниках переводы выполнялись через язык-посредник — русский, то в последующих — стихотворения переводились непосредственно с китайского на белорусский, более того, были снабжены комментариями, разъясняющими различные феномены китайской культуры. А начиная с седьмой книги (Ван Гочжень «Мелодыі адкрытага сэрца»), представлены не только переводы стихотворений на белорусский язык, но также приводится параллельно и текст языка оригинала. В предисловиях к серии представлены краткие биографии поэтов и основные отличительные черты их творчества.

Открывает серию сборник стихотворений китайского поэта танского периода Ван Вэя. В первую очередь привлекает внимание название сборника — «Альтанка ля возера» («Беседка у озера»), отражающее романтическую тематику произведений. Сборник вышел в Издательском доме «Звязда» в 2014 году. Среди переводчиков — Рыгор Бородулин, Микола Метлицкий, Татьяна Сивец. Как было отмечено выше, первые переводы серии осуществлялись посредством русского языка. Книга снабжена предисловием Алеся Карлюкевича о жизненном и творческом пути автора, исторических условиях его эпохи. Выбранные для перевода произведения предоставляют читателю уникальную возможность определить автора строк как художника, работавшего в стиле «гор и воды» («Альтанка ля возера», «Жартам пішу пра горную скалу», «Жыццё ў гарах», «Пішу з натуры» и др.). Несмотря на то, что на белорусском языке сложно передать строгое древнекитайское стихосложение, как, например, пятисловное, семисловное стихосложение, особый характер рифмы, однако смысловое, лексическое наполнение произведений передано достаточно точно.

Через год вышла в свет следующая книга серии «Светлые знаки» — стихотворный сборник Ду Фу «Адзінота горных вышынь» в переводах Влади-

---

* Данная статья представляет собой промежуточный результат исследований проектов философских и общественных наук города Тяньцзиня. Тема проекта: Актуальность и перспектива обмена китайской и белорусской литературы в рамках инициативы «Один пояс, один путь», номер проекта: TJWW17-027.（本文系天津市哲学社会科学规划资助一般项目“‘一带一路’视阈下的中白文学交流现状与发展前景研究”的阶段性研究成果；项目编号：TJWW17-027。).



мира Дубовки, Рыгора Бородулина, Миколы Метлицкого, Наума Гальперовича. Ду Фу жил в тот же период, что и Ван Вэй (династия Тан), был поэтом-реалистом, ядро размышлений которого составляло конфуцианское гуманное управление. Реалистичные мотивы слышатся в таких стихотворениях, как «Запісаў свае думкі падчас вандравання ўночы», «Месячнай ноччу ўспамінаю сваіх братоў», «Чыноўнік у Саньані» и др. В переводах есть недостаток — многие понятия и названия языка оригинала переводятся на белорусский при помощи транслитерации без сопутствующих комментариев, что остается непонятным для читателя, который не знает китайского языка, но данный пробел успешно устраняется в следующих сборниках серии.

В том же году (2015) вышел сборник поэзии известнейшего мастера слова династии Тан — поэта Ли Бая (Ли Бо) — «Флейты сумныя гукі». Удачная подборка наиболее ярких стихотворений поэта дает нам понять, каковы были его ценности, привычки, стремления. Поэт любил красоту жизни, придерживался свободных взглядов («Пад поўняю самотна п'ю», «З пустэльнікам п'ю ў горах», «Баўлю ноч з сябрам»). Многие стихотворения посвящены горам, где поэт жил отшельником в последние годы. Через строки своих произведений Ли Бо тонко выражает настроение, чаще светлую грусть, чем радость и веселье, что, несомненно, было обусловлено условиями его жизни. В одном из произведений поэт признается: «А сэрца спявала: я волю люблю». Сборник знакомит белорусского читателя с корифеем китайской литературы, характерными темами, волнующими поэта: единение с природой, искренняя дружба, недовольство процессами, происходящими при дворе. Однако, как и в стихотворениях Ду Фу, в переводе на белорусский язык пропадает особенность поэтической формы «пятисловного четверостишия», что характерно для поэзии танских мастеров слова.

После знакомства с классической китайской поэзией серия «Светлыя знакі: паэты Кітая» переносит читателя в современность, где первым представителем литературы XX века стал Ай Цин (1910—1996). Поэт, являясь выходцем из деревни, на протяжении многих лет посвящал свои произведения трудолюбивым односельчанам («Сяляне», «Хлопчык косіць траву»). В его произведениях превалируют образы солнца, рассвета, искр и других огненных символов, которые выражают резкое неодобрение старого общества и его темных сторон («Слова сонца», «Вясна»). Современный стих имеет колоссальное отличие от стиха древнего периода, он не скован строгими рамками формы, в нем не соблюдается определенное количество иероглифов в строках, что было важной составляющей поэзии классического периода, а также имеет довольно свободную рифму. Переводчикам Миколе Метлиц-

кому, Науму Гальперовичу и Татьяне Сивец удалось передать данную особенность в переводах стихотворений на белорусский язык, несмотря на то, что переводы не являлись прямыми с языка оригинала.

Настоящим упехом был выход в 2016 году сборника переводов стихотворений поэта Ли Хэ «Песня бамбукавай флейты». Уникальность его заключается в том, что это первый сборник серии, в котором поэтические тексты переведены непосредственно с языка оригинала на белорусский язык без помощи языка-посредника. Большая часть переводов стихотворений Ли Хэ на белорусский была подготовлена перспективным белорусским китаеведом Еленой Романовской, она же является автором подстрочных переводов, художественным переводом которых занимались поэты Леонид Дранько-Майсюк, Татьяна Сивец, Юлия Алейченко. Впервые за всю историю существования серии в переводных текстах стихотворений появляются комментарии, которые объясняют читателям сложные моменты в текстах стихотворений, особенно это касается явления транслитерации. Тематически выбранные произведения можно условно отнести к четырем темам: историческая тема («Як горка, што мінаюць дні», «Сяньжэнь»), сентиментальная («Песня тугі, напісана пад гарою Хуашань»), волшебная («Балада Нябёсаў», «Іду ў палях ля Паўднёвых гор»), описание событий и очарование природы («Сталіца»). Содержание перевода произведений книги максимально приближено к оригинальным текстам.

Поэтический сборник Ли Цинчжао «Мост цераз Млечны Шлях» содержит архивные переводы Анели Тулуповой, Евгении Янищиц, Нины Загорской, Валентины Ковтун, Ольги Ипатовой и новые — Юлии Алейченко и Валерии Радунь. Ли Цинчжао была яркой представительницей жанра ритмической прозы, так называемых сунских «цы».

Знакомство же с современными поэтами Китая продолжается через творчество Ван Гочжэня. Переводы стихотворений, вошедшие в сборник «Мелодыі адкрытага сэрца», были выполнены непосредственно с китайского языка на белорусский либо при помощи подробных подстрочных переводов с комментариями. Переводчиками выступили Наум Гальперович, Татьяна Сивец, Юлия Алейченко, Дарья Нечипорук. В решении вопроса авторских прав на стихотворения Ван Гочженя Республиканский институт китаеведения имени Конфуция при Белорусском государственном университете, и в частности, его директор с китайской стороны госпожа Лю Сулин оказали огромную помощь, связавшись непосредственно с родственниками поэта и заручившись их поддержкой и согласием на издание сборника переводных стихотворений. Оригинальный колорит поэзии Ван Гочженя передают иллюстрации, выполненные художником Камилем Камалом. Особенно ценным является то, что начиная со сборника Ван Гочженя, параллельно с белорусским переводом публикуется и текст стихотворения-оригинала.

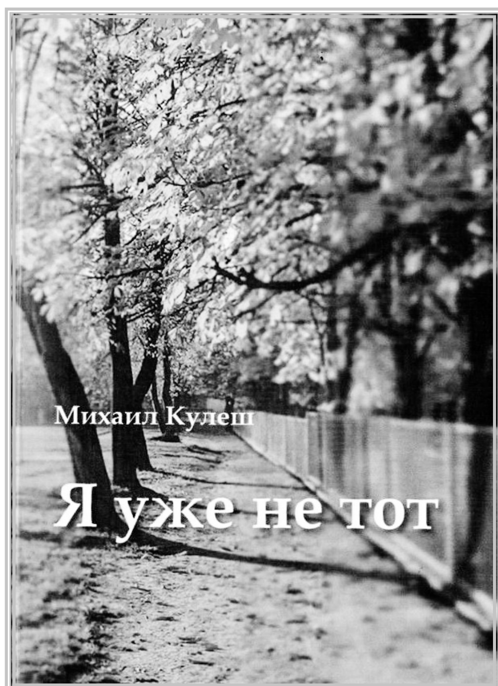
2017 год оказался щедрым на переводы из китайской поэзии. По принципу наличия текстов на белорусском и китайском языках изданы и последующие книги серии: Мэн Хаожань «Мудрасць гор маўклівых», Сюй Чжимо «Лілеі тварык чароўны», Вэнь Идо «Святло чырвонай свечкі». Белорусско-китайский формат переводов позволяет поэтическим сборникам быть не просто художественными изданиями, но и учебным материалом для студентов соответствующих специальностей, а также материалом для серьезных литературоведческих исследований. Традиция прямого перевода стихов с китайского языка на белорусский продолжается во всех последующих сборниках. Вскоре ожидается издание следующей книги серии — переводов стихотворений Су Ши, современника поэтессы Ли Цинчжао.

Проект «Светлыя знакі: паэты Кітая» расширяет круг переводимых произведений, круг авторов и переводчиков, формируя, таким образом, культуру перевода китайской художественной литературы на белорусский язык.

Дарья НЕЧИПОРУК,
Фу МЭЙЯНЬ

С точки зрения рецензента

Во власти совпадений



Поначалу я относился к книге Михаила Кулеша «Я уже не тот» *(Минск, «Белпринт», 2015)* как-то легкомысленно. Общительный, всегда улыбающийся, немного смешливый человек написал книгу. Книга как книга. Стихи и рассказы. Назвал ее «Я уже не тот». Сказать, чтобы это название как-то особенно воздействовало на читателя, интриговало, я тоже не берусь. Название как название, ничего особенного. Вдруг в предисловии к книге повстречались такие слова Михаила Ивановича: «Практически все свои стихи я пишу от первого лица. Поэтому прошу читателей не путать моего лирического героя с самим автором». И здесь стоит сделать первый предварительный вывод. Откуда у опытного литератора такая озабоченность возможной путаницей? Ведь он заостряет на этом внимание не для красного словца, а скорее всего, делает это осознанно, опираясь на собственный творческий опыт. Похоже, проблема восприятия литературы современником существует. А что по обыкновению делают с проблемами? Правильно, решают.

Творчество Михаила Ивановича Кулеша, разумеется, заслуживает того, чтобы о нем написать, и написать достойно. То бишь соответственно. Задача простой не кажется. Вот тут написано хорошо благодаря таким-то художественным приемам. А здесь я бы написал иначе, потому что существует такой-то и такой-то набор художественных средств, которому автор на свой страх и риск предпочел инструментарий иной. Примерно к такой формальной идее можно было бы свести мой отзыв об этой книге. Но после внимательного прочтения книги Михаила Кулеша «Я уже не тот» я хочу отказаться от избитых схем и написать вот о чем. Не вызывает сомнений тезис о чтении как о таком же творчестве или сотворчестве, как и создание автором художественного произведения. Мне представляется небезынтересным проанализировать возможное восприятие книги «Я уже не тот» современным читателем.

Итак, «Я уже не тот» — таково название книги. Зачастую, беря в руки то или иное издание, задаешься вопросом: почему же автор выбрал именно

такое названия для своей очередной работы? Ведь как корабль назовешь... В названии книги Михаила Кулеша, несомненно, усматривается некая особая авторская философия. Как послевкусие, как эхо, ощутим и мотив ностальгии. Конечно же, с лирическим героем произошли какие-то перемены. Совершенно очевидно, что он, этот главный герой, от имени которого с читателем говорит книга, эволюционирует, то есть движется во времени из одной точки в другую. Каким он был и что с ним стало — вот главные загадки, предложенные автором.

Неслучайно и первый раздел сборника называется «Бег времени». Читаю, вдыхаю эту искреннюю, добрую поэзию и, вспоминая предисловие, не могу отделаться от мысли: зря, очень зря Михаил Иванович затеял это разделение — на образы автора и лирического героя. Почему? Вот взгляните:

Я родился спустя лишь одиннадцать лет
После долгой, жестокой войны,
Хищным зверем оставившей дикий
свой след
На земле моей мирной страны.

И, мальчишке-юнцу, мне казалось тогда,
Что была она очень давно
И прошла, словно талая в Струге вода
Или в клубе колхозном кино.

Когда мы обратимся к сведениям об авторе, что размещаются на оборотной странице обложки, то после нехитрых вычислений сделаем вывод, что и сам автор книги также пришел в этот мир «спустя лишь одиннадцать лет» после Великой Отечественной войны. Биография лирического героя совпадает с автобиографией автора книги. Что же дает авторский призыв не путать эти две составляющие? Предположим, лирический герой наделен сакральной функцией глашатая, трибуна целого послевоенного поколения либо несет какое-то важное послание его представителям. Возможно. Однако прием обобщения, абстрагирования в данном случае не срабатывает из-за упомянутой в тексте детали — точного временного отрезка — одиннадцать лет после войны. Пункт биографии героя отличается конкретикой и подозрительно точно (детально) совпадает с пунктом биографии автора. Эта деталь помещает образы автора и лирического героя, которые читатель должен «не путать», в пространство, где властвуют совпадения. И задачу правильного восприятия стихов данная ее особенность, увы, не упрощает.

По мере продвижения по содержанию книги читатель еще больше подчиняется непреодолимой власти совпадений. Таким образом, предисловие автора и последующее содержание книги то и дело лукавят с читателем, вступают в противоречие, обнажая двусмысленность авторского замысла и придавая ему оттенок интриги. А если вспомнить, что Михаил Кулеш пишет свои стихи от первого лица, не забыть его просьбу к читателю — не путать лирического героя с самим автором, да еще прибавить к этому весьма красноречивое название книги — «Я уже не тот», — мы вдруг начинаем ощущать себя в центре некой затейливой субъектно-объектной игры, где портретные черты как автора, так и лирического героя с каждой страницей размываются, теряют свою выразительность, постепенно скрываясь в тумане лирической образности.

Квинтэссенцией если не всей книги, то уж точно ее первого раздела, является стихотворение «Non sum quales eram» (в переводе с латыни «Я уже не тот, что был раньше»), где есть такие строки:

Я в жизнь врезаюсь, как шахтер в забой,
Девиз мой прежний: «Доброта
и честность!»...
Я, в принципе, остался сам собой —
И лишь немного изменилась внешность.

С точки зрения моего исследования данное стихотворение весьма показательно, потому что на этот раз уже открыто ставит под сомнение соответствие действительности своего названия, впрочем, как и названия всей книги («Я уже не тот»). Обратите внимание на слова «Я, *в принципе,* остался сам собой». Итак, для более полного понимания авторского замысла, для расшиф-

ровки философско-метафизического кода этой игры в «я — не я» проницательному читателю осталось разобраться — что же это за *принцип* такой.

Следующий раздел книги Михаила Кулеша «Я уже не тот» называется «Окна». Точно такое название и у одной из книг поэта, о чем мы можем прочесть на заднике обложки. Как видите, совпадения продолжаются. Стихи наполнены трепетной любовью к родному городу и одному из его районов:

Живу в элитном доме на Востоке.
Есть супермаркет, банк и казино.
Здесь жизнь кипит в стремительном потоке,
Но Вулька мне милее все равно.

Итак, от первого лица с нами говорит лирический герой книги. В его уста автором вложено личное, даже интимное отношение к жизненным обстоятельствам — после переезда в элитный микрорайон человек спустя годы хранит любовь к другой точке на карте города, которая определенным образом навсегда покорила его сердце. Или вот еще цитата из следующего стихотворения:

А сегодня суббота —
Выходной, ну и что ж?
Я иду на работу,
Невзирая на дождь.

А работа такая —
Ни косить, ни пахать —
Я на рынок шагаю
Трикотаж продавать.

Лирика предполагает сосредоточенность на внутреннем мире человека, на его душевных устремлениях. Лирика в каноническом виде. А что если современная урбанистическая поэзия брестского автора, «лирика новой волны», не исключает и лирической интерпретации такого духовного устремления, как продавать трикотаж? Почему нет? Вспомним известную пословицу про богов и горшки. «Я уже не тот», — напоминает нам лирический герой Михаила Кулеша — не тот, что раньше, — кристально, идеально лирический, сентиментально-романтичный с точки зрения эстетики и поэтики прошлого.

Есть в книге М. Кулеша «Я уже не тот» стихотворения, достойные самых восторженных оценок. К несомненным удачам автора можно отнести стихотворения: «Абонент недоступен», «Афганский парк», «Жене Татьяне», «Ну вот и все — зеленый свет горит…», «Осень мне с годами все дороже…» и другие. Михаил Кулеш выступает в данном сборнике как виртуоз проникновенного лирического слова. Оно — о любви, о способности любить и об утрате этого чувства, о памяти и верности самому себе, своей человеческой сути. По большому счету в книге «Я уже не тот» вы не найдете стихов незрелых, неубедительных по своей глубине, несуразных, несовершенных.

Третий раздел книги М. Кулеша носит название «Белые ночи». Опять звучание книги, увы, не ново. А голос это автора либо лирического героя — тоже еще вопрос. Может быть, по воле мистических метаморфоз книга проявляет своенравие и, ни от кого не завися, говорит с нами сама?! Итак, наша соседка-Брестчина; книга, написанная ее сыном, плюс орнаментальный природный колорит Северной Пальмиры. Без романтического ореола не обошлось и на этот раз. Впрочем, как и без загадок.

В стихотворении «Новогоднее» внимание привлекла последняя строфа:

Пусть в жизни не вышло что-то,
Пусть сердцу взгрустнулось малость —
Стучите, друзья, без счета
В колокола бокалов!

Почему автор выбрал по отношению к объекту «колокола» глагол «стучите» вместо более удачного «звоните»? Давайте поразмыслим вместе. Авторское решение действительно выглядит несколько экстравагантным. Метафора «колокола бокалов» здесь ни при чем. Ведь и по отношению к объекту «бокал» действие «стук» выглядит стилистической ошибкой (неточность речи). Глагол «звоните» подходит больше. И все же автор решил по-другому. В указанном эпизоде с выбором слова мы вновь возвращаемся к названию книги. Возможно, наиболее

точным выбор слова оказался, если бы осуществил его некто другой, прежний, мыслящий тривиально, не склонный все усложнять. Самое время вспомнить о просьбе автора, изложенной в предисловии, — несмотря на обращение к читателю от первого лица, не путать его, автора, с лирическим героем. Тогда *кто же* неожиданно предпочел звону и его тысячелетней традиции всего-то какой-то необъяснимый и невнятный стук в колокола? А я вам отвечу. Тот, кто больше привык к стуку, чем к звону. В экзистенциальном смысле. И что весьма показательно, эти две парадигмы взаимосвязаны. Мы имеем дело с сосуществованием и взаимопроникновением ценностных систем. «Стук» в символике поэзии — это не только стук в дверь, но и стук молотка или топора, удаляющийся стук каблуков и т. п. «Звон» же, в свою очередь, символизирует нечто более патетическое. В качестве эксперимента последуем примеру нетривиального выбора в сочетании слов и произнесем: «звон каблуков». Или, к примеру: «хрустальный стук». Каково? Однако у загадки есть еще и *авторское* пояснение. В предпоследней (предшествующей) строфе стихотворения говорится:

А годы, как эшелоны,
Уходят с родных вокзалов,
На стыках *стучат* вагоны
Хрустальным *звоном* бокалов.

«Стук» и «звон» — понятия совершенно разные, не синонимы. И вдруг получается, что в данном стихотворении, в его образно-мотивной системе они означают практически одно и то же. В форме загадки автор умышленно синтезирует две качественные категории, чтобы подчеркнуть их символическое взаимопроникновение. На это обращаешь внимание только по прочтении всего небольшого текста. Праздник и обыденность, счастье и драма: в жизни все взаимосвязано, тесно и причудливо, порой вплоть до абсурда, — такова основная идея стихотворения. Таким же абсурдом выглядят все попытки определить, в каком месте с нами говорит лирический герой поэзии, а в каком месте его альтер-эго. Когда читаешь стихи Михаила Кулеша, постоянно хочется оглянуться назад, чтобы убедиться, что нами не утеряно что-то важное, что какая-то маленькая, но необходимая деталь не осталась без внимания.

Финальный раздел книги — подборку небольших рассказов — Михаил Иванович Кулеш назвал «Поделюсь своим горем». Должен признаться, при анализе этого раздела книги я почувствовал себя несколько неуютно. В набивших уже оскомину словах названия проявился мистический оттенок. Рассказы Михаила Кулеша по лиричности, по теплой душевной искренности и эмоциональной глубине мало чем уступают его поэзии. Основная идея цикла из трех рассказов представляется мне стремлением помочь людям взглянуть на себя со стороны, открыть свежие ракурсы известных законов бытия.

Что же касается стилистики текстов, здесь, к сожалению, не обошлось без огрехов. Думаю, специалисты-филологи не преминут сделать соответствующие заключения на основе следующих примеров: «показала ему все свои куклы и любимые игрушки»; «на самом интересном засобирался уходить»; «вспоминая это, на глазах появляются слезы»; «растворялся и таял в ночной тишине»; «по нескончаемым и убитым российским дорогам»; «знает ее, как своих пять пальцев»; «эта «халява» ему закончилась»; «приехал с рейса»... Мне бы очень хотелось, чтоб это были примеры стилизации под разговорную речь. Лишь в этом случае совпадение литературы с маргинальным говорком оправдано, как, например, у Д. Хармса. В противном случае наблюдаются особенности организации текста, идентичные тем, которыми грешат школьные сочинения.

У рассказов, как и у стихов, тот же автор. Но, как видно, не было толкового редактора. Так и нерасставленные запятые, кстати, — также вопрос качественной корректуры.

Дмитрий РАДИОНЧИК

Имена

Имена и встречи, которые не забываются

Духовный опыт прошлого не пропадает даром. А история личности может быть представлена как история времени в тесной связи с движением общества и народа.

В жизни есть моменты, которые волей-неволей держишь в памяти. Особенно это случается, когда что-то недоделал, не успел или просто пустил на самотек, а спохватившись, опоздал. Так меня до сих пор, а прошло уже достаточно времени, держит недовольство собой за то, что не успела сделать. Но все по порядку.

Окончив университет и проработав несколько лет преподавателем в институте, я решила поступать в аспирантуру. Выбирала тему для кандидатской диссертации. С подсказки одного знающего филолога выбрала творчество Сергея Михайловича Степняка-Кравчинского, родовые корни которого были связаны как с Украиной, так и с Беларусью. «Пошерстив» литературу о нем, остановилась, зачарованная, на книге Евгении Александровны Таратуты «С. М. Степняк-Кравчинский — революционер и писатель» (издана в 1973 году). Труд о Степняке — по крупицам собранный, фундаментальный по объему интереснейший материал в 20 печатных листов. Книгу исследовательнице пришлось «пробивать», в чем ей помогали ученые, влиятельные знакомые, понимающие значимость сделанного. (Невероятно, такую работу нужно было тогда еще и «пробивать»!) Это было захватывающее чтение, удивительно талантливо — просто и с любовью — рассказанная Е. А. Таратутой история жизни и деятельности этого человека и писателя.

Книга Е. А.Таратуты была моим первым знакомством с писательницей. Мне

Таратута Евгения Александровна

так захотелось с ней пообщаться! И я поехала в Москву. Не скажу, что просто ради встречи с ней. Предполагалась работа в архиве — ЦГАЛИ (Центральный государственный архив литературы и искусства) — с хранящимся в нем архивом С. М. Степняка-Кравчинского.

Сергей Михайлович Кравчинский (псевдоним Степняк) (1851—1895) жил в России, Италии, Англии. В маленьком славянской государстве Герцеговине сражался вместе с восставшим народом против турецкого ига, был арестован, заключен в тюрьму и даже приговорен к смертной казни, которой удалось избежать. Пешком прошел Швейцарию, побывал во Франции, читал лекции в США. Был знаком с дочерью К. Маркса Элеонорой, Ф. Энгельсом, видными деятелями мирового уровня. Он признавал все человечество своими соотечественниками, а следовательно, был ориентирован на

восприятие всех ценностей, накопленных цивилизацией. Знали его в разных странах как революционера-народовольца, писателя, честного, с сердцем льва и добродушием ребенка человека. Кредо своего творчества он определял так: можно называть все, что существует, говорить обо всем совершающемся, но при этом четко знать, с какими чувствами и мыслями, в каких целях это говорится.

Перу Степняка принадлежит немало произведений, в их числе повести, романы «Андрей Кожухов», «Штундист Павел Руденко», художественно-публицистические циклы очерков «Подпольная Россия», «Россия под властью царей», пропагандистские сказки, публицистика.

Работая с документами, я читала написанное рукой самого Степняка, статьи, записки, наброски, трудночитаемые бумаги — все переданное в архив его женой Фанни. А душу заполоняло желание увидеться с Е. А. Таратутой.

Я знала, что Евгения Александровна (1912—2005) — советский писатель, литературовед, окончившая в 1932 году филологический факультет МГУ, получившая степень кандидата филологических наук. Знала о ее работах, посвященных творчеству, роману «Овод» Этель Лилиан Войнич, подготовленном ею к публикации в СССР собрании сочинений писательницы. Э. Л. Войнич была влюблена в Степняка-Кравчинского и, чтобы общаться с ним, выучила русский язык, а когда создавала своего Овода, прототипом главного героя избрала Степняка. Впечатлял круг знакомств Таратуты: она общалась и дружила с Л. Кассилем, А. Платоновым, Л. Квитко, А. Барто, В. Василевской, многими видными отечественными и зарубежными учеными и писателями. Не случайно появилась ее книга «Драгоценные автографы». Прошла через войну, получив медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». А потом ее арестовали, обвинив в шпионаже, — сталинские жуткие времена, — отправили по приговору на 15 лет в лагерь за Полярным кругом. Освобождение пришло только в 1954 году благодаря заступничеству писателя Александра Фадеева.

В моих глазах Таратута представала удивительным человеком. Вот бы познакомиться с ней. И я решилась.

27 января 1982 года, не сразу получив от сотрудницы ЦГАЛИ адрес известной писательницы, исследовательницы творчества и жизни Э. Л. Войнич и С. М. Степняка-Кравчинского (как это получилось — отдельная история), я, купив букет гвоздик (была зима, холодно, цветами торговали возле вокзала цыганки), отправилась к Таратуте в гости.

Позвонить предварительно не решилась, так как не надеялась получить положительный результат. Считая, что Евгения Александровна живет одна (я была убеждена, что она одинока), отправилась по указанному адресу на проспект Вернадского. Адрес держала в уме и перепутала. Таксист, вёзший меня, стал подозрительно на меня посматривать, когда я его заставляла ехать то вперед, то возвращаться назад. В конечном итоге я оказалась на станции метро «Юго-Запад» и наконец-то нашла нужный мне адрес.

Дом стоял на высокой насыпи, или на горе, как сказали мне прохожие. И чтобы не идти в обход, не тратить время, я по колено в снегу стала взбираться наверх, откуда мальчишки скатывались на санках. Дом был многоэтажный, современной постройки. Про себя почему-то решила: университетский. Подъезд нашла сразу. Почтальонша, стоявшая у входа, поинтересовалась: «Вы к кому? К Таратутам? У них дома один Сашенька. Поднимайтесь, они скоро будут». Я растерялась. Как? Она живет не одна? Но виду не подала и с букетом отправилась по лестнице на 3-й этаж. Не решаясь постучать в дверь, в уме перебирала слова, что бы сказать. Все же нажала кнопку звонка. На вопрос из-за двери промямлила: «Мне нужна Евгения Александровна». Дверь открыл мальчик лет тринадцати. Сказал, что она будет сегодня поздно, дал номер телефона (который, кстати, уже был у меня). Цветы отдала, попросив передать, что приходила поклонница и читательница Наташа из Минска. Вот так неудачно закончилась моя попытка познакомиться с Е. А. Таратутой.

На следующий день, 28 января 1982 года, в 9 утра из гостиницы «Киевская», где было мое пристанище, я позвонила Евгении Александровне: «Вас беспокоит ваша читательница. По образованию я филолог. Окончила Белгосуниверситет в Минске». На вопрос, как меня зовут и где я работаю, — ответила, что мое имя Наталья, преподаю русскую классическую литературу в Минском институте культуры. Сказала, что у нас с ней общая симпатия — Степняк-Кравчинский, что вчера я отважилась к ней приехать без разрешения, не имея возможности созвониться. Она оживилась, вспомнив, очевидно, про цветы. Благодарила от души. «Приезжайте! Очень интересно. Приезжайте». Договорились на час дня.

В назначенное время я была у ее квартиры. Позвонила. «Наташа?» — спросила она. И открыла дверь. Смотрит на меня с интересом. Извиняюсь: «Я не всегда такая бесцеремонная. И уж коли сама напросилась к вам в гости, примите от меня этот небольшой белорусский сувенир». Подаю ей коробку тогда у нас дефицитного грильяжа в шоколаде. Вижу, ей приятно. «О! Спасибо. Большое спасибо, мы это очень любим». Взяла коробку, читает: «Кондитерская фабрика «Спартак», Гомель». Предлагает мне тапочки, извиняется за беспорядок в квартире и ведет в свой кабинет.

Комната небольшая, где-то 3 м на 2,5 м. Вначале кажется заброшенной или, по крайней мере, неухоженной, но потом замечаешь, что все на месте: и стеллажи до потолка, и два рабочих стола: один очень старой работы, с резными шуфлядками. На нем в футляре, по-видимому, пишущая машинка, книги. На другом — опять же книги, в вазах сухие и «мои» цветы.

Вижу диван, накрытый пледом зеленого цвета в клетку, небрежно раздвинутые плотные шторы. Евгения Александровна в шерстяном, цвета малины с сиреневым оттенком, вязаном платье, облегающем фигуру. Зачесанные назад, собранные в узел седые волосы. Лицо одутловатое, с двойным подбородком.

На стуле возле дивана телефон. За время нашей беседы (с 13 до 15 часов) он зазвонит три раза. И каждый раз она берет трубку и бодро, даже несколько весело, говорит: «Алле».

Разговор начался с рассказа Евгении Александровны о ее делах. Она поведала, что вчера, т. е. 27 января, почти целый день провела у Кассилей. Жена Льва Кассиля просила разобрать его архивные бумаги. Поездка к ним обошлась Евгении Александровне в десять рублей на такси (как она сказала — туда и обратно). Жалуется на то, что скользко, а жизнь была у нее очень сложной и трудной. Годы 1937—1954-й с перерывами провела в лагерях и ссылке. Пережила арест отца-революционера, гибель на войне брата, эвакуацию. После войны писала диссертацию, работала в академическом институте, имела поощрения за успехи, а потом ее арестовали, обвинили в передаче секретных материалов западной разведке. Пять месяцев ее били и пытали, не давали спать. Она ослабла, на допросы иногда волокли за руки. Чуть не лишилась рассудка. Спасали книги, нет, не книги в их материальном обличии, а те, которые читала «про себя», — Пушкин, Маяковский, Блок; она уходила в них и не слышала мучителей, отчего те свирепели. Сохранив разум, физически была уничтожена и поэтому отправлена в инвалидный лагерь за Полярный круг. Евгения Александровна показывает свои руки: фаланги пальцев с ногтями выгнуты. То же, говорит она, и с ногами. У меня холодеет душа…

Евгения Александровна продолжает разговор. Сожалеет, что план написать книгу «С. Кравчинский — переводчик» отодвигается, т. к. Агния Барто, очень хорошая ее знакомая (они дружили), перед смертью, уезжая в больницу, сказала дочери, что если «задержится», пусть четвертый том собрания сочинений закончит Евгения Александровна. Сетует, что Барто не оставила даже плана этого 4-го тома. Стала Таратута над этим работать, поняла: понадобится уйма сил и времени. Тогда свои интересы и дела — в сторону.

Поделилась радостью — сдала в набор свою книгу «Драгоценные автографы». Пожаловалась на издателей из-за того, что не берут в печать рукописи, их трудно продвигать. Отдельная

история у нее была с печатанием книги «С. М. Степняк-Кравчинский — революционер и писатель» — объемной, богатой архивными материалами о малознакомом читателю человеке, к тому же «террористе», отомстившем по решению революционной организации генералу Мезенцову из Петербурга за казни товарищей. В издании книги Таратуте помогал один академик (к сожалению, я не запомнила фамилию), другие влиятельные знакомые.

Пришел из школы внук. Евгения Александровна его предупредила: на обед только первое. Готовить второе она не будет. У нее сегодня день отдыха: будет штопать, вечером посмотрит «Штирлица» и спать. Спать, говорит, ей надо не менее 10—12 часов, а это полсуток. Времени и жизни остается мало. А планов много.

Показала свою библиотеку. Особо выделила «Овода» Э. Л. Войнич. Книги для Е. А. Таратуты — особая любовь, особая значимость. Они спасали ее в сложнейшие моменты жизни.

В публичную библиотеку она записалась еще в 1924 году. Читала много, писала сочинения, за одно из которых получила в награду книгу «Овод» Э. Л. Войнич. Как же удивительно поступает с нами порой судьба. Спустя годы Евгения Александровна найдет за границей всеми забытую девяностолетнюю писательницу, которая пригласит ее в гости, но Таратуту за рубеж не выпустят.

На стенах комнаты инкрустированные деревом портреты Степняка и подаренный ей портрет с изображением и надписью Этель Лилиан Войнич. Попросила прислать ей белорусские издания «Овода» 1934 и 1937 годов. Поругала фильм «Овод», сожалела, что не дали ей написать на него отрицательную рецензию. Отреагировала на свое выступление на телевидении. Оживилась, сравнивая картины Гойи и образ Овода. Чуть позже я поняла, почему.

У Евгении Александровны было увлечение: выбрать портрет понравившегося ей писателя, отыскать значки с его изображением или вырезать из журнала репродукцию известной картины, найти это изображение на почтовой открытке, соответствующую ей марку и все это выставить за стекло книжных стеллажей у себя в кабинете. Получалась своеобразная домашняя выставка, которой она любовалась.

Я все слушала Евгению Александровну. А она увлеченно рассказывала мне о посещении Италии, о необязательности людей, которых она просила сфотографировать в Италии дом, где жил С. М. Степняк-Кравчинский, о поездке в Англию, письмах к ней знаменитых людей. О невозможности просто так почитать книжку. Возраст свой не подчеркивала, он и не ощущался в беседе с ней. Я даже ни разу не задумалась о том, сколько же ей лет. Попозже отвлеклась на внука: «Звонила мама. Вы с ней идете в кино. Угощайся конфетами. Это тетя Наташа принесла».

В конце нашей встречи мило прощается, говорит, что рада была познакомиться, записывает мой адрес, телефон, обещает приехать в Минск, ведь у нее там хорошие знакомые — Василевская, Витка.

Отчего же я чувствовала перед Таратутой вину?

При нашем общении Евгения Александровна высказала желание сделать выставку (это значит найти почтовую марку, значок, репродукцию портрета) двух белорусских классиков — Я. Купалы и Я. Коласа. Вернувшись с Минск, я отыскала в альбоме одного филателиста марку 1962 года с нужным изображением, нашла и значок, но так все это ей и не передала. Трудно сказать, что меня сдержало. Но спасает то, что в памяти образ человека, с этим связанный, остается еще дольше, держит за душу. Даже только прикасаясь к жизни и творчеству Е. А. Таратуты, четко понимаешь: чем богаче духовный мир отдельного человека, тем сильнее ощущается потребность приобщиться к культурным ценностям целого поколения.

P. S. Кандидатскую диссертацию, посвященную творчеству С. М. Степняка-Кравчинского, я все же написала и защитила в МГУ имени М. Ломоносова.

Наталья БУЛАЦКАЯ

Призвание дружить

Алексея Кондратовича больше знают по книгам, посвященным Александру Трифоновичу Твардовскому. Их у литературного критика было несколько. Еще — уже через многие годы после смерти А. Кондратовича — двумя изданиями вышел его «Новомирский дневник»... Но я сейчас хочу рассказать о другой его книге. 30 лет назад в московском «Советском писателе» увидел свет сборник портретов, воспоминаний, полемических статей Алексея Кондратовича «Призвание». Многие страницы книги избранных работ известного советского литературного критика были посвящены белорусской литературе.

Ностальгически вспоминаешь многих критиков союзного масштаба, разумеется, просматривая их книги. А многие из них и сегодня — на полках моей библиотеки. Марк Щеглов, Игорь Дедков, Владимир Лакшин, Игорь Мотяшов, Станислав Лесневский… Их слова и сегодня заставляют думать о традиции и новаторстве, об ушедших идеалах и появившихся горизонтах… Тех горизонтах, которые они могли лишь только предугадать. Есть ли сегодня им равные, достойные вступить с ними в серьезную, обоснованную полемику?.. Я не смогу ответить на этот вопрос по одной, возможно, субъективной и нисколько не оправдывающей пишущего эти строки причине. Разорванные связи в век небывало возросших технологических возможностей, увеличившиеся для диалогов расстояния, отсутствие привычных — бумажных! — книг новых критиков (может быть, и издающихся, но «не видимых» за пределами Москвы и самых ближних ее окраин) — все это не дает возможности для полноценного разговора, уменьшает масштабы интереса к литературному процессу на постсоветском пространстве, усиливает процессы разрушения многоязычного художественного мира, где хватало места Василю Быкову и Юрию Бондареву, Чингизу Айтматову и Валентину Распутину, Евгению Евтушенко и Олжасу Сулейменову, Давиду Кугультинову и Виктору Бокову, Пимену Панченко и Константину Ваншенкину, Анатолию Жигулину и Михасю

Стрельцову, Олесю Гончару и Белле Ахмадулиной… Это даже было здорово, когда о книгах разных писателей, открытиях и метаниях писали не только критики, литературоведы их языкового, национального круга. Как, к примеру, и Алексей Кондратович, который внимательно следил и за белорусской литературой из своей «новомировской квартиры»…

Пожалуй, сомневаться в этом не приходится. Отвечал же на один из вопросов анкеты Института литературы и Союза писателей Беларуси московский критик следующим образом: «Полагаю — и не без оснований, — что белорусская военная литература лидирует среди всех остальных литератур. Иначе вряд ли бы образовался превосходный авторский тандем Адамович — Гранин, а о Василе Быкове чуть ли не одновременно в Москве вышли две книги русских критиков. Такое не бывает случайно. Я бы сказал, что всесоюзный читатель следит за белорусской военной литературой так же внимательно и с такой же оправдывающей надежды верой, как за русской «деревенской» прозой, в своих лучших образцах, в сущности, равной классике. Мы обычно стесняемся говорить такие высокие слова, отдаем право произнести их потомкам, но ведь бывали случаи, когда говорили их и современники. И не ошибались».

...Заглянем в историю. Просматривая библиографию основных публикаций Алексея Кондратовича начиная с 1940 года (а умер критик в 1984 году), мы найдем немало обращений к белорусской литературе или книгам, посвященным Беларуси. В 1958 году в журнале «Москва» появляется рецензия А. Кондратовича на «Брестскую крепость» Сергея Смирнова — «Благородный поиск». В статье «Человек на войне» («Новый мир», 1961 год; значительно дополненная в 1964 году, она выйдет еще в сборнике 1965 года «Живая память поколений») Алексей Иванович уже напишет и о Василе Быкове — «молодом белорусском писателе», и об Алесе Адамовиче. В 1973 году в «Нёмане» появляются воспоминания об Александре Твардовском — «Я люблю белорусскую поэзию…». Рецензия «Дни тревог и мужества» в «Октябре» в 1976 году посвящена роману Ивана Чигринова «Плач перепелки». В «Юности» в том же году А. Кондратович рассказывает о нашем земляке — Михаиле Молочко. С этим ярким человеком, могилевским юношей, критик учился в московском ИФЛИ. Миша Молочко погиб на советско-финской… В 1978 году в «Литературной газете» выходит рецензия А. Кондратовича на книгу Алены Василевич «Одно мгновение» — «От корня белорусской прозы». В той же «Литературке» через какое-то время появились рецензия московского критика на книгу Михася Стрельцова «Журавлиное небо» и его размышления о поэзии Пимена Панченко — «Равный самому себе», а также рецензия на роман Виктора Козько «Колесом дорога».

Что же из «белорусского» осталось в книге избранных работ Алексея Кондратовича «Призвание»?

Очерк о творчестве Нила Гилевича — «И этой веры хватит мне надолго…». Впервые он был напечатан в «Литературке» в 1982 году. Доброе слово удивления открытием неведанного ранее таланта. Когда критик подступал к своим наброскам портрета Нила Гилевича, у него в руках было всего три поэтических сборника белорусского мастера стихосложения, изданных на русском языке. А было Гилевичу уже пятьдесят… И за плечами, как потом стал выяснять А. Кондратович, — полсотни томов… И лирика, и поэмы, и сатирическая поэзия, и стихотворные загадки, и литературоведческие, этнографические работы, книги переводов поэзии славянских (и не только славянских) народов. Наверное, потому и концовка у очерка о белорусском литераторе такого вот содержания: «Поэзия Н. Гилевича — чистая, многозначная, говорящая с нами как бы сама с собой, — и в этом ее особая прелесть. Но почему же тогда за столько времени, удивляюсь я, всего три книжки на

русском? Сам Гилевич… перевел на белорусский язык более 350 авторов. А мы — лишь три книжки. Все-таки бесхозяйственны мы, друзья-товарищи…»

Я заглянул в своеобразную энциклопедию литературной истории Беларуси — биобиблиографический словарь «Белорусские писатели», том второй. В нем — библиография публикаций в периодической печати до 1985 года. Там в персональной статье, посвященной Нилу Гилевичу, можно и больше 350 поэтов народов мира насчитать из числа тех, кого переводил замечательный белорусский поэт. Причем многих из них переводил по нескольку лет подряд. Переводил не только особенно любимых им болгар, словенцев, лужицких сербов, не только украинских, латышских, молдавских, польских поэтов, но и поэтов России — Евгения Савина, Олега Шестинского, Владимира Фирсова, Александра Прокофьева, Константина Ваншенкина, Римму Казакову, Бориса Слуцкого… Но вот самому Нилу Гилевичу не посчастливилось быть настолько переводимым на русский язык. Для сравнения: у белорусских поэтов его поколения или поэтов, которые творили в одно с ним время, книг в переводах на русский издано гораздо больше. К примеру, у Артура Вольского — девять; у Петра Глебки — семь; у Сергея Граховского — девять; у Алексея Зарицкого — семь; у Василя Зуенка — девять; у Рыгора Бородулина — пятнадцать (!)… И потому верное замечание Алексея Кондратовича кажется актуальным и сегодня. Поэта такого масштаба, как Нил Гилевич, в постсоветском пространстве смогут открыть лишь тогда, когда будут достойные и соответствующие масштабу его национального поэтического дара переводы на русский язык.

Интерес вызывает и рецензия на роман Ивана Чигринова «Плач перепелки» — «Постижение человечности». Еще только разворачивалась панорамная эпопея белорусского прозаика, а Алексей Кондратович уже был убежден, что прозаик «удивительно смел в обращении с фактами, кажется, что ни одной детали не хочет, да и не может утаить в своей картине народного бедствия…».

Привлекает внимание и творческий портрет известного литературоведа — «Сок общественных выводов и убеждений: Алесь Адамович — критик и публицист». «И в литературоведении, и в критике Адамович всегда был самостоятелен, — пишет А. Кондратович. — У него свой взгляд на историю литературы и на ее современную жизнь. Он свеж в лучшем смысле этого слова, потому что высказывает не просто оригинальные мысли, но мысли плодотворные и, как это ни неожиданно для того же литературоведения (как-никак наука!), эмоционально заряженные, действующие не только на наш ум, но и на сердце. Он и тут остается самим собой. Он и тут бьет все в ту же «свою точку». И далее: «Уроки Толстого и пути развития белорусской литературы». Вполне академическое, несколько даже усыпляющее название. Но в сущности это страстный монолог (превосходно, кстати, написанный) о Толстом в наши дни и о Толстом как огромном художественном мире вообще…

«Открытие» старой, давно изданной книги известного русского литературного критика Алексея Кондратовича заставляет заново посмотреть на забытые, из прежнего времени, оценки развития белорусской литературы XX века. Пожалуй, не лишним было бы перечитать многое из того, что писали московские (и не только московские) авторы об Иване Мележе, Иване Чигринове, Максиме Танке, Пимене Панченко, Василе Быкове, Иване Шамякине, Аркадии Кулешове, Алесе Адамовиче и других наших прозаиках, поэтах. Пишут ли столько и пишут ли так эмоционально, страстно о сегодняшней белорусской литературе за «минской чертой»? Думаю, всем понятно, что вопрос это риторический. И все же — вопрос, требующий внимания и разрешения.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ

Литературное содружество

«Калмыцкий язык — весенний, журчащий ручей…»

Раиса Шурганова — калмыцкий поэт, художник. Начинала писать на русском языке. Сейчас работает на родном — калмыцком. Автор нескольких поэтических сборников: «Небесный художник», «Любимая Небесами», «Небесный Дар», «Зернышки граната»... Недавно подборка стихотворений Раисы Шургановой была опубликована в антологии поэзии народов России. С поэтессой и художницей — наш разговор о том, что представляет сегодня калмыцкая национальная литература, какие приоритеты в ее развитии являются главными.

— Раиса Басановна, если говорить о калмыцкой национальной литературе в целом... Какой период она сейчас переживает — прогресс, стагнацию, ренессанс? Можно ли как-то лаконично охарактеризовать нынешнее состояние национальной литературы?

— Если бы я была пессимистом, то на этот вопрос ответила бы, что калмыцкая литература в целом переживает непростые времена. Но так как я больше все-таки оптимист, чем пессимист, то и отвечу по-другому. Да, калмыцкая литература находится не в том состоянии, как при Советском Союзе, когда был ее расцвет. Тогда было немало поэтов и писателей, которые писали исключительно на родном калмыцком языке. Было время, когда их произведения выпускались тысячными тиражами за счет государства. Но они есть и сегодня. Словом, есть еще поэты и писатели, которые пишут на калмыцком языке, — правда, сейчас они издаются за свой счет.

В связи с некоторыми историческими моментами (прежде всего — речь о высылке всего народа в Сибирь в декабре 1943 года), многие мои соплеменники утратили свой родной язык. Мало кто из калмыков его знает. И в этой утрате заключается наша всеобщая, всенародная беда. Но с любой бедой мы привыкли справляться. Пока мы живы, обязательно будем восстанавливать все то, что нами утрачено, в первую очередь — калмыцкий язык.

— Вы ведь тоже не сразу стали писать на калмыцком…

— Свои первые поэтические строки я написала на русском языке. Но слыша сетования старших товарищей по перу, осознала, что писать нужно

именно на родном языке. Конечно, одного осознания, одного понимания и даже одной только веры мало. Нужно учить язык с азов. Но, поверьте, мне учить не пришлось, мой родной язык сам проснулся во мне на генном уровне. Это как чудо!.. Я писала первые стихи на родном языке и плакала. Было ощущение сродни тому, как будто бы, потеряв маму (я в действительности очень рано осталась без мамы, будучи ребенком), вдруг, неожиданно для себя вновь ее обрела. И вот, начиная с того памятного дня, а именно — с 19 декабря 2012 года, пишу исключительно на родном языке. И пошло это потоком, который невозможно остановить. Ведь с природой, которая уже проснулась, бороться невозможно. Я не зря привожу именно свой пример, рассказываю о том, каким образом вошла в калмыцкую литературу, ибо верю, что в каждом калмыке родной язык заложен с рождения, с первыми каплями материнского молока.

Калмыцкий язык у нас в Калмыкии заново зарождается из небытия. Многие мои соплеменники учат его с нуля, особенно — молодежь. И если есть люди, для кого стоит писать, если есть читатели, то и найдутся те, кто будет писать. Поэтому калмыцкая литература, так же, как и калмыцкий язык, находится в стадии ренессанса, это однозначно.

— Что сегодня является ориентиром для калмыцких писателей — планка читательских требований? Национальная классика? Те тенденции, которые характеризуют русскую или мировую литературу?

— Лично моим ориентиром в настоящее время является национальная классика. Именно оттуда я черпаю вдохновение, у классиков учусь. И таким образом чувствую ту незримую нить, которая тянется еще от предков.

— Калмыцкую поэзию, калмыцкую литературу в целом в последние десятилетия олицетворяло имя Давида Кугультинова как светоча, как некий художественный ориентир. А что сейчас — какие имена в почете? Есть ли авторитеты, которые равны Давиду Кугультинову?

— Сравнивать кого-либо с Давидом Никитовичем Кугультиновым, наверное, было бы неправильно. Каждый писатель в калмыцкой литературе индивидуален. Конечно же, понимая, что Д. Н. Кугультинов — ярчайшая звезда в нашей литературе, а такие звезды загораются, наверное, раз в сто лет, мы живем надеждой, что на нашем небосклоне еще не раз зажгутся такие звезды, которые будут освещать путь каждого ойрата.

На сегодняшний день у нас есть поэты, которых можно назвать живыми классиками. Их имена, их произведения знает каждый человек в нашей Калмыкии. Назову их имена — В. Д. Нуров, В. К. Шуграева, А. М. Джимбиев (участник Великой Отечественной войны, который в составе 248-й дивизии в 1943 году освобождал от немецкой оккупации столицу Калмыкии — город Элисту, где писатель на данный момент и проживает). Все вышеперечисленные поэты имеют звание Народный писатель Республики Калмыкия. Нам отрадно оттого, что они есть, что они живут среди нас, плодотворно трудятся. Они еще в строю, встречаются с читателями, участвуют в различных конкурсах, не только в составе жюри, но и как непосредственные участники конкурсов. Поэтому нам есть на кого равняться и есть с кого брать пример.

— Сложно ли сегодня прорываться молодежи в калмыцкой литературе? Достаточно нелегко или, наоборот, — просто опубликовать первую книгу? Замечает ли литературная критика творческую молодежь?

— Молодежь в калмыцкой литературе на вес золота. Наш председатель Союза калмыцких литераторов «Обновление» Н. Д. Санджиев и его заместитель В. Б. Чонгонов прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы молодежь вливалась в калмыцкую литературу. Редактируют молодых поэтов, дают бесценные советы, которые ни в одной книге не описаны, потому что их советы подсказала прожитая жизнь. Ведь калмыцкая литература,

весь наш многовековой уклад жизни — непростой. Кажется, что жизнь людей, в чьих жилах течет кровь предков кочевого народа, проста. Но на самом деле существует очень много глубинных, тонких нюансов, которые современные поэты и писатели не должны упускать из виду, должны знать и соблюдать при написании своего произведения. Но, к великому сожалению, сколько бы сил ни прилагалось, молодых поэтов, пишущих на калмыцком языке, мало.

— Больше сегодня читают на калмыцком языке — прозу или поэзию?

— Не могу сказать, что прозу читают охотнее и отдают ей большее предпочтение, чем поэзии. На мой взгляд, внимание равноценно.

— Достаточно ли в Калмыкии литературных журналов, хватает ли других возможностей, чтобы писатели могли реализовать себя, опубликовать свои произведения?

— У нас в Калмыкии выходят журнал «Теегин Герл» (Свет в степи), детский журнал «Байр» (Радость), газета «Хальмг Үнн» (Калмыцкая Правда). Много это или мало — ответить несложно, конечно же, хочется больше изданий. Но для маленькой численности поэтов и писателей, пишущих на родном языке, считаю, что достаточно. Тем более что есть огромное пространство интернета со всевозможными литературными сайтами, где при желании можно быть и прочитанным, и услышанным.

— С какими национальными литературами больше всего дружит современная калмыцкая литература?

— Современная калмыцкая литература тесно сотрудничает с поэтами, писателями и переводчиками Астрахани. Они охотно не только переводят произведения наших авторов на русский язык, но и доносят до российского читателя наши мысли. Произведения калмыцких поэтов в переводе Ю. Н. Щербакова часто публиковались в «Литературной газете», а также были изданы в нескольких его книгах. Одна из книг полностью сформирована из его переводов калмыцких поэтов, и дал он название своему детищу — «Поклон Калмыкии».

В будущем надеемся на тесное сотрудничество с Беларусью, белорусскими писателями и переводчиками. Переводами белорусских поэтов уже начали заниматься в Калмыкии — в частности, в журнале «Теегин Герл». Мои коллеги работают над переводами стихотворений Виктора Шнипа, Алеся Бадака, Наума Гальперовича, Юлии Алейченко… Раньше у нас были опубликованы в газете «Хальмг Үнн» произведения Татьяны Сивец в переводе народного поэта Калмыкии Веры Шуграевой.

— Раиса Басановна, а лично вам хотелось бы, чтобы в других странах, у других народов мир калмыка, саму Калмыкию открывали именно по вашим произведениям?

— В «Литературной газете» в декабре 2016 года были опубликованы мои произведения под заголовком «Отважней воина на свете нет», и как воин, отвечу вам: «Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом».

А если серьезно, то на самом деле, открывая мир калмыка и саму Калмыкию именно по произведениям только одного автора, читатель, не понимая того, окажется обкраденным, а его суждение о калмыках — однобоким. Моя степная республика, хоть и небольшая по величине, а по численности населения — не густонаселенная, но она огромна и невероятно глубока. Калмыкия — это необъятная и неизмеримая Вселенная, ее выжженные солнцем степи — Космос, калмыцкий язык — весенний, журчащий ручей! А я… я — всего лишь тоненький стебелек, травинка, растущая средь бесчисленного разнотравья посреди широкой степи.

Беседовал Кирилл ЛАДУТЬКО.

Элиста, Российская Федерация — Минск, Беларусь

САЛАМАХА Владимир Петрович. Родился в 1949 г. в д. Бересневка Кировского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, публицист, киносценарист. Автор книг прозы «На ўзмежку радасці», «Прывід у скураным крэсле», «Напрадвесні» и др. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь и Национальной литературной премии. Живет в Минске.

БАДАК Алесь Николаевич. Родился в 1966 г. в д. Турки Ляховичского района Брестской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Автор сборников поэзии «Будзень», «За ценем самотнага сонца», «Маланкавы посах», книг для детей «Верабей з рагаткай», «Незвычайнае падарожжа ў Краіну Ведзьмаў» и др. Лауреат литературных премий «Золотой апостроф», «Золотой Купидон» и Межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества». Живет в Минске.

НЕКЛЮДОВ Андрей Геннадьевич. Родился в 1959 г. в г. Череповец (Россия). Окончил Ленинградский государственный университет, кандидат геолого-минералогических наук. Автор книг «Нефритовые сны», «Звезда по имени Алголь», энциклопедии для школьников «История Сибири». Лауреат Международного конкурса детской и юношеской литературы им. А. Н. Толстого. Живет в Санкт-Петербурге.

ПОЛИКАНИНА Валентина Петровна. Родилась в 1958 г. в г. Кричев Могилевской области. Окончила Белорусский государственный университет. Автор многих книг поэзии. Лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь, премии «Золотой Купидон», российской литературной премии им. А. П. Чехова и др. Удостоена государственной награды Российской Федерации — медали А. С. Пушкина. Живет в Минске.

ЗЭКОВ Анатолий Николаевич. Родился в 1955 г. в д. Потаповка Буда-Кошелевского района Гомельской области. Окончил историко-филологический факультет Гомельского государственного университета. Поэт, прозаик, публицист, юморист и сатирик, детский писатель. Автор свыше тридцати сборников поэзии, прозы, литературных пародий и книг для детей. Лауреат премии «Золотой Купидон», Литературной премии имени Василя Витки. Живет в Минске.

КОШКИНА Елена Вадимовна. Родилась в 1956 г. в г. Орджоникидзе (Россия). Окончила физический факультет Белорусского государственного университета, училась в Литературном институте им. М. Горького. Печаталась в журналах «Октябрь», «Немига», «Монолог», «Нёман». Автор книг «Сосна», «На грани исчезновения». Живет в Минске.

БАРЖАВЕЛЬ Рене. Родился в 1911 г. в г. Ньон на юге Франции. Окончил коллеж Кюссе возле Виши. Французский писатель, занимающий видное место не только во французской, но и в европейской литературе. Считается первым автором французской научной фантастики XX века. Работал в кино (сценарист, диалогист), в основном с режиссером Жюльеном Дювивье. Умер в 1985 г. в Париже. Совместно с **Оленкой де Веер**, французской писательницей и астрологом, написаны два романа — «Девушки и единорог» и «Дни мира». Позже Оленка де Веер написала третью часть этой трилогии — «Третий единорог».